

РОМАН ГАЗЕТА

№ 2 (840) · 1978



АНАТОЛИЙ ИВАНОВ
ВЕЧНЫЙ ЗОВ



РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№ 2 (840)
1978



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА

АНАТОЛИЙ ИВАНОВ ВЕЧНЫЙ ЗОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

(Продолжение)

Капитан Кошкин и старший лейтенант Лыков в пункт сосредоточения роты на восточной окраине болот приехали до прибытия взводов за полчаса. Здесь, на сырой поляне, окруженной чахлым разнотравьем, уже дымили полевые кухни, старшина роты Воробьев покрикивал на бойцов хозвзвода, заканчивающих сооружение на краю поляны командирского блиндажа. Санитарные палатки прятались в тени кустов, возле них мелькали девчонки-санструкторы, прибывшие сегодня утром из запасного полка, некоторые были без ремней, в нижнем белье, с распущенными волосами.

Узнав о прибытии командира роты, девчонки с писком попрятались, а через некоторое

время появились уже одетые по форме, с сумками на боку.

— Так, — мрачно сказал Кошкин, оглядев поляну. Сел на кочку, задрал голову вверх, куда струились дымки от полевых кухонь: — Не засекут? В двух километрах немцы...

— Кругом дымно, чего там, — произнес Лыков.

Боевые действия на этом участке, утихнувшие вчера под вечер, в течение дня не возобновлялись, но во многих местах еще догорали участки леса, подоженная техника и, видимо, какие-то деревушки, дым расплзался над всей округой, над болотом, утихомиривая комаров. Если бы не дымная мгла, от комаров, наверное, не было бы спасения.

У достраивающегося блиндажа суетились связисты с катушками проводов, вешали провода на шесты, на крупные сучья деревьев.

— Скоро они? — Кошкин взглядом

Продолжение. Начало см. «Роман-газета», № 1, 1978.

© «Москва», 1976 г.

показал ординарцу на связистов. — Узнай. И начсанчасти позови. И Воробьев пусть подойдет.

Первым подбежал лейтенант-медик, начал было рапортовать, но Кошкин махнул рукой.

— Развернулся?

— Так точно, товарищ капитан. Осталось поставить операционную палатку.

Никаких операций в санчасти роты делать не полагалось, тяжелораненых следовало немедленно отправлять в дивизионный санбат или эвакогоспиталь, но рота дралась обычно в местах, от которых эти медицинские подразделения находились далеко. И средств для отправки раненых, как правило, почти не было. Кошкин всегда добивался, чтобы начальником санчасти в роте состоял опытный хирург, который в полевых условиях был бы способен делать простейшие операции.

— Не надо ставить, — сказал командир роты лейтенанту. — И поставленные палатки убирай.

— То есть... как?

— Связь, Данила Иванович, будет через час, — сказал подошедший ординарец. — Командир взвода связи сам где-то тянет линию.

— Хорошо. Как появится, немедленно свяжите меня с «Ромашкой».

— Будет сделано, товарищ капитан.

Появился, на ходу вытирая потную шею пилоткой, старшина Воробьев.

— Ты вот что, — сказал ему Кошкин. — Блиндаж тоже прекратите строить.

— Почему?

— А потому... — Кошкин еще раз поглядел на небо. — Воздушной разведки противника не было?

— Я тут уже несколько часов, — сказал Воробьев. — Ничего не пролетало.

— Наше счастье, значит... Ужин готов?

— Так точно.

— Сейчас подойдет рота. Накормить всех хорошенько. Проверить у каждого бойца НЗ. И вот что... Можем ли еще что-нибудь в НЗ добавить? Бой будет, возможно, долгим.

— Есть немного свиной тушенки. Ну, центнера полтора сухарей.

— Все раздать...

— Да это же в Балыках осталось.

— Доставить! — прикрикнул Кошкин. — Немедленно! Вон возьмите мою машину.

— Слушаюсь! — вытянулся Воробьев.

— Товарищ капитан? Все-таки непонятно... как же свертывать санпалатки? — спросил лейтенант-медик.

— Выполнять... Не понадобятся. По прибытии роты будет отдан боевой приказ, все поймете. — И повернулся к ординарцу: — Принеси нам со старшим лейтенантом ужин.

Ужинали Кошкин и Лыков тут же, на траве, поглядывая, как девушки-санструкторы и бойцы хозвзвода свертывают палатки, грузят их на санитарные повозки. Солнце село, болота, поросшие желтым ивняком, дышали жарким, вонючим испарением, оттуда, казалось, выползала тьма и, пропитывая и без того дымный воздух, медленно заливала поляну. Было тихо, фыркали изредка лошади, звенели удилами, да время от времени раздавался приглушенный девичий хохоток.

Кошкин и Лыков прибыли сюда прямо из штаба дивизии, куда ездили за уточнением хода предстоящей операции. Вышли они от Демьянова мрачными, всю дорогу не разговаривали и сейчас, поскребывая ложками в котелках, молчали.

Первые бойцы роты появились на поляне из-за кустарников неожиданно. Командир взвода старший лейтенант Крутойяров, в прошлом камчатский рыбак, до сих пор не расстающийся с тельняшкой, что-то негромко скомандовал, бойцы начали строиться вдоль поляны.

— Ну что, Лыков, — вздохнул Кошкин, отставляя котелок, — приближается судный наш час, что ли?

— Я особо в жизни не грешил, — ответил тот с усмешкой. — Пил до войны в меру, жену не обманывал. До того как познакомился с ней, были, конечно, девчонки... Так что пронесет, я думаю. А твое настроение мне не нравится.

— Да, брат, под сердцем сосет, — признался Кошкин. — Такого боя, какой предстоит, у нас еще не бывало. Не напрасно роту положим?

— Не уверен?

— А ты?

— Нам надо быть уверенными, — вместо прямого ответа сказал Лыков.

— Надо... Это и я знаю, что надо.

Они помолчали, глядя, как выстраивает подходящих бойцов взвода Крутойяров. Потом он опять что-то скомандовал, строй качнулся, но не рассыпался, люди просто сели на землю.

— Это правильно, — сказал Кошкин. — Пусть отдыхают, переход был немалый. Значит, так, Лыков... После ужина собери всех командиров отделений. С подробностями объясни всю ситуацию, проведи, словом, всю политическую подготовку. Я тем временем отдам всем подразделениям боевой приказ... Потом буду лично говорить со всей ротой.

На поляну, мягко постукивая по кочкам, выехала телега, на которой сидели два старика и женщина.

— Ну, давай, занимайся своими делами, — вставая, проговорил Кошкин. — А я со стари-

нами этими еще разок потолкую... И чтоб костры не вздумали разводиться. С наступлением темноты воздушные разведчики начнут болтаться.

Кошкин был прав: навалилась темнота — и в небе глухо загудела немецкая «рама», то приближаясь, то удаляясь. Когда воющий звук приближался, над небольшой поляной, где скупилась вся рота, раздавалась протяжная негромкая команда:

— Ко-ончай курить! Задавить окурки!

Рота перед боем всегда преображалась, дисциплина подтягивалась, самые отчаянные головорезы притихали, понимая, что наступает рубеж, за которым или ничего не будет, или следующим утром взойдет солнце. Остаться в живых надеялся все-таки каждый, и эта вера, всегда замечал Кошкин, даже в самом отпетом преступнике вдруг высвечивала на какие-то мгновения человеческие черты, давно в нем уничтоженные, задавленные уголовным бытом, безжалостными законами этого страшного мира. По-разному готовились штрафники к предстоящему испытанию тяжелым боем. У иных проявлялись отчетливые проблески сознания воинского долга. Реальное, почти ощутимое дыхание смерти все-таки относительно редко толкает этих людей на новые преступления. Бывают, конечно, случаи, как, например, с Гориллой, но по отношению к общей массе людей в роте это мелочь. Бывают самострелы, симулянты-«мыльники», пытающиеся таким способом увильнуть от предстоящего боя. У таких людей приближающееся ледяное дыхание смертельной опасности вызывает животный страх, но и их, в общем, тоже немного. Попадают, наконец, экзemplяры, рассчитывающие сохранить никчемную и жалкую жизнь свою сдачей в плен врагу в удобный момент в ходе боя... Но подавляющая масса штрафников готовится к крещению огнем и кровью покорно, сознательно и честно, отчетливо, наверно, в этот момент понимая и ощущая, в какой огненный, постепенно смыкающийся круг каждый сам себя загнал, вырваться из которого можно только честным исполнением того, чего требует стоящая выше неумолимая и безжалостная сила военных законов.

Раздумывая сейчас как-то помимо воли обо всем этом и еще о десятках больших и малых, крайне важных в данный момент вещей, Кошкин щепками прикалывал к земляной стене недостроенного блиндажа большой лист бумаги, на котором крупно была обозначена продолговатая поляна, где сосредоточилась рота, болото, речка, высота за ней, немецкие траншеи по краю болота и по обеим сторонам высоты. По-

добные «наглядные пособия» он всегда рисовал перед началом боя, полагая, что зрительная память командиров взводов и всех прочих подразделений роты может помочь им в дыму и грохоте боя лучше ориентироваться на местности, лучше управлять боем и обеспечивать его всем необходимым.

Блиндаж освещался немецкой карбидной лампой, командиры взводов и всех других служб, расположившиеся вдоль стен, хмуро наблюдали за Кошкиным. Свет лампы окрашивал все лица в бледно-серый, неживой цвет. В углу кучкой сидели старики и женщина в выданных им крепких армейских сапогах, старики были в зеленых новеньких бушлатах, а женщина все в том же обмызганном пиджаке, на коленях ее лежал, как и в дороге, автомат, который она сжимала обеими руками. Глаза ее угрюмо поблескивали из-под низко надвинутого платка.

— Слушать внимательно, — сказал Кошкин, оборачиваясь и вытаскивая из-за голенища тонкий пруттик. — Мы — здесь, на поляне. Где-то там, по кромке болот и, конечно, в лесу, клином выходящем к речке, немцы. До них примерно два километра. Сколько их — мы не знаем... Точных разведанных нет. Известно лишь, что немало. Много артиллерии. Трех взводам роты предстоит подойти к немцам скрытно через болота. Тропки на карте показаны условно. По их словам, — Кошкин кивнул в угол, где сидели проводники, — одна тропа выходит прямо к лесному мысу, вторая — вот здесь, метрах в семистах от первой, третья — к речке. Так? — повернулся он в угол.

— В аккурат... на луговинку и к речке, — пошевелил бородой один из стариков. — Бывалоча, я ишо в холостяках шнырял по этой тропе из Зозулина. В Зозулине жил-то я. В Жерехово, значит, чтоб... Это сейчас мы в Малых Балыках, а тогда в Зозулине жили.

— Хорошо, — сказал Кошкин, повернулся было снова к карте. И вдруг спросил: — А за чем тебе, отец, в Жерехово-то надо было?

Он спросил это посмеиваясь, и видно было, что знал, какой будет ответ.

— А по молодому делу, — ответил старик. — К матке ихней хаживал... Алексинь да Терешки вот.

Плеснулся хохоток, люди зашевелились, будто отряхивая тяжесть, лежавшую незримо у каждого на плечах. Некоторые полезли за табаком.

— Курить — отставить: задохнемся, — проговорил Кошкин, тоже улыбаясь, довольный, что люди ожили. — Прошу внимания. Значит, каждому взводу — по тропе. Бой предстоит необычный, прошу это понять всех. Хотя обычных у нас не бывает, но этот... Брать немец-

кие траншеи предстоит под шквальным огнем нашей артиллерии...

В блиндаже немедленно установилась тишина. Никто ничего не спрашивал, ожидая дальнейших слов командира.

— Да, товарищи, под своими собственными снарядами... Немцы ожидают, что мы ударим именно здесь. Больше нигде... И заранее по всему берегу болота заняли сегодня утром оборону. Знают или не знают, где выходят из болота тропы, — не могу сказать. Не исключено, что кто-нибудь из местных жителей и указал им... Врагу, надо полагать, неизвестно время удара, но он подготовился... Твердых площадок для накопления бойцов перед ударом не будет, атаковать придется с ходу по выходу из болота. И немец встретит, конечно, наши жиденькие цепочки, вытекающие из болота, огнем в упор. Пулеметным и пушечным... Чтобы его подавить в момент атаки, и будет гвоздить наша артиллерия... По вражеским головам и по нашим.

Карбидная лампа горела ровно, обливая всех жиденьким светом, люди сидели не шевелясь, тупо, казалось, осмысливая страшные слова командира роты. Алексина, медленно вращая головой, оглядывала всех враждебно блестевшими из-под платка глазами и будто безмолвно спрашивала всех сразу: «Что, испугались, командиры?»

Кошкин тоже оглядел своих подчиненных и тоже будто остался недоволен их видом и состоянием и сказал:

— И кроме того, все болотные берега, я думаю, заминированы... Во всяком случае, я бы так сделал, ожидая в подобной ситуации атаки вражеской штрафной роты. А немец — он тоже не дурак.

Один из стариков тоненько, по-птичьи чихнул, торопливо перекрестился, прошепелявил:

— Прости ты, господи, грехи наши тяжкие.

Кошкин покосился в угол на проводников и продолжал:

— Когда ворвемся во вражеские траншеи, огонь нашей артиллерии по сигнальной ракете прекратится. Тут уже не зевать. Боекомплект у бойцов невелик, но, как пользоваться немецкими автоматами и гранатами, мы бойцов учили... Взяв траншеи, уничтожив врага, быстро преодолеть эту речку, сосредоточиться у подножия высоты 162,4, по правому склону, вот здесь, — Кошкин щелкнул прутиком по бумажному листу. — Одновременно с атакой роты на вражеские позиции у болота начнется наступление наших войск справа и слева. Перейдя речку, мы окажемся в тылу у немцев... Наша задача — ударить им в спину, опять... — Кошкин на несколько секунд остановился, ноздри его хищно пошевелились, брови сдвинулись.

Он переступил с ноги на ногу, сломал прутик, отбросил его. — В общем, навстречу нашим наступающим войскам пойдём. Навстречу нашему огню... Вот так в общих чертах. Но пока поставить роте задачу — взять траншеи на берегу болота. Только эту задачу! А там... приказ последует. Я буду вместе с ротой. В случае моей гибели командование принимает старший лейтенант Лыков. В случае его гибели — лейтенант Крутойров. Затем командиры второго, третьего взводов... В резерв себе беру два отделения. Связных от каждого отделения выделить вдвое больше. Санитарам двигаться вслед за бойцами, раненых с поля боя выносить будет некуда, стаскивать их в воронки от снарядов, в ямы и канавки...

Кошкин говорил еще несколько минут, отдавая необходимые перед боем распоряжения. И наконец, вздохнув, совсем не по-военному сказал:

— Ну, и, кажись, все... — Повернулся к проводникам: — В болоте-то не перетопнем?

— Не... Ежели цепочкой, то не... — сказал один из стариков.

Другой добавил, потряхивая бородой:

— Коров мы тут даже прогоняли. А сапог — он не вострое копыто. Под ногой пружинить будет, знамо... Пушай солдаты не боятся.

— Этого не испугаются... Ну, все. Идите в свои подразделения, готовьте людей. Через час построить роту!

Рота была выстроена повзводно по краю поляны, залитой чернильной темнотой.

Кошкин, молча расхаживавший вдоль строя, не видел глаз бойцов, не различал их лиц, но по едва уловимому движению в колоннах чувствовал то напряжение, с которым люди ждут его слов.

Он еще помолчал, прислушиваясь к мертвой тишине, немного удивляясь возникшему вдруг неизвестно почему чувству покоя и благополучия: на секунду почудилось, что нет никакой войны, на всей земле царят покой и мирный труд, что люди, собравшиеся на поляне перед болотом, вовсе и не бойцы штрафной роты, а члены какой-то невиданно огромной колхозной бригады, и вот, поужинав после трудового дня, они собрались уходить с полевого стана по домам.

Но эти мгновения продолжались недолго, в груди появилась сосущая боль, сердце чем-то прищемило. И Кошкин, поморщившись, резко остановился, вскинул голову.

— Бойцы и командиры! — начал Кошкин. — Приближается минута, о которой так или иначе каждый из вас думал. Не так давно

и я стоял на месте каждого из вас... Участвовал я во многих смертельных боях... и перед каждым боем о чем-то тоже думал. О чем? О смерти и гибели? Нет. Чего ж думать об этом — смерть и гибель на войне кругом. И тут думай не думай, а судьба если выпала такая, она тебя найдет. Нет, я думал вот о чем: плохой ли я, хороший ли — ладно, но почему эту землю, где я родился и рос, топчет проклятый фашист, по какому праву он терзает ее, жжет огнем и взрывает железом, почему он вонючим своим поносом испражняется на нее?

Все это, в том числе и последние слова, Кошкин произнес обдуманно. Давным-давно он понял, что патетика и громкие речи этими людьми не воспринимаются, с ними говорить нужно грубо, обнаженно и цинично. Тогда народ этот считает, что с ним говорят откровенно, по-человечески.

По рядам прошел ропот, шеренги в темноте закачались, строй, казалось, сейчас рассыплется. Но Кошкин этого не боялся, он был доволен, что его слова вызвали в роте ропот, — значит, дошло, царапнуло многих за что-то живое, что еще тлело в мрачных глубинах их душ.

— Сми-ир-рно! — рявкнул Кошкин. И эта команда произвела необходимое действие: рота замерла.

Кошкин помедлил ровно столько, сколько было нужно, чтобы каждый штрафник почувствовал и осознал, что команда выполнена не им одним, а всей ротой.

Шеренги стояли неподвижно, только слышалось во мраке тяжелое дыхание. Теперь можно было говорить с ними несколько по-иному.

— Вы провинились перед родителями, которые вас на свет произвели, перед землей, на которой живете, перед всеми людьми... Все вместе это называется Родиной, хотя это слово для вас, к сожалению, пустой звук. Вы надругались над Родной, оскорбили ее. И ей ничего не оставалось, как взять в руки кнут, крепкий, беспощадный, чтобы проучить заблудших своих граждан.

• Заложив пальцы за ремень, Кошкин сделал вдоль строя несколько шагов, повернулся, зашагал в другую сторону.

— Но Родина не только сурова, но и добра. Не думайте, что в тяжкий для нее час она призвала вас на ее защиту... Защитников у нее хватит. Они дерутся с врагом не из-под палки. А по долгу сыновей и дочерей Отчизны. Вам же Родина просто по доброте своей предоставила последний шанс возродиться из грязи, очиститься огнем и кровью от слизи и гноя, который проел насквозь ваши души, заслужить ее прощение...

Где-то над болотом опять завывала «рама», на этот раз не близко, звук ее, возникнув, сра-

зу же стал отдаляться. Через несколько секунд далеко на западе слабеньким, колеблющимся заревом осветился кусочек неба, донесся редкий лай зениток.

Ни один человек в строю не шелохнулся, и Кошкин с удовлетворением отметил это. Поостреляв, пушки умолкли, зарево, будто обессилив, погасло. И опять наступила тишина.

— Характер предстоящего боя вы знаете, — произнес Кошкин в полнейшем безмолвии. — Я же скажу вам одно: после этого боя все... и пролившие и не пролившие кровь будут освобождены из роты. Подчеркиваю — все! Кроме тех, конечно, кто проявит в бою трусость, кто вздумает прятаться за спины товарищей. Таких мерзавцев после боя расстреляем! Хочу, чтобы и это было ясно... Вопросы есть?

Вопросов не было.

Болотная жижа хлюпала под ногами.

Ощущая под собой тонкий и ненадежный травяной пласт, готовый в любую минуту порваться, Петр Зубов шагал за низкорослым штрафником, боясь потерять во мраке или за кустами его спину. Алексина, мрачная беременная проводница, идущая где-то впереди их взвода, еще там, на поляне, предупредила: «Иди цепкой и друг от дружки не отставать. Отстанет ежели кто, ткнется вбок — леший болотный за ноги вниз утянет. А так тропа просторная, мало что зыбучая — это ничего, надежно. Идти я буду тихо...»

Сзади, хрипло дыша прокуренным горлом, шел Гвоздев, он тоже боялся отстать, и временами Зубов ощущал его горячее дыхание на своей шее, слышал обессиленные злобой приглушенные матерки.

Теплый болотный воздух был вонюч и едок, идти было тяжело, глаза заливал пот, автоматные диски и гранаты больно оттягивали ремень. К тому же комарье, поднятое, как дорожная пыль, движением людей, резало лицо, шею, кисти рук, прожигало плечи и спину сквозь взмокшую гимнастерку. Люди обмахивались ветками, но комарье это не отгоняло.

Низкое небо, не то по-прежнему задымленное, не то покрытое тучами, черной крышкой висело над головой, и Зубову чудилось, что оно постепенно опускается, как чудовищный пресс, все ниже, грозя его и всех остальных вместе с этими чахлыми кустами, с жесткой осокой и комарами вдавить в зыбкую болотную почву.

Алексина выполняла свое слово — шла где-то впереди медленно, а временами, видимо, во все останавливалась, давая возможность всем подтянуться. Пока задние подтягивались, Зубов, стоя в длинной шеренге, слушал редкое

кваканье лягушек, перебирал в памяти недавний разговор с Алейниковым и думал о жизни — непонятной ему, жестокой и бессмысленной. Ему уже скоро сорок лет, он не нашел в этой жизни места и не найдет, наверно, он враждебен этому миру, и мир ему враждебен. Да и не только ему. Вот сколько тут, в болоте, людей, безжалостная сила гонит их сквозь топи вперед, навстречу смерти. Впереди смерть и сзади, если повернуть... «Вы надругались над Родиной, оскорбили ее. И ей ничего не оставалось, как взять в руки кнут...»

Эти слова командира роты капитана Кошкина, кажется, ничего не вызвали в душе Зубова, он слышал их тысячу раз и раньше, потому по привычке внутренне усмехнулся. Только мелькнуло почему-то в мозгу, что и Алейников во время их беседы говорил, собственно, о том же, хотя таких слов не произносил. Кнут... Но какой чудовищный кнут вообще свистит над землей, гоняет под небом неисчислимы толпы людей то в разные стороны, то навстречу друг другу, и тогда люди вступают между собой в смертельную драку. «Тут уж кто кого, борьба классов...»

Фраза эта, сказанная недавно Алейниковым, будто наяву прозвучала вдруг опять над ухом. И Зубов удивился, что мысль, заключенная в этой фразе, забытая и ненужная ему, оказывается, жила где-то в нем, как огонек под слоем холодной золы, и вот неожиданно всплыла, будто опровергая его спутанные и невеселые мысли. А почему «будто»? — подумал он, мрачней. И почему — «ненужная»? Ведь он, Зубов, спросил же вчера днем у Алейникова: «От людей мне прощение может быть или нет?»

Над болотом потянули теплые, гнилые струи воздуха, несколько не освежая вспухшего от укусов комарья и от внутреннего жара лица, лягушки все трещали где-то хрипло и скрипуче, будто ворчали на порушенный покой, уныло шуршали мелкоствольные ивняки, мотали космами ветвей. Рядом стоял Гвоздев, он поглаживал ладонью автоматный ствол и о чем-то вполголоса переговаривался с Кафтановым. Тот слушал не отвечая, вытягивал исхудалую шею. Смотрел куда-то вверх кустов и Зубов, не пытаясь разобрать слов Гвоздева. «Опять уговаривает к немцам, — подумал он. — И уговорит, наверно, поддастся Макар... Сволочи».

Еще у Зубова мелькнуло, что Макар Кафтанов в последнее время как-то сваял, замкнулся, хмуро о чем-то все время думал, будто внутри у него что-то завелось и начало больно точить. Макар стал худеть, даже осунулся, лицо сделалось костлявым. Но тут же эта мысль пропала, в голове заворочалось, охлаждая по всему телу горячую кровь: «Убьют сегодня, найдет меня в конце концов пуля. А жалко».

Зубов думал так о себе, как о ком-то постороннем, которого могут убить в предстоящем бою и которого ему будет жалко.

Взвод, растянувшийся на большое расстояние по болоту в одну шеренгу, где-то впереди снова двинулся, под ногами захлюпала вода.

Зубов, ощущая на плече тяжесть автомата, шагал еще более угрюмо и думал теперь, что какие-то странные вопросы, подобные вот этому — может ли ему от людей прощение быть? — беспрестанно возникают в мозгу. Вопросы возникают, но ответа на них нет, никто не может их дать. И Алейников не дал, пошел философию разводить — есть, мол, разные преступления, некоторые даже закон может простить, а люди — никогда. Например, измена Родине... Родине я не изменял и не собираюсь, это вон Гвоздев, кажется, собирается. Кафтанова Макара уговаривает. А я — нет, хотя что для меня Родина, где она, какая она! Для отца, видимо, была какая-то и где-то Родина, его за это убили... Борьба классов. А я — какой класс? И может ли быть, может ли отыскаться для меня Родина? Она где-то существует, чужая и непонятная, суровая, но и добрая, как говорил недавно на поляне Кошкин. Где же она существует? Где нашел ее сам-то Кошкин, в прошлом — тоже заключенный? Спросить бы у него...

Мысль эта, возникшая, как и все остальные, неожиданно, в отличие от других, не пропала, не исчезла, а начала ворочаться в мозгу все беспокойнее, вызывая чувства облегчения и надежды. Зубову казалось: стоит спросить — и откроется неведомое, куда он шагнет, оставив разом за плечами свою ужасную непроглядно-кошмарную жизнь, мрак и чернота сомкнутся за ним, разом отрежут, отсекут все прошлое. Пусть будет этот страшный бой сейчас, пусть будут еще десятки боев, он, Зубов, каждый раз станет кидаться в самую их гущу, в самый огонь и грохот, он не из трусливых, и ни пуля, ни осколок, ни струя из огнемета не возьмут его! Но как спросить? Где сейчас увидишь капитана Кошкина? Он там, на поляне, куда начнут бегать к нему связные с сообщениями о ходе боя. Как они пройдут через все болото? Как это Кошкин на таком расстоянии будет руководить боевыми действиями взводов и отделений? Нет, кажется, всю роту действительно на убой гонят, как скот.

«Как скот... как скот...» — зазвонила в виски горячая кровь, опять отдаваясь болью, смывая, захлестывая пролившееся было в душе облегчение. «Какая, к черту, Родина для меня?!» — вспыхнули у него в голове горячим пожаром злоба и ненависть к тому же Кошкину, к шагающим позади Гвоздеву и Кафтанову, ко всему миру враз, в одну секунду переполнили его.

Не убавляя шага, Зубов стал поворачивать голову через плечо, чтобы взглянуть на Гвоздева, но увидел... капитана Кошкина. Тот стоял сбоку, совсем близко, на болотной кочке, опираясь обеими руками на толстую палку, смотрел на проходящее мимо отделение, глаза его в полумраке поблескивали. «Как пастух», — мелькнуло почему-то злорадно у Зубова, и он остановился. На него тотчас наткнулся Гвоздев, на Гвоздева — Кафтанов.

— В чем дело?! — сердито проговорил Кошкин. — Вперед! Не останавливаться!

— Разрешите обратиться, товарищ капитан! — как-то само собой вырвалось у Зубова, хотя в эту секунду он уже не хотел задавать свой вопрос ни Кошкину, ни кому бы то ни было.

— Ну? Что такое? Не останавливаться!

Гвоздев скривил губы, царапнул насмешливо сверху вниз Зубова глазами — все это Зубов скорее почувствовал, чем увидел, — и зашлепал сапогами. И Макар Кафтанов, скользнув в темноте взглядом по Зубову, тоже пошел, и все остальные за ним. Зубов же, поправляя автомат на плече, стоял напротив Кошкина, удивленный, что командир роты находится здесь, а не на поляне, за болотом.

— Я слушаю, Зубов. Что у тебя?

— Да так... Пустяки. И вам смешно, наверно, будет, — угрюмо проговорил Зубов.

— Тогда и я посмеюсь.

— Вы сами были в штрафной роте. За что — я не спрашиваю...

— Ишь ты! — голос Кошкина на этот раз прозвучал более жестко, он, кажется, нагнулся к Зубову, глаза его оказались совсем близко и больно резанули по лицу. И Зубов вспомнил: точно так же эти зрочки впились в него там, под Валуйками, когда он, повергнутый наземь, признался, что стрелял в него. — А что же ты хочешь спросить?

— Я вот все шел по этому болоту и думал про те слова ваши о Родине... По-всякому о них думал. И любопытно стало мне — сами-то вы где... и в чем нашли Родину? Что это такое?

Зубов все это произнес медленно, отвернувшись от Кошкина, глядя, как во мраке течет и течет нескончаемая цепочка штрафников, слушаая, как чавкает болотная жижа под их сапогами.

По-прежнему над головой висело низкое, черное небо, лишь с одного края где-то далеко оно временами озарялось слабым и бессильным заревом — может, немцы или наши пускали ракеты, а может, просто поблескивали летние зарницы.

Кошкин стоял не шевелясь, опираясь обеими руками на палку. Он все так же пристально

глядел на Зубова. И хотя тот стоял отвернувшись, но чувствовал этот взгляд.

— Ну-ка, подними голову! — жестко скомандовал Кошкин.

И Зубов вдруг почувствовал, что поднять голову и поглядеть в блестящие во мраке глаза Кошкина ему нелегко. Какая-то сила мешала этому, шея вдруг одеревенела.

Он собрал все силы и голову все же поднял.

— Вот что, Зубов... И это болото — Родина. И это небо, и комары. И та земля... — Кошкин кивнул через плечо в сторону, куда цепочкой двигались штрафники, — ...та земля, в которую зарылись сейчас немцы. И дело не в том, где ее найти... Ты не об этом хотел спросить.

— Может, и не об этом, — согласился вдруг Зубов.

— А вот когда найти?! А?

— Правильно, — выдохнул Зубов, поражаясь чему-то.

Командир роты с полминуты молчал, глядя на Зубова блестящими глазами. И Зубов, не смея без команды повернуться и уйти, стоял покорно, не решаясь даже отвести взгляд, опустить голову, стоял и ждал еще каких-то слов этого человека, наделенного неограниченной властью, имевшего право, даже обязанного там, в Валуйках, пристрелить его, но не сделавшего этого.

— Так вот, мне кажется, что скоро ты найдешь ее в конце-то концов, — проговорил Кошкин. — Во всяком случае, я желаю тебе этого, Зубов... Встать в строй!

Весь день на высоте прошел спокойно. Немцы не забыли, однако, о русских, оставшихся у них в тылу, их снайперы таились где-то под разбитыми, обгоревшими танками, внимательно наблюдали за сопкой, и едва над бруствером окопа возникал силуэт или мелькала тень (Иван время от времени и в разных местах высывал из окопа на черенке лопаты то каску, то снарядную гильзу), сразу раздавалось несколько выстрелов, пули торопливо клевали в металл, со звоном уходили в рикошет.

— Оставить! — в конце концов распорядился Ружейников. — Отрикошетит в тебя самого или в кого из нас!

— Полезли бы уж, что ли, — вяло проговорил Иван, отбрасывая палку. — Коли судьба нам тут, так уж скорей пуцай. А то тянут жилы.

— Ай-ай! Умирать торопишься? — с укором произнес Магомедов. — Успеешь.

Иван ничего не ответил азербайджанцу, поглядел на безмятежно спящего Семена, потом задрал голову, стал смотреть куда-то вверх.

Там, над сопкой, в недавно очистившемся от дыма небе, медленно плыл, распластав крылья, неизвестно откуда взявшийся аист. Он парил на небольшой высоте, с земли было видно, как он поворачивал голову на длинной шее то вправо, то влево, будто высматривал, что делается здесь, на бывшей уничтоженной батарее, и там, возле разбитых танков, под которыми лежали немцы, и еще дальше, за речкой, на узкой кромке открытой земли между болотом и лесом. Вслед за Иваном аиста увидели Магомедов и Ружейников. Несколько минут три человека, грязные, заросшие щетиной, в оборванных, обгорелых гимнастерках, забыв на эти минуты о немцах, о павших и похороненных в воронке от вражеского снаряда своих товарищах и о своей неотвратимо приближающейся, как понимал каждый, смерти, наблюдали за вольной и сильной птицей. Смотрели они на нее по-разному: Иван — с усталой и тихой грустью, в зрачках его что-то вспыхивало и гасло; Ружейников — будто равнодушно, лишь пыльные, измученные веки его мелко-мелко подрагивали; Магомедов — по-детски удивленно и восторженно, черные глаза его открывались все шире и шире, будто видели в небе не обыкновенного аиста, а какое-то невообразимое, неиспытанное чудо.

Сделав широкий круг над развороченной солдатскими лопатами и снарядами сопкой, аист, по-прежнему не шевеля крыльями, поплыл к реке.

И вдруг туго распластанные крылья аиста сломались, в одно мгновение превратились в лохмотья. И лишь потом донесся выстрел. Птица бесформенным комком стала падать вниз.

— Сволочи! — Магомедов, обезумев, вскочил во весь рост, затряс кулаками. — Сволочи-и!

Иван зверем метнулся к Магомедову, схватил за ремень, изо всей силы дернул, повалил бывшего командира самоходки на дно траншеи.

— Уйди! Прочь! — вскричал Магомедов, пытаясь подняться.

Тогда Иван навалился на него всем телом, подскокивший Ружейников схватил азербайджанца за руки.

— Утихни! Кому сказано! — прохрипел старший лейтенант, вытащил на всякий случай из кобуры Магомедова пистолет. — Распиховался тут!

Пока все это происходило, немцы, развлекаясь и упражняясь в меткости, со всех сторон палили по падающей птице. Мертвый аист только переворачивался в воздухе, от него густо брызгали перья, а потом, кружась, медленно падали вниз.

Разбитое, разорванное пулями тело птицы давно упало где-то на землю, давно перестали стрелять немцы, а легкие перья еще долго сыпались и сыпались.

— Твое счастье, что на аиста глазели, а не на окоп, — сказал Иван, отходя от Магомедова. Тот лежал на дне окопа лицом вниз, ничего не выкрикивал теперь, только хрипел и царапал пальцами землю.

— Какой нервный стал, — произнес негромко, без осуждения, Ружейников, сунул пистолет азербайджанца в его кобуру и сел на прежнее место, возле стереотрубы.

Магомедов пошевелился, потом поднялся, сел. И, прислонившись спиной к земляной стенке, стал смотреть туда, где только что плавал аист. Он смотрел в небо, не мигая почти.

— Я родом из города Шемаха, — сказал он вдруг. — Есть такой город в Азербайджане. Слышали?

На это ему никто ничего не сказал.

— Мой город знаменитый. Там родился Насими.

— Это кто же такой? — спросил Ружейников.

— Поэт. Он старался постичь и объяснить людям красоту природы, тайны и смысл жизни. Он говорил в своих стихах, что самое прекрасное и разумное в жизни — это человек.

— Правильно, — усмехнулся Ружейников.

— За это с него содрали кожу. С живого.

— Как... так?! — воскликнул Иван, поднимая голову.

— Он жил давно, пятьсот лет назад. Тогда такие мысли считались ересью. И духовенство осудило его на такую казнь.

Потом все долго молчали, вслушиваясь в тишину, установившуюся над сопкой, непонятную и тревожную.

— А жизнь все равно никому не убить, — произнес в этой тишине Магомедов. — Никогда.

Иван прикрыл веки, пытаясь что-то себе представить, ту далекую, неведомую и страшную жизнь, когда с живых людей сдирали кожу, но представить ничего не мог, только вздрогнул сильно, в открывшиеся сами собой глаза ему больно ударило веселое и щедрое солнце, и в мозгу только теперь вдруг пронеслось: что же чувствовал, какие мучения перенес тот человек? И за что? За то, что пытался, как сказал Магомедов, постичь и объяснить людям смысл жизни. Вон когда еще люди бились над этим! Да и много раньше, наверное, и позднее, и до сих пор вот. А он, смысл этот, так людям и не дается. Иначе разве переживали бы люди такие мучения?! И голод, и холод, и войны. И ему

самому жизнь выпала не сладкая, ломала его по-всякому, только кости хрустели, и вот доломает сегодня, может, окончательно...

Случайный рассказ Магомедова о трагической судьбе древнего поэта странным образом подействовал на Ивана. Весь день и всю ночь в голове его, что-то там размалывая и очищая, ворочались неясные мысли, вспоминались, сами собой всплывали в памяти самые тягостные моменты из его жизни, но они не казались Ивану сейчас тягостными, а тем более трагичными. Может, потому, что в голове гвоздем торчала одна мысль: что бы там с ним ни происходило, с него никто не сдирал кожу, как с того человека. И не сдерет...

С каждым часом в голове становилось все светлее, на душе легче, чувство обреченности и неизбежной гибели, просочившееся было, как вода в щели, в каждую клеточку мозга, в конце концов исчезло, выветрилось, и Иван, когда Семен, под вечер уже, очнулся от своего долгого сна, весело прокричал ему:

— Живем, значит, Сем, а?!

— Ага, — сказал Семен машинально. Приподнялся, сел, потер пальцами засохшую кровь на висках, непонимающе огляделся. — Где это мы, а?

— Да где, все там же... Только черта с два они нас получат! Увидел выгнутую горбом спину Магомедова, все, видимо, вспомнил и протянул невесело:

— А-а...

— Как ты, Семен?

— По голове будто били чем-то, шумит немного. А так ничего.

— Поешь тогда. Мы уже все поужинали.

Иван тяжелым ножом вскрыл банку тушенки, дал ему пахнувший пылью кусок черного и черствого хлеба. Семен немножко поковырялся в банке, все вернул Ивану.

Когда стемнело, Ружейников приказал Ивану и Семену вести наблюдение и, если будет все по-прежнему тихо, разбудить его с Магомедовым в два часа ночи.

Все было тихо. Иван и Семен лежали на бруствере, сквозь натканые в землю ветки смотрели вниз, где в разных местах чернели темными глыбами разбитые танки, а дальше поблескивала, отражая звездный свет, неширокая речка. Нигде ни звука, ни огонька, будто вокруг на много километров не было ни одного человека, ни одного живого существа, река и та омертвела, словно течение воды прекратилось и теперь никогда уже не возобновится.

— Письмо-то Наташке не забудь переслать, ежели что, — вполголоса проговорил вдруг Семен.

— Помнишь, — усмехнулся Иван. Достал письмо и вдруг разорвал его надвое, потом еще надвое.

— Ты что?! — сдавленно вскрикнул Семен, вырывая обрывки.

— Вернешься домой — сам и расскажешь ей про свою... про что в письме. А лучше — не надо.

Семен, сжимая в кулаке бумажные клочья, спросил, помедлив:

— Ты, дядь Ваня... веришь, что вернемся?

— Обязательно.

— Если бы так, — вздохнул Семен.

— Жизнь, Семка, никому ведь не убить.

Семен разгреб в бруствере ямочку, сунул туда изорванное письмо и привалил землей.

— Правильно, — сказал Иван. — Бабам и так нынче сколько горя. Пуцай этого не узнает.

— Не в том дело, — вздохнул Семен.

— А в чем?

— Этого не объяснить. И не понять никому. Олька хорошая, она никого не хотела обидеть. Наташку, говорит, когда вернешься, люби еще сильнее... и береги.

— Чего ж она хотела?

— Чтобы ее немного пожалели.

— Это как же? — повернул голову Иван.

— Я и говорю — не понять.

Иван немного помолчал, взглядываясь в темноту. Повернулся на бок и вздохнул:

— Не знаю, Семка, большу ли, малый ли грех у тебя с ней был... Только я не одобряю.

— Не было греха, — упрямо сказал Семен. И, ощущая на себе вопросительный, непонимающий взгляд Ивана, прибавил чуть раздраженно: — Да, все было! А греха не было.

Иван больше ничего не стал расспрашивать.

Тихо было на высотке и вокруг нее и после двух часов. Как было приказано, Иван в положенное время разбудил Ружейникова с Магомедовым, а сам лег на дно окопа, на место командира батареи, ощущая нагретую его телом плащ-палатку.

— А я не усну, выпался, — произнес Семен. — Пусть лучше еще Ружейников или Магомедов поспят.

— Не можешь, а тебе надо. Ты постарайся, — сказал Иван. — А то, чую, будет завтра дело...

— Как это — чуешь?

— А как зверь лесной пожар чует. Спи!

Семен покорно лег на землю и в самом деле скоро заснул, провалился, как в яму.

Проснулись Иван и Семен от грубых толчков — не то тряслась земля, не то их кто-то безжалостно пинал. Ночь уже кончилась, занялся рассвет. Небо над высотой было затянато, как скатертью, бледно-оранжевым светом, за скатерть будто непрерывно дергали, она то съезжала в сторону, к речке, то снова расплывалась над головой. В уши бил беспрерывный грохот.

— Что? Лезут? — прокричал Иван, вскакивая.

— Приготовиться! Приготовиться! — орал Ружейников, размахивая пистолетом и действительно пиная Семена. Он был в каске, каска сидела на голове криво. Рот командира батареи тоже был страшно перекошен, в черной дыре поблескивали зубы. На шее у него болтался бинокль. В левой руке старший лейтенант держал ствол автомата и, когда Семен вздернулся с земли, сунул ему оружие, повернулся и победил вдоль окопа.

Через несколько мгновений все четверо лежали на бруствере и смотрели, как за рекой по всей кромке леса, уходящей вдаль, во мраке колышется поднятый снарядами слой земли и дыма, а снизу, прорывая этот слой, вспучиваются пестрые, раскаленные бугры, а потом взрываются и брызгают вверх и в стороны тугими огненными брызгами. Под мерцающим светом от взрывов блестела перетоптанная, спутанная трава по склону холма, по ней от разбитых танков в сторону реки бежали темные фигуры немецких снайперов, стороживших запертых на высоте людей. Трава была скользкой, немцы бежали и падали. Поднимались и опять бежали.

— Из ручного их бы можно еще достать, — прокричал Иван сквозь грохот.

— Отставить! Это одиночки. А патронов...

Иван все понял, что хотел сказать Ружейников, повернул голову к Семену. Тот, покусывая нижнюю губу, спокойно глядел на убежавших немцев, на взрывы за рекой, на подожженный снарядами в нескольких местах лес и чуть улыбался.

Неожиданно где-то недалеко над болотами густой мрак пронзила зеленая ракета, грохот артиллерийской канонады почти смолк, но вражеские пушки, расположенные вдоль кромки леса, изредка постреливали, снаряды их рвались недалеко в болоте.

— Ничего не понимаю, — пробормотал Ружейников. — Они бьют прямой наводкой в болото. Неужели наши из болота наступают?

— Они наших в упор расстреливают! — закричал Магомедов. — Надо подавить их пушки! Разрешите? Отсюда их легко накрою...

— Надо, говоришь? Наверное, надо... — хриплым и неуверенным голосом произнес Ру-

жейников, растирая кулаком подбородок. — Давайте — ты и Савельев Иван!

Магомедов с Иваном вскочили уже, чтобы кинуться к пушке.

— Товарищ старший лейтенант! Смотрите! — закричал Магомедов. — Они отходят!

Ружейников торопливо вскинул к глазам бинокль. Но и без бинокля было видно, что по всей кромке леса по-прежнему шел бой. Лесной клин, выходящий к реке, начал вдруг окутываться дымом — то ли деревья загорелись, то ли немцы подожгли дымовые шашки. Огня, во всяком случае, с высоты не было видно. Ружейников, Магомедов да Иван с Семеном видели лишь, как в рассветной полумгле сквозь клочья и полосы дыма бегут толпы немцев. Часть из них залегла на противоположном берегу, торопливо окапывалась, остальные кидались прямо в воду, переплывали, переходили неглубокую речушку и тоже принимались зарываться в землю. Ружейников наблюдал за всем этим, даже приподнялся на руках, будто изготовился к прыжку.

— Сосенки-елочки! — воскликнул он, остервенело сверкнув глазами. — Сейчас они покалечат, что не задавили нас тут. Магомедов и вы, Савельевы, — к пушке!

Справа, на западе, где небо было темнее всего, оно осветилось вдруг бледно-оранжевым заревом, будто именно оттуда, с противоположной стороны, вздумало сегодня взойти солнце, и до высоты, до огневой позиции бывшей батареи, от которой осталась одна пушка, докатился гул, глухой и могучий. Он шел будто под землей, колыша ее, грозя ежесекундно разорвать недра, вырваться наружу и тогда уж в неудержимой ярости затопить все вокруг, смять, растереть в порошок все живое и мертвое.

Четверо людей на высоте, измученных, слабых и беспомощных, невольно повернули головы на этот зловеющий звук.

— Началось, — ссохшимися губами прошептал Ружейников. — Наше или немецкое?

Старший лейтенант не произнес слова «наступление». Но это и так было ясно.

— Я говорил, Семка, что сегодня будет дело, — улыбнулся Иван весело, облегченно, будто все смертельные опасности были уже позади.

— Чему радуешься, — рассердился Ружейников. — К пушке, говорю! Выкатить вот сюда, на прямую наводку. И слушать мою команду.

Небо над рекой, лесом и болотами снова было завалено теперь, опутано космами дыма, но сквозь редкие прогалины виднелись синие окошки, они становились все светлее, сквозь них проливался на искореженную снарядами и бомбами, на сожженную безжалостным огнем землю новый длинный летний день...

Этот новый день, который, может быть, мало чем отличался от многих предыдущих, стал, как и предыдущие дни войны, последним для тысяч людей, мужчин и женщин, молодых и пожилых, хороших и плохих, известных и безымянных...

Этот день стал последним для Алексины, молодой и красивой женщины, так и не родившей ребенка, для азербайджанца Магомедова, для капитана Кошкина, чья жизнь, несмотря на выпавшую ему тяжелую судьбу, была не длинной, но прекрасной. Война, как ненасытное чудовище, пожрала очередные свои жертвы и с грохотом покатила дальше, а земля поседела за этот день еще больше...

В этот день закончил ничемный свой жизненный путь и Леонид Гвоздев, человек подлый и мерзкий, каковых тоже в немалом количестве производит природа. Но он погиб не от фашистской пули, его застрелил Зубов. Прикусив до крови губу, он полоснул из автомата в тот момент, когда Гвоздев, уже перебежавший к немцам, выхватил из зеленого ящика снаряд и подал его вражескому артиллеристу. Немец, долговязый и сутулый, согнувшись, принял снаряд и повернулся к пушке, собираясь вогнать его в ствол, не замечая ворвавшегося сквозь тучи пыли и дыма на огневую площадку Зубова. Автомат в руках Зубова несколько раз дернулся, немец мешком отвалился в сторону, тяжелый снаряд выпал из его рук, ударился о станину и покатился куда-то.

— Зу-уб! — заорал Гвоздев, отпрянувший вбок. — Зуб... зачем? Мы с Макаром решили!

— С-сука! — неожиданная злоба и ненависть к Гвоздеву перекосила лицо Зубова. — Когда успел?

— И ты давай с нами! — На грязном, взмокшем лице Гвоздева торопливо дергались белки глаз. — Ты... Зу-уб!

И, прокричав это, повалился туда же, где лежал немец-артиллерист.

Волчья ярость опять захлестнула Зубова. Нет, его несколько не задели и не оскорбили слова Гвоздева. Зубов вспомнил вдруг только что погибшую у него на глазах беременную женщину Алексину, закусил до крови губу и, подняв автомат, двумя длинными очередями крест-накрест окончательно пришил Гвоздева к земле.

На это Зубов истратил последние патроны в диске. На поясе у него было два запасных, но менять пустой диск он не стал. На огневой позиции валялось несколько убитых немцев, а в стороне, у земляной стенки, скорчившись, лежал какой-то штрафник в окровавленной гимнастерке. Зубов нагнулся к убитому, выдернул

из-под него автомат, а свой отшвырнул в сторону и побежал вдоль траншеи, в дым и грохот.

Зубов убежал, а штрафник, из-под которого он выдернул автомат, шевельнулся, повернул голову и усмехнулся. Это был Макар Кафтанов. Несколько минут назад они с Гвоздевым, тяжело дыша, свалились на эту огневую. Возле орудия в дыму и копоти суетился только один немец, весь расчет был уже перебит. Немец отпрянул было за пушку, выхватив одновременно парабеллум. Но Кафтанов и Гвоздев торопливо бросили на землю свои автоматы и подняли руки.

— Мы сдаемся! — заорал Гвоздев и повторил это заученно по-немецки: — Wir ergeben uns! Wir gehören zu einer Strafkompagnie. Wir sind Gefangene¹.

— О, sehr gut, — недоверчиво произнес немец, кивнул на снарядный ящик. — Dann helf mir. Reicht mir die Munition!²

Гвоздев кинулся выполнять распоряжение, а Кафтанов Макар вдруг покачнулся и, схватившись за левое плечо, стал оседать, простонав:

— А-а, з-зараза...

— Кто? Что? — метнулся к нему Гвоздев.

— Не знаю... рвануло за плечо вот.

— Die Munition!³ — рывкнул в этот момент немец, и Гвоздев шагнул к ящику.

Рана была не опасная, шальной пулей чуть задело мякоть. Кафтанов сразу это установил. Он, зажимая рукой рану, сел к земляной стенке, стал смотреть на свои пальцы, сквозь которые текла на грязную гимнастерку кровь, на Гвоздева, подававшего немцу снаряды. Рана даже и не чувствовалась, лишь кружилась голова и подташнивало. Когда кровь перестала течь, Кафтанов усмехнулся, еще подумал о чем-то, лег спиной к орудию, выставив кверху окровавленный бок, скорчился так, чтобы его приняли за труп.

Макар не видел, кто спрыгнул с бруствера на огневую, присыпав его землей. Услышав первый же истошный вопль Гвоздева, догадался, что хочет сделать Зубов. Ложась, Кафтанов на всякий случай сунул под себя автомат. В какую-то секунду у него мелькнула мысль: быстро повернуться и врезать Зубову всю очередь в спину! Но он опасался, что не успеет или не сможет этого сделать — голова все-таки кружилась, видно, много крови вытекло. И к тому же решил: «А зачем? Пушай сдыхает Гвоздь. Тогда я как раненый... ежели наши сомнут немца... Да ведь так все и может произойти!

¹ Мы сдаемся! Мы из штрафной роты. Заключенные.

² Очень хорошо. Тогда помогайте мне. Подавайте снаряды!

³ Снаряды!

Легко выпутаюсь! Ага, привет тебе, Гвоздь...»

Потом он почувствовал, что Зубов приближается к нему. «Если перевернет на спину, признает — притворюсь мертвым... в крайнем случае без сознания. А что потом? Ведь должен Кошкину, что сдались... Надо гробануть его, суку!»

Но Зубов, находящийся в лихорадочном состоянии, не только не узнал Кафтанова, но даже не обратил на «убитого» никакого внимания. Труп и труп, мало ли полегло сегодня штрафников под шквальным, в упор, автоматным и орудейным огнем немцев.

Покончив с Гвоздевым и выхватив из-под Кафтанова автомат, Зубов побежал вдоль траншеи, затем выскочил на открытое пространство под свистящий рой пуль. Они пролетали рядом, почти обжигали его, но ни одна не задевала.

— Зубов! Рядовой Зубов! — закричал кто-то и схватил его за ногу. Он упал в какую-то канавку.

— Что хватаешь?! — окрысился он, оборачиваясь. — А то я схвачу!

Рядом, в трех метрах, вздыбилась земля, поднялась на воздух и, как с лопат, посыпалась вниз.

— Подавить оружие! — прокричал командир отделения. — У тебя гранаты есть?

— Одна осталась...

— Возьми вот еще две. И давай по этой канавке! Пушка там, метрах в семидесяти... Живо! А то нам вон до той траншеи не добраться, не выкурить немчуру оттуда.

— Понятно... Понятно! — прохрипел Зубов, принимая гранаты-лимонки. — Я сейчас.

Он пополз по канаве в сторону яростно палившего немецкого оружия, вспоминая о начале атаки. Сейчас, когда кругом гремело, трещало и свистело, когда он находился в центре ада, все это не казалось ему ни опасным, ни тем более кошмарным. До жути страшно было лишь там, на крохотной, более или менее твердой площадке в болоте, где кое-как взвод скапливался для атаки, для броска. За кустами было еще метров сорок топи. В животе перекачивался словно кусок льда, когда он, бросив напоследок зачем-то взгляд на стоящего в сторонке капитана Кошкина, под страшный грохот неожиданно возникшей оружейной канонады бежал вслед за другими по этой топи. Под ногами сильно пружинило, под самый пах почти хлестали холодные струи. Наши пушки все молотили и молотили, вздымая впереди, по опушке леса, и дальше, в глубь его, всю землю и воздух, вырывая деревья и поджигая их. В дыму, в пыли и копоти не то звонко пели осколки, не

то это звенело в голове Зубова. Четыре запасных автоматных диска в чехлах оттягивали ремень, больно колотили, но Зубов не обращал на это внимания, а потом и вовсе забыл. Он думал, что ему сегодня, как и всем остальным, смерть, что сквозь этот вой и визг осколков никому не прорваться, все пространство над землей густо, в разные стороны, прошивается кусками металла, покрыто как бы живой железной сетью. А ведь еще немцы не открыли встречного огня, еще передние там не достигли заминированной кромки суши. Еще хорошо, что он из-за разговора с Кошкиным очутился не в первых рядах. Это хорошо...

Немцы, ошеломленные и задавленные нашей артиллерией, обнаружили наступающих из болота штрафников на какую-то минуту позже, чем следовало бы им обнаружить, — когда уже от разгоревшегося леса осветилась земля. Сквозь месиво огня, дыма, вздыбленной земли прорезались белые ракеты, по всей полуторакилометровой кромке болота гитлеровцы открыли шквальный огонь из пушек и автоматов. Штрафники вытекали из болота в трех точках, а немцы палили наугад, в болотную темноту, повсюду, и Зубов, выбежав уже на непривычно твердый бугор, вдруг про себя усмехнулся: дурачье, сколько напрасно жгут снарядов и патронов! То обстоятельство, что немцы не могут пока определить, откуда на них наступают, и, следовательно, не знают, какими силами, вдруг успокоило Зубова, притупило ощущение смертельной опасности. На всякий случай он припал к земле, чтобы отдышаться и оглядеться. Но разглядеть в колеблющихся вокруг клубах дыма и пыли было ничего не возможно, он видел только справа и слева бойцов своего отделения, которые падали, как он, потом поднимались и с отчаянным ревом кидались, ныряли куда-то в эти клубы.

Петр Зубов сперва палил из автомата по вспышкам, затем, видя, что делают другие, выхватил из кармана гранату-лимонку, швырнул ее в окоп, упал. Среди других взрывов он различил свой, хотел кинуть другую гранату, но вой и густая матерщина, задавленная взрывами, стали кругом опять нарастать, и Зубов поднялся, побежал, перепрыгивая через трупы убитых штрафников, на ходу вырвал из автомата расстрелянный диск, стал доставать из чехла новый... Канавка была неглубокая, он торопливо, обливаясь потом, продвигался на звук выстрелов, где согнувшись, а в особо мелких местах ползком, обдирая локти и колени. Во рту было сухо и горячо, дышать становилось все труднее, будто глотку все плотнее забивало песком и гарью. По доносящимся крикам, которые то взрывались в разных местах, то затухали, по возникавшей в разных местах и

потом захлебывающейся перестрелке нельзя было определить, в чью пользу складывается бой, как он кончится. «Да и черт с ним, как бы ни кончился, лишь бы это орудие... — металось лихорадочно в голове у Зубова. — Останусь жив — пусть командир отделения доложит, что это я...»

Он подполз совсем близко к огневой позиции немцев, во всяком случае выстрелы ухали рядом, вливаясь в общий грохот боя. Но где же все-таки пушка? Зубов по канаве скатился в неглубокую воронку, подумал: а ведь это от нашего снаряда! Стоп, а когда прекратилась арт-подготовка? Он этого как-то совсем не заметил. Давно, видимо...

Мелькнув, и эта мысль пропала. Он, пережив самое страшное и опасное, не желал или бессознательно не хотел теперь рисковать, поэтому осторожно выглянул из воронки. Первое, что он увидел, — начинающийся рассвет. Дымы и пыль, поднятая разрывами, то ли осели, то ли их отнесло ветерком в сторону. Во всяком случае, был ему виден чистый клочок ночного звездного неба, и там, где-то далеко-далеко, между чернотой неба и земли, пробивалась узкая темно-синяя полоска.

Опять выстрелила пушка, разорвав сбоку, на довольно приличном расстоянии, клочья темноты над землей. «Ага, вот она где, — спокойно подумал Зубов. — Ну ладно».

Он повесил автомат на шею, достал гранаты. Две взял в левую руку, одну в правую. На секунду закрыл глаза, глубоко вздохнул... Рванулся из воронки и побежал скачками по ровному, открытому месту.

Он бежал, ни о чем не думая, отмечал лишь оставшееся до пушки расстояние. Пятьдесят метров, сорок, тридцать... Из-за бруствера его заметили, к счастью, поздно, навстречу торопливо застучал автомат, пули взрыли землю под ногами. Он перескочил через врезавшуюся в землю очередь, будто лишь в этом было его спасение, в сознании мелькнуло: надо упасть, обмануть их! Он ткнулся в землю, подобрал под себя ноги, уперся в какую-то неровность почвы. И тут же — аж мышцы заныли — оттолкнулся, шукой бросился в сторону, потом вперед. И вдруг — он и сам не ожидал — немецкое орудие оказалось перед ним как на ладони. Возле пушки металась неясная тень — не то две, не то три. Считать их не было ни надобности, ни времени. Зубов прямо в эти тени швырнул одну за другой две гранаты, упал. Взрывами закрыло и пушку, и людей возле нее. Приподнявшись на колени, Зубов принялся наугад строчить в густую, совершенно непроглядную муть, прошивая ее в разных направлениях. Стрелял, пока не кончился диск. Потом быстро откатился на три-четыре метра в сторону, лихо-

радочно выдернул пустой диск, отбросил, схватил из чехла новый, отметив про себя, что дисков у него теперь только два, патроны надо беречь, не палить попусту. Изготовился к стрельбе и стал ждать. Но на огневой позиции немцев было тихо и мертво, ни тени, ни звука, оседала и редела пыль, сквозь мрак начали проступать очертания орудия. Где-то в стороне трещала перестрелка — кажется, их отделение пошло в атаку на немецкую траншею, прикрываемую этой пушкой.

Не вставая, Зубов стал подвигаться к ней. Сквозь редящую муть он различил скрюченную фигуру возле орудийного колеса. Другой немец лежал животом на станине, уткнувшись лицом в землю. Третий распластался рядом, разметав в стороны руки.

Держа автомат наготове, Зубов поднялся, в несколько прыжков достиг немецкой огневой позиции, спрыгнул с бруствера. Немцы как лежали, так и лежали, а больше у пушки никого не было. «Неужели их всего трое?» — даже с каким-то разочарованием подумал Зубов.

Убедившись, что гитлеровцев здесь было действительно трое, что никаких ходов сообщения из орудийного ровика никуда нет, Зубов выбрался на бруствер, сел.

Бой шел в стороне от него и удалялся к речке, за которой торчал невысокий холм. Вдоль речки стлалась белая полоса тумана.

Теснит рота к речке гитлеровцев или немцы — роту, Зубову по-прежнему было непонятно. И что делать теперь, он не знал. «Если немцы уничтожили роту — что же мне! — невесело усмехнулся он. — Сдаться им, как Гвоздь? А если наши поперли их — надо же догнать роту. Тот же командир отделения, если живой! останется, спросит с ухмылкой — пушку, ладно, уничтожил, а потом где был? Не ранен же! Под кустом отсиживался?»

Посидев еще с полминуты, поглядев на начинающийся рассвет, Зубов нехотя поднялся, решив, что надо идти все же в сторону реки. В это время и он, как Ружейников, Магомедов и Савельевы на высоте, увидел осветившееся бледно-оранжевым заревом небо на западе, услышал глухой, будто подземный, гул. «Ага, кажется, наши начали наступление, как ротный говорил еще там, за болотом», — подумал Зубов и не спеша зашагал в сторону реки. Через несколько шагов усмехнулся раздраженно: «Наши-ваши...»

Из-за деревьев метнулась навстречу тень, Зубов мгновенно вскинул автомат.

— Зубов? Сдурел! Меня отделенный послал, — раздался голос. — Живой? Отделенный говорит — сбегай посмотри и доложи.

— Что вы там? — спросил Зубов, опуская оружие.

— Немцы за реку сыпанули. А часть на этом берегу окапывается... Для прикрытия, видно.

— Что с ротой, спрашиваю?

— А я знаю? От нашего отделения вроде половина покуда осталась. Айда! Наши тожеть залегли, скапливаются напротив. Старший лейтенант Лыков приказал сбросить немцев в речку.

Слова штрафника удивили чем-то, и Зубов сперва никак не мог понять чем.

И, только спустившись в неглубокую, затянутую дымком лощину, торопливо обернулся:

— Как... почему Лыков?!

— Так убило ж Кошкина, нашего командира.

— Как?! Как убило?! — Зубов схватил штрафника за плечо, яростно затряс его.

— Иди ты! — штрафник резко сбросил руку Зубова. — А я знаю как? Убило, и все. Мне связной, кореш мой, под секретом шептанул. Теперь Лыков над нами командует.

Зубов почувствовал, как скапливается во рту тяжелая и горячая слюна, превращается в тяжелый ком. Он сплюнул ее, автомат бросил за плечо, достал кисет и стал закуривать. Когда вертел папиросу, пальцы его подрагивали, лицо было хмурым, угрюмым, каким-то окаменевшим.

Низкорослый солдат-штрафник с удивлением наблюдал за Зубовым. Спросил желчно, со злобой:

— Тебе что, жалко, что ли, этой... падали? Много их на нашу шею.

Зубов на это ничего не ответил и, жадно затягиваясь, стал подниматься из лощины навстречу светлеющему небу.

Мрак рассасывался все больше, хотя до солнцевосхода было еще далеко.

Магомедов, Иван и Семен, подкравшись к орудию к самому брустверу, подтащив несколько ящиков снарядов, лежали вместе с Ружейниковым на земляном валу, окружавшем бывшую батарею, смотрели вниз, за речку, где шел бой, бес- сильные что-либо предпринять. Все заречье было затянуто дымом и пылью, где там немцы, где наступает какая-то наша часть, невозможно было разобрать.

Гул на западе все приближался, он то затихал, то начинался снова, небо там смеркло, стало угрюмо-серым, только временами мерцало желто-голубыми отсветами — видимо, немцы, но, возможно, и наши, где-то далеко, за гори-

зонтам, залитым еще ночью, подвешивали осветительные бомбы.

Неожиданно совсем близко, почти под боком, возникла орудийная канонада на востоке. Ружейников вскинул голову.

— Это ж наша дивизия! — воскликнул Иван обрадованно.

— Вроде бы... — согласился Ружейников торопливо.

Немцы продолжали лихорадочно окапываться по обоим берегам речки. Магомедов заерзал по земле, будто ему стало холодно, нетерпеливо взглянул на Ружейникова. Но тот молчал.

Семен смотрел вниз, почти не мигая, не чувствуя в душе ничего — ни боязни возможной гибели, ни радости возможного спасения, которая прозвучала в голосе дяди Ивана, в торопливых словах Ружейникова. В мозгу вертелась одна мысль, тоже какая-то посторонняя, равнодушная: «Танком бы пронестись сейчас вдоль берега по немцам... Одним танком можно бы всю эту их оборону смести...»

— Их атака захлебывается! — нетерпеливо вскрикнул сбоку азербайджанец. — Пора маломало подмогнуть! Может, совсем мало-мало надо!

— А, Иван Силантьевич? — почему-то неуверенно и почему-то именно к Ивану повернулся Ружейников. Может, потому, что Иван был самый старший по возрасту среди них четверых. — Пора?

— Да вроде, — сказал тот, помедлив. — Только если б Алифанов был...

— Какой еще Алифанов? — вскричал азербайджанец.

— Погиб он. Из пушки мог в консервную банку попасть. А то здесь чуть перелет — и в наших. Речка-то всего ничего...

Магомедов так и взвился:

— Какой перелет? Я что — дурак, да?! Алифанов твой умный, я — болван?! Какой перелет?

Не обращая внимания на эту перебранку, Ружейников продолжал глядеть вниз. Там, за речкой, между болотом и кромкой леса, бой, кажется, затихал и атака нашей части действительно захлебывалась. Вражеские пушки, бывшие в болото, одна за другой умолкали, лес теперь во многих местах горел, в сером утреннем небе, снова застилая его чернотой, расплывались все шире клубы дыма, а по берегу над самой землей извивались, как змеи, ползли контрастно белые космы дымовой завесы, сквозь нее толпами все бежали и бежали немцы, зарывались в землю на обоих берегах.

— Магомедов! — воскликнул Ружейников. — Можешь по тому берегу ударить? Под кромку завесы? Не дальше?

— Можем! Почему не можем? — коверкая в волнении слова, ответил бывший командир самоходки.

— Тогда — давай!

Магомедов по-кошачьи прыгнул с бруствера к пушке и, выгнув горбом спину, приник к резиновому наглазнику панорамы, лихорадочно закрутил рукоятки маховиков. Ствол пушки медленно пополз вниз и чуть в сторону.

Первый снаряд упал в речку, подняв высокий и красивый султан воды.

— Перелету нет, правда, — пробурчал Иван, дергая замок. Прозрачно дымясь, горячий латунный стакан выпал на землю. Семен, стоявший наготове с новым снарядом, отбросил ногой гильзу в сторону.

— Сейчас, — выдохнул Магомедов, не отрываясь от прицельного устройства подкручивая маховичок. По грязной щеке его текла струйка пота.

— Чуть выше, Магомедов! — вскричал Ружейников.

— Сами понимаем! Ну?

— Готово! — ответил Иван, захлопывая замок.

Этот второй снаряд разорвался уже прямо в гуще окапывающихся на том берегу немцев.

— Ага-а! — взвизгнул Магомедов, повернул к Ивану потное лицо, сверкнул по-детски обрадованными глазами.

— Молодец, Магомедов! — прокричал Ружейников. — Лупи давай! Ж-живей!

— Консервная банка, да? Консервная банка?

— Банка, — согласился Иван, принимая от молчаливого Семена новый снаряд. — Готово!

Третий снаряд лег почти рядом со вторым, широким веером взметнул черную землю.

— Опять — банка! Дав-вай! — голос Магомедова был хриплый и возбужденный.

Первые же орудийные выстрелы всполошили немцев, уже перебравшихся через реку. Многие перестали окапываться, забегали, заметались вдоль берега, сперва не соображая, видимо, откуда стреляют. Но это были лишь мгновения, звук последующих выстрелов указал на местонахождение орудия. Человек сорок вражеских солдат сбились в кучу, видимо возле своего офицера, и Магомедов, не в силах побороть искушения, крикнул:

— Я их подброшу сейчас на воздух! Товарищ старший лейтенант?

— Отставить! По тому берегу! По тому давай! — сердито прокричал Ружейников.

Но ударить в эту толпу немцев Магомедов все равно бы не успел, потому что толпа рассыпалась в цепь и двинулась к высоте.

— Ага, ладно... — Ружейников, все лежавший на бруствере, сполз с него в окоп. — Продолжать, Магомедов! А мы их встретим. Савельев, младший! Приготовить автоматы и гранаты!

Семен подал Ивану очередной снаряд, мотая головой, спрыгнул в ровик.

Однако немцы, подчиняясь какой-то команде, вдруг повернули назад, побежали к реке. Где-то там, за пластами дыма, перекрывая трескотню автоматов и глухие гранатные разрывы, снова возникал остервенелый и зловещий рев сотен человеческих глоток.

— А ведь мы и в самом деле вовремя, кажись, поддержали их, — прохрипел Иван, взмокнувший от работы возле орудия. Он сказал это Семену, опять подававшему снаряды, но тот ничего не ответил, только потрогал правый висок; ответил Магомедов от орудия, говоря почему-то о себе во множественном числе:

— А мы что говорили!

— Магомедов! Теперь по реке! По реке! И по этому берегу! — скомандовал Ружейников.

— Ага, понятно.

— Снаряд! Семка?! Ты чего?

Семен, выхватив было из ящика очередной снаряд, покачнулся, выронил его, ноги его подломились, он мешком свалился на землю.

— Сна-ряд! — рывкнул Магомедов.

Ружейников метнулся из ровика, подхватил выпавший из рук Семена снаряд, втолкнул в казенник. Пушка ухнула. Лицо Семена, лежавшего на земле, мучительно перекосилось, оно было мокрое, и сквозь грязь и пороховую копоть просвечивала его мертвенно-бледная кожа.

— Семен, Сема?! — тормошил его Иван, стоя на коленях. — Ранен, что ли? Не стрелял ведь никто...

— Здесь... в голове что-то, — разжал спешившие губы Семен. — При каждом выстреле — как молотком бьет, череп лопается... Не могу больше...

— Что там? — крикнул от пушки Ружейников, держа в руках новый снаряд.

— Плохо парню. Контузия... рвет голову.

Семен не видел, куда пополз, не почувствовал, как свалился в окоп. Там, все так же зажимая руками голову, превратившуюся словно в сплошной комок боли, ткнулся лицом в холодную земляную стенку и затих. Иван поднянул плащ-палатку, на которой они сегодня спали, укрыл Семена целиком, проговорил:

— Ничего, Семка... Ничего, пройдет. Потерпи.

Этого Семен уже не слышал, он снова потерял сознание.

Поднявшись из ровика, Иван замер, пораженный. И всего-то ничего он был занят с Семкой, а там, внизу, изменилось многое. Оттуда

в промежутке между орудийными выстрелами все так же доносились автоматная пальба, рев голосов, щелкали изредка гранатные разрывы. Их единственная пушка была уже не по реке, а по ближнему берегу.

Пушка ударила еще раз, и Ружейников, тоже взмокший теперь и разопревший, оттирая рукавом лоб и щеки, опустился на пустой снарядный ящик.

— Будет покуда. А то в своих... Ни черта не видно.

«Слава богу», — мысленно произнес Иван, думая о Семене, присел на другой ящик.

Ружейников резко вскочил.

— А может, не будет, а?

Во время торопливой стрельбы по немцам ничего не было видно и слышно, кроме звуков боя, идущего там, внизу, за рекой. Теперь вдруг все различили тяжелый гул, быстро приближающийся с востока. Орудийная канонада, возникшая было там, давно смолкла. Ружейников, Магомедов и Иван Савельев в горячке этого не заметили и давно о ней забыли. Теперь, все враз глянув туда, увидели пронизанные лучами еще не поднявшегося из-за края земли солнца розовые дымы, такие же, как над рекой и над заречьем, ощутили, как под ногами чуть подрагивает земля.

— Это танки, — произнес первым Иван. — Опять идут сюда. Танки.

— Если это наши прорвались, то хорошо, — криво усмехнулся Ружейников. — А ежели немцы отступают прямо на нас... Что мы с одной пушкой?

Магомедов отбежал метров на тридцать в сторону, к разбитым орудиям батареи, и,змахнув рукой, закричал оттуда:

— Глядите! Глядите!

Иван и Ружейников кинулись к Магомедову на восточный склон высоты. Изрытое снарядами поле с темной каймой леса на багроводымном горизонте тонуло в синей, рассасывающейся мгле, и по всему полю, приближаясь к высоте, густо бежали отступающие немцы. Никаких танков не было видно, по-прежнему слышался лишь тупой гул множества работающих моторов, он приближался, накатывался неотвратно...

Капитан Кошкин умирал в санитарной палатке в присутствии Якова Алейникова.

Командир штрафной роты был смертельно ранен осколком снаряда в тот момент, когда последние бойцы, преодолев топь, выскочили на твердый берег и с отчаянной матерщиной кинулись в дым и грохот, в сторону горящего леса.

— Хорошо матерятся, — улыбнулся Кошкин, тоже направляясь к освещенному горящим лесом берегу вслед за Лыковым и тыкая палкой в зыбун. — Значит, вычистят фашистов отсюда. Дурачье! Если ждали нас, почему же не заминировали берег?

С этими словами он вступил на твердую почву, вынул ракетницу, стал не торопясь заряжать ее, поглядывая в сторону леса, утонувшего в дыму, огне и грохоте. Тут и разорвался снаряд, может быть немецкий, а может быть и наш, метрах в пяти всего от Кошкина и почти под самыми ногами Лыкова. Но судьба на войне у каждого своя: старшего лейтенанта Лыкова горячей волной только отшвырнуло на мягкий берег, а Кошкину осколок ударил прямо в живот, он, выронив ракетницу, резко упал на колени, одной рукой зажал рану, а другой все опирался на палку, намереваясь встать.

— Товарищ капитан?! — вскочил Лыков, подбежал к Кошкину и остолбенело замер; еще раз вскричал сразу осевшим голосом: — Данила Иванович...

Сквозь пальцы Кошкина хлестала кровь, темной струей текла на землю по низу гимнастерки.

— Ракету! Живо — ракету, — захрипел Кошкин.

— Санинструктор! Эй, как тебя? — совсем не по-военному закричал Лыков выбегающей из болота девчонке, нашарил в траве ракетницу, выстрелил вверх — зеленая полоса прочертила дымный воздух, ушла высоко в черное ночное небо. Кошкин еще постоял секунду и, будто удостоверившись, что сигнал нашей артиллерии о прекращении огня подан, стал валиться наземь. Лыков подхватил его, и в это время к командиру роты подбежали сразу три девчонки, одна из них, высокая и черноволосая, торопливо расстегивая сумку, властно сказала:

— Положите его! Чего вы его держите?

Помогая друг другу, девушки расстегнули Кошкину ремень, открыли живот, и черноволосая невольно вскрикнула:

— Боже мой!

Наши орудия прекратили огонь, теперь стреляли беспорядочно лишь уцелевшие немецкие пушки.

Откуда-то из темноты появился начальник санчасти, вчетвером они принялись чем-то мазать и залеплять страшную рваную рану и, подсовывая руки под спину, перематывать Кошкина бинтами. Они бинтовали, а кровь все проступала и проступала. Командир роты сквозь зубы стонал; глаза его были закрыты, лицо покрылось смертельной бледностью.

— Отнести его туда... — Лыков махнул в сторону болота. — Есть носилки? Принесите носилки!

— Нельзя его трогать! — сказал начальник санчасти. — Нельзя нести...

— И бесполезно... — прошептал Кошкин, открывая глаза. — Я это знаю... Лыков, принимай командование ротой. И все... занимайтесь чем положено. Ты вот... останься со мной.

Это он сказал склонившейся над ним черно-волосой девушке.

Бой тогда только разгорался, немецкие пушки беспрерывно молотили по краю болота, болотная жижа и вырванные взрывами кустарники поднимались в мерцающий воздух сплошной стеной.

— В болоте бойцов уже нет, — сказал Кошкин, глядя на эти взрывы. — Сколько лягушек изведут.

С каждой минутой немецкие пушки стреляли все реже и реже, оружейные раскаты уже не перекрывали рев автоматов и человеческих голосов.

— Ну... вот, — тяжело дыша, проговорил Кошкин. — Штрафнички дело свое знают. Как звать-то тебя?

— Шура, Александра, — сказала девушка, обтирая кусочком бинта крупные капли пота с лица командира роты.

— Откуда же ты?

— Смоленская я... До войны в медицинском училась в Москве. Три курса закончила.

— На дочку мою ты похожа.

Кошкин еще помолчал, прикрыв глаза, слушая звуки беспощадного боя.

— Вот что, Шура-Александра... — неожиданно сказал командир роты. В груди его что-то клокотало и рвалось. — Я все прошел и ничего на свете не боюсь... Но в плен к немцам не желаю. Вроде... атака наша удалась, не зря рота в землю ложится. Но все в бою бывает переменчиво. И ежели что... ты меня пристрели. Поняла?

— Что вы, товарищ капитан! Ничего не переменится. Рота уничтожает их.

— Ты не отговаривайся, дочка, — все слабее голосом проговорил Кошкин. — Я сейчас, чувствую, потеряю сознание... Так и так мне помирать. Хоть здесь, хоть там, у них. Но я не хочу там... И ты это должна понять.

— Я понимаю... понимаю, — со слезами шепотом произнесла девушка.

Однако Кошкин не потерял сознание ни в эту ночь, ни на следующий день, вплоть до заката. Несмотря на большую потерю крови, он был жив, только временами закрывал глаза, будто засыпал, но едва девушка-санструктор делала какие-то движения, тотчас размыкал спущенные веки, спрашивал слабым голосом:

— Что там, Шура?

— Выбивают немцев. К реке гонят.

— Хорошо.

Этим словом — «хорошо» он отвечал потом на сообщения связных, которых присылал Лыков, что рота, неся огромные потери, оттеснила немцев к реке, но атака захлебывается, что с высоты ударила какая-то оказавшаяся там наша батарея, только стреляют одной или двумя пушками, и это помогло роте отбросить гитлеровцев за реку, что с востока началось наступление наших войск, но рота, обескровленная больше чем наполовину, все-таки пробилась за реку, ударила на высоту, а затем, как и было приказано, бросилась навстречу отступающим немцам, но последние бойцы гибнут, что вместо убитого командира первого взвода он поставил рядового Зубова, отличившегося при штурме вражеских позиций на берегу болота, при форсировании реки...

— Ага, Зубов, — повторил Кошкин. — Хорошо...

Бой этот вокруг высоты 162,4 продолжался много часов и закончился к вечеру, когда прорвались наши войска с запада и, сомкнувшись где-то на окраине Жерехова и по левому берегу речки, за которую уже штрафная рота отбросила оборонявшихся здесь гитлеровцев, с наступающими, но выдохшимися уже частями 215-й дивизии, взяли немцев в кольцо, начали его сжимать. Таким образом, умирающий Кошкин вместе с девушкой-санструктором, находившиеся на правом берегу, оказались в тылу наших наступающих войск, и связные сюда больше не прибывали.

— Часов в четырнадцать немцы предприняли отчаянную попытку вырваться, собрали остатки танков и самоходок, ударили на Малые Балыки, где стояла твоя рота, — сказал Алейников. — А туда, на северную окраину, подполковник Демьянов как раз перенес свой КП.

— Вон что! — произнес Кошкин. Он лежал по-прежнему на земле, застланной двумя или тремя суконными одеялами, укрытый шинелью. Грудь его толчками вздымалась.

— Да... я сейчас из штаба дивизии. Демьянова похоронили.

— Как же это... как же это?! — слабенько воскликнул Кошкин, облизнул сохнувшие губы. Шура, все находившаяся при командире роты, уставшая, с почерневшими глазами, дала ему глотнуть из алюминиевой кружки.

— Та девушка-телефонистка, помнишь, черноглазая такая, красивая... тоже... В одну могилу их положили. Танки с ходу раздавили гусеницами землянку. Они даже выскочить не успели.

Кошкин никак на это не откликнулся, прикрыв глаза. Но через несколько мгновений их открыл и спросил:

— Ты встретил своих людей от туда?

— Встретил... А через два-три дня уйду с группой в тыл врага.

— Понятно, — спокойно произнес Кошкин. — Ваше дело такое...

— У всех у нас одно сейчас дело.

— Сейчас, — усмехнулся Кошкин, медленно повернул голову к сидящему на каком-то ящике Алейникову. — Дело у нас всегда одно было.

На скулах Якова, обметанных черной щетиной, возникли и прокатились желваки.

За стенами палатки раздавались голоса де-вушек-санитаров, начальника санчасти, оставшихся в живых бойцов роты, стоны раненых, скрип тележных колес. Тут, на берегу болота, на месте только что отпыхавшего боя, где находился умирающий командир роты, было теперь ее расположение, сюда послезавтра должен прибыть военный трибунал, чтобы рассмотреть и закрыть все дела заключенных. А пока остатки списочного состава роты под руководством старшего лейтенанта Лыкова и старшины Воробьева тщательно, метр за метром, обследовали искореженную боем землю, болотные тропы, стаскивали и свозили убитых в одно место, раненых — в другое, к наспех разбитым палаткам, точно таким же, как та, в которой лежал Кошкин.

— Гляди, Кафтанов, кореш твой, Гвоздь, концы отдал! — послышалось невдалеке.

— Заткнись! — рявкнул кому-то Макар.

Капитан Кошкин, услышав эти возгласы, чуть скривил потрескавшиеся от сжигавшего его внутреннего огня губы.

— Остался на земле, подлец...

Алейников понял, что он говорит о Кафтанове.

— Может быть, Кафтанов не ранен...

— Все равно... Перед боем было обещано. А у нас это закон. Правда, мче-то все равно теперь...

В палатке появился Лыков — закопченный, в грязной, пропотевшей насквозь гимнастерке.

— Ну что, Лыков? — спросил Кошкин.

— Товарищ капитан! Данила Иванович... Как же это?

— Давай, постони еще, — опять чуть скрипил губы Кошкин. Приближающаяся неумолимая смерть уже обострила его лицо, оно сделалось серым, бескровным. — Что, спрашиваю, там?

— Доставляем раненых из-за речки. Кончатся перевязочные материалы. Начальник санчасти усрал за ними подводу в дивизию. Сам валится с ног... Осмотрим еще высоту — и все. Пока без вести пропавших числится двести восемь человек. Много убитых по речке вниз

сплыло, я сам видел. За речкой, может, кто еще лежит.

Кошкин помолчал и вдруг спросил:

— А Зубов... жив, убит?

— Зубов? Пока ни в тех, ни в этих. Последний раз я его где же видел? На том берегу речки, когда он взвод к высоте повел... Мог бы двигаться, объявился уж.

— Понятно... Ты занимайся своими делами. Ступай.

Старший лейтенант постоял еще молчком, повернулся и вышел.

— А Зубова жалко мне, — едва слышно прошептал Кошкин. — Вот тоже судьба человека... Что, говорит, такое Родина, где ее найти? Ты понимаешь? Нет, тебе не понять...

Алейников вспомнил свой недавний разговор с Зубовым и сказал:

— Я с ним разговаривал. Он заново вроде бы рождался.

— Да... здесь... в роте.

У командира роты началось удушье, на губах появилась розоватая пена, и сидевшая у его изголовья девушка торопливо стерла ее комочком бинта, зло глянула на Алейникова: чего, мол, торчишь тут, не даешь человеку спокойно умереть? Но Кошкин, словно разгадав ее мысли, проговорил:

— Ты, Яков... спасибо, что зашел. Посиди... Не уходи... Это недолго.

Он говорил, а розовая пена выступала на иссохших его губах.

— Я, Данила Иванович, просто ощутил необходимость зайти. Прости меня за все, если можешь.

— Да что ты! Эх, Яков... Много было таких, как ты... и как я. Почему — я не знаю, не успел этого узнать. Может, что-то стал понимать, да не ясно пока. Другие все поймут, все узнают. Скоро... А я... Одно я знаю твердо — моя судьба все же счастливее твоей.

— Что ж... правильно.

Один из них был здоров и полон сил, другой умирал, был, собственно, уже мертв. Тот, кто был здоров, произнес кощунственные слова, подтвердив, что судьба умирающего все же счастливее, чем его. Но Кошкин согласно кивнул и прошептал:

— Прощай, Яков. До победы доживи. И скажи обо мне моим... Жене и дочери...

Изо рта у него теперь обильно хлынула кровь, он дернулся вдруг, будто намереваясь встать.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — вскрикнула девушка обезумевшим голосом, схватила его за плечи. И он, будто подчиняясь ее рукам, покорно лег, вытянулся и затих.

Едва он затих, девушка обтерла ему губы. Кровь изо рта больше не шла. Девчонка уро-

нила голову на свои колени и беззвучно зарыдала.

Яков Алейников поглядел на ее слабенские, обтянутые солдатской гимнастеркой, трясущиеся плечи, поднялся и вышел из палатки.

Ивана Савельева Алейников все же отыскал. Он нашел его через день, километрах в трех от передовой, куда отвели остатки 3-го гвардейского танкового полка, уцелевшие после боя.

Полдненное солнце щедро обливало лучами изувеченный перелесок, обезображенную гусеницами поляну, несколько танков — обшарпанных, с вмятинами на броне, с обгоревшей краской. Танки стояли по всей опушке в беспорядке, в разные стороны разбросав пушечные стволы, и казалось, что они никогда больше не заведутся, не оживут, не превратятся в грозные боевые машины.

Иван был в нижней рубашке, бос, с повязкой на голове. Выстиранная гимнастерка и портянки были развешаны на кустах. Примостив между сучьями дерева осколок зеркала, он тупой бритвой соскребал со щек грязную и крепкую многодневную щетину и, когда зашумел мотор алейниковской «эмки», даже не повернулся на звук. И Алейников не узнал его в первые секунды, спросил, проходя мимо:

— Третий гвардейский, что ли? Эй, боец, тебя спрашиваю!

Иван мельком глянул на приехавшего майора.

— Ну, третий...

— Где найти командира полка?

Иван глянул и отвернулся было, но тут же резко, всем телом крутанулся к приезшему офицеру, отступил назад и чуть вбок, будто пытаясь спрятаться за дерево.

— Савельев?!

Иван еще немного отступил.

— Ну, наконец-то! Здравствуй. Или не узнаешь?

— Почему же... Узнал.

Алейников шагнул к нему еще ближе, первым протянул руку.

Иван помедлил, но тоже подал ему свою. Так они встретились.

— А я который день разыскиваю вас. Тебя и племянника твоего. Из газеты про вас случайно узнал. Расписали вас там! Потом мне в штабе дивизии сказали, что вы на высоте, в тылу у немцев оказались... Семен-то Савельев, племянник, где?

Иван отвернулся и глухо произнес:

— Не найдешь Семку...

— Убит?! Ранен?

— Ну, убитый! — враждебно сказал Иван, натягивая гимнастерку.

Яков стоял и хмурился. Иван, надев гимнастерку, взял высохшие уже портянки, сел под дерево, стал обуваться.

— Жалко парня, — сказал Алейников. — Как же это случилось?

Иван бросил снизу быстрый взгляд на Алейникова.

— А что, особый отдел не знает, как это на войне случается?

— Иван Силантьевич, я не из особого отдела, — проговорил Алейников негромко, ощущая перед этим рядовым солдатом неловкость.

Иван опять глянул на Алейникова снизу, глаза его не потеплели, но в них промелькнуло любопытство.

— А откуда ж тогда? — спросил он, вставая. В словах его была недоверчивость.

— Я начальник специальной прифронтовой группы НКВД.

— Это... что же такое?

— Полезная организация... Разведка, диверсии в тылу у немцев. С партизанами связь держим, помогаем им чем можем... Дел, в общем, хватает.

— Понятно, — помедлив, сказал Иван.

...Спустя некоторое время они — два далеко уже не молодых человека — сидели меж невысоких березок на мягкой, пахнущей дымом и гарью траве, неподалеку от опушки, на которой будто отдыхали ободранные пулями и снарядами танки, недавно вышедшие из боя. На траве стояла вскрытая банка мясной тушенки, котелок с кашей, лежали две ложки, полбулки черствого хлеба, фляжка с водкой, из которой они отхлебнули всего по глотку. За встречу, как сказал Алейников. Иван возражать не стал и молча принял фляжку из рук Алейникова. И теперь он негромко, не спеша, часто останавливаясь, рассказывал тусклым, уставшим голосом:

— Убило Семку рано утром, солнце едва на сажень разве от земли поднялось... Он контуженный был, до того в ровике лежал, в голове у него от контузии неладно было. Наши погна-ли немцев, тучами они побежали... и прямо на нас! Все, думаем, сомнут нас, растопчут. И с востока немцы отступали, и из-за реки. Оттуда их какая-то наша часть выбивала, Ружейников, командир батареи, говорил, штрафники будто...

— Штрафники, — подтвердил Алейников. — Через болота штрафная рота ударила.

— Да мы видели... Еще удивлялись. А это штрафное дело — тоже по твоей части?

— Нет, это совсем другое, — сказал Алейников. — А знаешь, кто штрафной ротой командовал? Кошкин Данила Иванович... земляк наш.

Иван это сообщение внешне воспринял как равнодушно, лишь повернул к Алейникову голову и переспросил:

— Кошкин? Ну, помню.

Иван — Алейников все время это чувствовал — был его неожиданным появлением нескананно удивлен, даже ошеломлен. Напрасно вырвавшиеся его слова «А я который день разыскиваю вас» еще более озадачили Савельева, он все время держался настороженно и скованно, и вот лишь теперь в его холодных, измученных всем пережитым глазах начало что-то оттаивать.

— Ты Кошкина-то хорошо знал? — спросил Алейников, понимая, что разговор может зайти или уже зашел в тяжкую для него область. Но он не хотел избегать этой тяжести или уклоняться от нее.

— Где же хорошо? Сколько я жил-то... в родных местах? — с горечью произнес Иван. — Все больше в других краях приходилось.

Он взял фляжку, отвинтил крышку, плеснул в нее и выпил. Ковырнул ножом в банке, достал кисет. Алейников все это время сидел молча, разглядывая что-то на траве.

— Давай-ка, Яков Николаевич, не будем об этом, — проговорил Иван негромко. — Нелегко об том... ни тебе, ни мне. Тут и без того...

Однако, чиркнув спичкой, спросил:

— Как же он в штрафных командирах оказался? Не знаешь?

— Из тюрьмы в штрафную роту направили. В первом бою судьба его пощадила... Ну и остался в роте. Был командиром отделения, взвода... Командиром роты потом назначили. Эх, Иван Силантьевич! Я только здесь узнал, какая душа была у этого человека.

— Как?! Он...

— Да, тоже погиб в этом бою, — сказал Алейников. — Погиб Данила Иванович...

Иван медленно опустил голову, посидел недвижимый. Потом, подведя, видимо, итог каким-то своим мыслям, негромко вздохнул.

— А я письмо в Шантару послал Кружину о вас, — с горечью промолвил Алейников. — О тебе и о твоём племяннике. И статью о вас из газеты вырезал и туда вложил. Пусть, думаю, порадуются за земляков... Как же все-таки Семена... как это произошло?

— Как... На словах объяснить просто, да не все понятно будет... Нас четверо было на высоте. Трое даже — Семка остался в ровике, контузило его, я говорил. А отступающие немцы, значит, к высоте бегут. Но тут ихние танки откуда-то выскочили, десятка три, ежели не больше. Поперли мимо высоты навстречу своим. Видя такой оборот, немецкая пехота, что с востока отступала, назад повернула. И те фашисты, что от реки бежали, тоже оцетинились,

прижали штрафников к земле. А мы что со своей одной пушкой?! Ружейников крикнул: «Ну, братцы, последний парад!» Выкатили мы кое-как орудие на восточный склон холма, ящик со снарядами успели подтащить. Вскоре убило Магомедова, пуля откуда-то прилетела. Охнул он, что-то крикнул по-своему, по-азербайджански, и упал на снарядный ящик... Тут, гляжу, Семен вылез из ровика, идет к нам, мотает головой. И руки болтаются, как плети. «Танки же, — орет, — танки!» Будто мы не видим. Подошел к Магомедову, снял тело со снарядного ящика, вынул снаряд. А на гильзе кровь Магомедова, еще светлая и теплая. И рука Семена в его крови... Это мне все врезалось, все в глазах вот стоит... «Что ж вы, — кричит Семка, — не стреляете, сволочи!» А мы бьем по танкам, вслед им. Ружейников у панорамы согнулся, а я заряжаю... Подождли вроде не то две, не то три машины. А может, и не мы — видим, наша артиллерия тоже лупит через наступающие порядки по немецким танкам.

— Это артполк, приданный Двести пятнадцатой дивизии, перенес огонь под высоту, — сказал Алейников.

— Ага... Только-только их пушки нас не накрывали. Впереди все потонуло в дыму и пыли. К тому времени как Семка подошел, я уже опростал ящик, взял у него последний, окровавленный снаряд. «Подтащи, — кричу, — другой ящик». Кричу, а сам вижу: сбоку, по склону, прямо на нас карабкается немецкий танк. Черт его знает, откуда взялся! То ли какой из тех, что мимо высоты прошли, вернулся, подошел, не замеченный в дыму, то ли новый подполз. «Ружейников!!» — заорал я что было мочи, а голоса не слышу. Должно, осел со страха голос. Да и что кричать... Поздно уже — свой хобот немецкий танк чуть не в пушку воткнул. «Все! — мелькнуло у меня молнией. — Счас выплунет снаряд... а потом обломки от нашей пушки гусеницами в землю вдавит». Снаряд у меня вывалился из рук, Семку я толкнул в бок что было силы, сам вроде скачок за ним сделал...

Иван замолчал, жадно стал досасывать самокрутку. Когда подносил ее к губам, пальцы его подрагивали.

— И что же... дальше?

— А так все и произошло... Взрывом меня об землю бросило. Но, чую, живой, только головой об камень ударился. — Иван дотронулся до повязки, усмехнулся. — Вишь, как бывает, ни осколок, ни пуля головенку мою никудашную не могли найти, а об камень проломил. Вскочил я... Танк, раздавив гусеницами нашу пушку, уже ушел, не видно его. Ни танка, ни пушки нашей, значит, на ее месте один дым

стоит. «Ружейников там же, возле пушки, был! Ружейников! — зануло в мозг. — А Семка?! Где Семка?!» — Иван трясущимися пальцами вдавил окурочек в землю. — А Семка, значит, был уже готов... Он лежал, распластавшись, на животе, с окровавленной спиной... Осколок угодила ему меж лопаток, вырвал лоскут гимнастерки... Перевернул я его, лицо у него серое, мертвое... Мне его даже и не жалко было как-то в ту минуту, онемело только всё внутри у меня...

День стоял, как и предыдущие, знойный и безветренный, березки, под которыми сидели Алейников и Савельев, давали жиденькую тень, немного защищали от солнечных лучей, но все равно было душно. Гимнастерка Алейникова была, однако, наглухо застегнута, и только сейчас он как бы нехотя поднял руку и расстегнул две верхние пуговицы.

— И Ружейников, значит, погиб?

— Нет, — сказал Иван, голос его вдруг захлебнулся. Проглотив комок слюны, продолжал: — Как он уцелел — прямо ошарашило меня. Я возле Семки сижу, чувю: кто-то в стороне маячит сквозь не осевшие еще дым и пыль. Гляжу там, где пушка стояла, поднялась растопыренная, страшная, обгорелая фигура, двигается ко мне, как... Ей-богу, как леший сквозь болотный туман идет... Подошел, сел, на Семку глянул. Вот тебе и сосенки-елочки, говорит. И он весь в крови, и Семка, и у меня по щеке течет с головы... Счас Ружейников в санбате лежит, утром я был у него. Улыбается. Мне, говорит, дырки залепят и новую батарею дадут, давай ко мне в батарею, командиром орудия назначу...

— Да-а! — только и сказал Алейников.

Потом в воздухе долго держалась тишина. С опушки, где стояли танки, доносились приглушенные листвою голоса, кто-то заразительно хохотал и слышались удары молотка о железо. Но все эти звуки не нарушали глухого и тяжелого безмолвия, повисшего над Алейниковым и Савельевым Иваном.

— Ну и сушь! — проговорил наконец Иван. — Хоть бы маленько дождик брызнул, воздух прочистил... Зачем же мы тебе с Семкой понадобились-то?

Алейников приподнял голову, потер пальцами по привычке шрам на щеке. Потом медленно повернулся к Ивану, оглядел его так, будто видел впервые. Иван даже сказал невольно:

— Чего это ты еще?!

— Зачем? — переспросил Алейников. — Посмотреть на вас да сравнить...

— Чего? С чем?

Уголки рта Алейникова шевельнулись, в выражении лица проступило что-то жесткое, беспощадное.

— Тебя... с братом твоим, Федором. А сына — с отцом, значит.

— Как это, сравнить? — проговорил Иван, ни о чем не догадываясь еще, ничего не зная. — Он, Федька, писали из дому, на фронт был взятый прошлой зимой. Погоди, неужто он... тоже здесь?!

— Нет, не здесь. Но и не далеко. Он у немцев карателем служит.

Еще не замолкли эти слова, а Иван, будто подкинутый страшной силой, вскочил, попятился от Алейникова, хватаясь, чтоб не упасть, за верхинки и ветки молодых березок, ломая и обрывая их. Его щеки, только что очищенные от многодневной щетины, рыхло дергались, глаза делались все больше.

Наконец верхушки каких-то двух молоденьких, всего на метр от земли, березок, за которые Иван ухватился, не оборвались, выдержали, и он остановился.

— Ты... Да ты... чего?! — вытолкнул Иван одеревенелым языком. Слова были тихими, бессильными, лишь глаза Ивана кричали дико и протестующе. — Федор! Федька?!

— Ага, Федор.

— Врешь... врешь ты?! — хрипло, без голоса произнес Иван.

Алейников на это ничего не ответил.

Иван стиснул голову руками.

Так, скрючившись, выгнув обтянутую белесой, только что выстиранной гимнастеркой спину, Иван посидел минуты две. По-прежнему доносились с опушки голоса танкистов, резкий стук кувалды о железо... Потом где-то над головами, в расплавленной солнцем вышине, свободной здесь от дыма и гари, зазвенел, запел жаворонок.

Иван не слышал ни человеческих голосов, ни металлического лязга, но переливчатая, негромкая птичья песня разрезала застывшее сознание, он оторвал прилипшие к голове ладони, поглядел сперва вверх, потом на Алейникова. И Яков, ждавший этого взгляда, все равно поразился той перемене, которая за эти короткие минуты произошла с Иваном. Лицо его серое и бескровное будто усохло, сразу похудело, в глазах не было теперь ни боли, ни страха, ни изумления — ничего живого.

— Так... — промолвил он посиневшими губами. — Так он, видно, и должен был... кончить, Федька-то... Слава богу, что Семка...

Трясущимися руками он опять вынул кiset, от сложенной в маленькую гармошку газеты оторвал клочок и, просыпая на колени махорку, стал вертеть самокрутку, но бумага порвалась. Яков достал пачку «Беломора», молча протянул ему, но Иван только махнул рукой, оторвал еще полоску газеты.

— Ах, Яков, Яков... — произнес он с тоской и болью, вздохнув. И с этим вздохом будто вогнал внутрь себя остатки сомнений в происшедшем с Федором, растерянности и изумления, вызванных сообщением Алейникова. Пальцы рук его перестали дрожать. — Получаются куролесы в жизни-то людской. Все криво, криво, а потом и вовсе в сторону. Как же так, а, Яков Николаевич?

Алейников попыхал папиросой, окурочком щелчком отбросил в траву.

— Получаются, — сказал он угрюмо. Глядя куда-то вбок, усмехнулся и продолжал вяло и не очень понятно: — Человек, он вообще... Пока учится ходить — шатает его с одного бока на другой. А научился — и пошел, пошел в сторону. Каждый в свою. А куда? Правильный ли путь-то взял?

— Это ты мою жизнь имеешь в виду?

— Да хоть твою, — проговорил Алейников. — Хоть мою... Любого человека.

Голоса людей на опушке затихли, и металлический стук прекратился. Только в выжженном, обесцвеченном солнцем июльском тепе где-то по-прежнему звенели жаворонки, теперь не один, а несколько. Иван слушал их, глядел то в одну сторону высокого неба, то в другую. Птиц он отыскать там не мог, а губы его временами оживали, и в глазах появились странные отсветы.

— Скоро я, может быть, с Федором, братом твоим, и повстречаюсь, — негромко проговорил Алейников. — Послезавтра я с группой ухажу к немцам в тыл, под деревню Шестоково. Там одна немецкая разведорганизация окопалась. Приказано ее немного пощупать... Там же, в Шестокове, и Федор у немцев служит...

Алейников глядел прямо в лицо Ивану. Тот взгляд не отводил, только светлые точки в его глазах дрогнули и исчезли да кожа на скулах сильно натянулась.

— Ты... для этого... чтоб сообщить все это... и разыскивал нас с Семкой?

— Да. И для этого, — сухо ответил Алейников.

Иван ничего не выражающими глазами скользнул по гладкому подбородку Алейникова, по его груди, на которой, как и у самого Ивана, не было ни орденов, ни медалей, по его рукам с сильными, жесткими пальцами, в которых он вертел спичечный коробок. Задержал взгляд на этом коробке и отвернулся.

Они снова надолго замолчали.

— Слава богу, что Семена убило... — проговорил Иван наконец. — Если убило...

— Как?! — мгновенно воскликнул Алейников. — Как это... если убило?!

— Погиб он, конечно... Я же сам видел. Только не пойму, куда тело делось. Я после

боя всю высоту облазил. Еще до того, как убитых хоронить начали. Нету его, не нашел.

— Куда ж он делся?

— Не знаю. Я все обыскал.

— Да что ты голову мне морочишь?! — зло воскликнул Алейников.

— Не морочу я! — вскипел и Савельев. Но тут же остыл, принялся, как и раньше, не спеша рассказывать: — Оно как все было там, у нас, после того, как танк этот орудие наше раздавил? Ружейникова тоже взрывом отбросило от пушки, этим и спасся. Плечо его осколками ободрало только. Подошел он, значит, ко мне, сел, на Семку глядит... Помню, спросил — сколько ж ему лет? Я сказал. И говорю: «Давай плечо тебе чем-нибудь перевяжу». Погоди, отвечает, с плечом. Смотри-ка! Это, значит, возле речки снова бой закипел, стрельба заревела. Мы кинулись к своему окопу. Глядим — немцы сыпят от реки. Сбили их, значит, штрафники, погнали. «Ага, сосенки-елочки!» — засверкал глазами Ружейников. А сам диск в автомат вбивает. Потом гранаты стал по карманам рассовывать. И мне: «Бери остальные, чего головой вертишь как дурак?!» А я верчу, потому что вижу: из-за дымов, что на западе распластались, кучи немцев бегут. И опять в сторону нашей высоты. Земля в ту сторону ровная как стол, кой-где только овражками изрезана. Километра на два вдаль, до самых дымов все видно. «Гляди, — закричала, — и оттуда немцы отступают!» — «Где? — прохрипел Ружейников. — А-а, сволочи! Так тем более — айда! Давай!» Махнул мне автоматом, переметнулся через бруствер. Я — за ним, значит...

Алейников сидел неподвижно, грустновато глядел куда-то перед собой. Казалось, он вовсе не слушает Ивана, а размышляет о чем-то, думает какую-то свою давнюю и нелегкую думу.

Однако, едва Иван примолк, Алейников тотчас поднял на него свои уставшие, колючие глаза:

— Ну?

— Немцы от реки тоже своих, видать, заметили. Отстреливаясь, в ту сторону и попятись. А нам с высоты их с автоматов не достать. Ружейников и решил навстречу им, с тыла... Я, признаюсь тебе... «Сомнут же нас немцы, сами лезем под их сапоги!» — заколотилось у меня в мозгу. Чего мы им, двое-то?! Испугался я, признаюсь, в этот момент.

— Испугаешься, — угрюмо уронил Алейников, опуская голову.

— Да-а... Однако качусь с холма следом за Ружейниковым. Как зайцы скачем — от воронки до воронки. Больше укрыться негде, высotka голая и гладкая, как бабья титька... Соображаю — к подобному нами позавчера танку Ружейников бежит. И немцы к нему же от

речки пятятся, приближаются. И вот — хочешь верь, хочешь нет — так мы до разбитого танка и добежали по голому месту незамеченные. Упали под него...

— Не до того, значит, немцам было.

— Не до того, видно, — согласился Иван. — Штрафники эти и в самом деле — дьяволы. Наступали они... страшно и вспомнить. Немцев вдвое, однако, больше было. Только прижмут штрафников к земле, а те опять поднимаются. Под самый огонь... И прут как заговоренные. Косят их, а они...

— Что ж им остается? — сказал Алейников. — Они обязаны выиграть бой. Другого для них не дано.

— Но-о?! — заморгал Иван белесыми ресницами. Затем потерявшим силу голосом проговорил: — Да, я знаю. Только не видел никогда до этого.

— А этого... лучше бы и не видеть, — громко произнес Алейников, не глядя на Ивана.

Иван же смотрел на его взмокший, обильно поседевший висок, на струйку пота, стекавшую по горячей скуле, обтянутой загорелой, уже заметно одряблой кожей, и вдруг почувствовал, как возникает в нем жалость к этому человеку.

— Оно многого не надо бы, да видим...

— Приходится, — грустно сказал Алейников.

Жалость к нему в душе Ивана все росла, он ощутил вдруг всю тяжесть, которую нес на себе этот человек, и от этого ощущения Алейников сразу стал ему как-то ближе, понятнее.

— Упали под танк... И что потом? — спросил Алейников, не меняя позы.

— Что же потом? Прижались мы с Ружейниковым к вонючей, обгоревшей броне и ударили из двух автоматов навстречу немцам. Как-то секунды, может, они всего и не понимали — откуда это в них и кто... Да-а... Ну, сколько бой шел этот — не знаю, не меньше часу, однако. Все огнем и дымом взялось. И гореть вроде нечему, а горело... И как он шел — ничего было не разобрать. Мы после одиночными только стреляли. Вот так под танком мы с Ружейниковым и пролежали. Слышим, бой через нас перекатился, отдаляться стал к высоте. Что же нам-то, думаю, со штрафниками, что ли, идти? Спрашиваю у Ружейникова, а тот мычит лишь. Глянул я, ничего, новой никакой крови не увидел. Куда, кричу, раненный? Стонет он и головой крутит. Эх, думаю, черт ли с ними, со штрафниками-то, — обойдутся. Вытащил Ружейникова из-под танка взвалил на плечи, понес к реке. Вот так... А дальше как бой развивался, ты и сам, наверное, знаешь... Остатки немцев от реки на высоту отступили, нашу огневую позицию заняли... где Семка лежал. И откатывающиеся с запада фашисты то-

же за высоту зацепились. Целых полдня, считай, там держались.

— Это я знаю, — сказал Алейников.

— Ну вот как на войне-то бывает! Только что мы на высоте были, а теперь немцы. А я с Ружейниковым по берегу мечусь — куда же, думаю, мне? В правый пах его и опять в то же плечо прошло, поглядел я. Кое-как забинтовал своей рубашкой. Все, думаю: «Господи, Семка! Хоть и мертвый ты, а... Надругаются же, сволочи, над телом!» А потом наши с востока, от Жерехова, поперли. И оттуда, с запада, пошли. Вскоре наша пехота вдоль реки потекла. Ну, я, значит, доложил какому-то лейтенанту, кто мы такие, откуда. Тот аж глаза выпучил: «Живы?! Знаем об вас!.. — И крикнул кому-то весело: — Их сто раз похоронили, а они живые, черти полосатые. Быстро в санроту старшего лейтенанта Ружейникова! Савельева накормить, а после боя я лично трофейным коньяком напою его, доставлю в его родную танковую часть!»

— Ну, и напоил? — спросил зачем-то Алейников.

— Нет... — ответил Иван и вздохнул. — Веселый был лейтенант. Молоденький еще. После боя, когда Семку искал, я на труп этого лейтенанта наткнулся. Его, значит, нашел, а Семку — нет.

Голос Ивана дрогнул, он умолк, лишь долго и тяжело дышал.

— Может, немцы бросили в воронку его куда... да землей присыпали, — проговорил Алейников, когда Иван немножко успокоился.

Иван мотнул головой:

— Все я осмотрел, все обшарил. Тем же часом, как немцев с высоты выбили... Магомедов там и лежал, где погиб. И другие наши... убитые. Никого они даже с места не тронули. Непременно было и не к чему...

— Не с собой же немцы его труп увезли...

— Да зачем он им... ежели мертвый был, — тяжело проговорил Иван.

Алейников поднял холодные, немигающие глаза. Под этим взглядом Иван сгорбился еще больше, еще ниже наклонил голову, обнажив худую, черную от загара и от вьвшейся бензиновой копоти и пороховых газов шею.

— А ежели Семка не убитый был... а без сознания всего, раненый... и в плен теперь угнанный — не прощу себе! Ежели узнаю об том — застрелюсь.

И спина его затряслась, задергалась.

Алейников подождал, пока спина Савельева дергаться перестала, проговорил спокойным голосом, не осуждающим, посоветовал дружески:

— Давай, это дело... И жену, и детей обрадуешь. Геройством твоим гордиться будут. Жену-то, кажется, Агатой звать?

При имени жены Иван приподнял голову, разогнулся, поглядел вокруг нездоровыми, ничего не чувствующими глазами и уперся ими в Алейникова.

Якову казалось, что Савельев подтвердит — да, мол, Агатой, но вместо этого Иван произнес, почти не шевеля губами:

— Ты можешь меня с собой... туда, в Шестоково это... взять?

Алейников чуть заметно двинул бровями.

— Ты договорись с кем надо... — попросил Иван еще более осевшим голосом. — А, Яков Николаевич?

— Зачем... тебе это? — тоже волнуясь, спросил Алейников.

— Не знаю... — И тут же, словно опровергая себя, даже не Алейникова, произнес, почти прокричал со злостью: — А разве непонятно? Разве непонятно?

— Хорошо, Иван Силантьевич. Я договарюсь, — глухо ответил ему Алейников.

Такой же испепеляющий зной, как под Орлом, стоял и в Шантаре, в течение июня не упало ни одной капли, небо было раскаленным и белесым, словно затянутым где-то высоко-высоко нескончаемым пыльным одеялом, сквозь которое, однако, беспрепятственно пробивались жгучие солнечные лучи. По вечерам солнце, большое и багровое, медленно тонуло в этой мути, утрами, такое же распухшее и красное, поднималось из-за вершин Звенигоры, равнодушно совершало над Шантарой свой извечный круг и снова садилось, окутанное все той же зловещей дымкой. Ни одного облачка на небе не появилось и в первой половине июля.

— Дело дрянь, Поликарп, — сказал однажды Панкрат Назаров, стоя в душном кабинете Кружилина у открытого окна. — Останемся нынче, однако, без хлеба.

В кабинете было душно, а на улице, несмотря на то что день клонился к вечеру, еще душнее, горячие волны воздуха, пахнувшие пылью, текли в помещение.

— Закрой окошко, — сказал Кружилин. — Рожь твоя как, выдюжит?

Яровые посевы во всем районе к началу июля почти полностью выгорели, зелень сперва поблекла, сникла, начала кучерявиться и желтеть. Держались пока лишь озимые, набравшие с весны хорошую силу, но и рожь по сравнению с нормальными годами сильно отставала в росте.

— А рожь что? Сам, поди, видел — тоже на ладан дышит. К тому же сорняки проклятые...

Да, сорнякам июньские и июльские суховеи были нипочем, даже в благодать, особенно сви-

репствовала сурепка, к июлю она буйно расцвела, иные хлебные полосы совершенно закрыла желтым своим огнем — точно расплавленное солнце растекалось по земле в разные стороны.

Война была в зените, как раз на половине своего пути, и никто не знал, конечно, что она отмахала свой страшный и кровавый половинный отрезок, никто с уверенностью не мог сказать, когда она кончится. Зато стар и млад в Шантаре и во всем районе знали и понимали, что такое в это тяжкое время неурожай. Если до этого жили впроголодь — теперь неминуемо наступит самый настоящий голод. И зловещее его дыхание уже чувствовалось — фонды для снабжения населения хлебом область уже в конце мая резко сократила, хлеб по карточкам выдавался нерегулярно. Если и раньше у магазинов, где отоваривались хлебные карточки, круглосуточно волновались тысячные очереди, то теперь эти очереди увеличились в несколько раз.

Но все-таки никто с такой суровой и беспощадной остротой не чувствовал приближение зловещего неурожайного времени, как секретарь райкома партии Кружилин. Впрочем, «чувствовал» — не то слово. Он просто в силу служебного положения знал то, чего не знали другие.

В конце июня состоялся пленум обкома партии по подготовке к уборке урожая и хлебозаготовкам. Пленум был в основном информационный, закончился быстро, потому что та цифра количества хлеба, что предстояло области сдать государству, обсуждению не подлежала, а как готовиться к уборке, долго дебатировать не стали.

— Что ж тут говорить, дорогие товарищи, что же вас учить, как убирать скудный урожай этого года... — с какой-то домашней откровенностью и простотой сказал в заключительном слове первый секретарь обкома партии. — Но вы же сами понимаете, что будет, если не сделать все возможное и даже невозможное...

Секретарь обкома остановился, оглядел немом сидящих в зале людей, снял очки, которые начал носить с недавних пор, протер их и снова надел.

— Именно мы должны, обязаны сделать и сделаем даже невозможное, но каждый имеющийся у нас трактор и комбайн должен работать. За это отвечает партбилетом лично каждый секретарь райкома партии, председатель райисполкома и все другие работники, кого это касается. И я отвечаю. Перед партией, перед народом нашим, перед Родиной. Надеюсь, тут все ясно, подробнее объяснять не надо?

Яснее было некуда.

— Жатки, лобогрейки, серпы и косы — все

наладить, все пустить в дело. За горсть просыпанного, потерянного зерна будем безжалостно снимать с постов и исключать из партии как не оправдавших высокого народного доверия. За клочок не убранного по разгильдяйству хлеба будем безжалостно отдавать под суд... И судить будем строго! И это вовсе не суровость, и это вовсе не угроза, поймите, дорогие мои товарищи! Товарищи по партии, по нашей общей революционной борьбе...

В зале никто не смел шевельнуться или кашлянуть. И в этом тугом, натянувшемся до предела безмолвии Поликарп Матвеевич Кружилин ощутил вдруг невиданную силу, ощутил вдруг, как она, эта непонятная и необъяснимая, неизвестно откуда берущаяся сила, наcapливается с каждой секундой и отсюда, из этого небольшого зала, потом разольется по всей области и совершит то самое невозможное, о котором говорит секретарь обкома.

И неожиданно, как электрический разряд, Поликарпа Матвеевича ударили с трибуны слова:

— А как ваша рожь себя чувствует, товарищ Кружилин? И поклонник этой ржи — Панкрат Григорьевич Назаров? Его нет здесь?

Кружилин сидел в третьем ряду зала. Чувствуя от неожиданности в голове неприятный звон, Кружилин поднялся и ответил четко и немногословно:

— Рожь, я думаю, выдержит, хотя будет послабее, чем обычно. Назарова здесь нет, он не является членом обкома партии.

— Очень плохо, что не является, — проговорил первый секретарь раздраженно. — Плохо мы еще знаем своих людей, не всегда умеем поддержать, отметить, выдвинуть достойных.

Кружилин, садясь на свое место, горько подумал о том, что выдвигать, поддерживать и отмечать Назарова в том плане, какой имел в виду секретарь обкома, уже поздно. Назаров износился вконец, таял прямо на виду. Кашель душил его все сильнее, бывали моменты, когда он заходил в кашле до черноты, валился, как сноп, наземь и долго, иногда по несколько часов, лежал так, медленно приходил в себя. Кружилина подмывало сказать об этом и секретарю обкома, и всему залу, но он понимал, что это, несмотря на вопрос секретаря обкома партии, будет неуместно, что делать это бесполезно и не следует.

— Но еще хуже, товарищи, то, что мы достаточным образом не поддерживаем, не распространяем опыт мастеров земледелия, — продолжал первый секретарь обкома. И обернулся к президиуму пленума, где сидел Субботин: — Иван Михайлович, мы полтора года назад обсуждали на бюро вопрос... — секретарь обкома запнулся на секунду — ...вопрос о назаровской

ржи. А что сделано, чтобы увеличить посевной клин этой культуры?

— А что могло быть сделано? — вопросом на вопрос ответил Субботин, не поднимаясь с места. — Решение тогда было принято куцее, половинчатое.

— Так, может быть, настала пора строго и спросить с кого-то за это? Кто готовил решение?

Субботин, худенький, с головой белой, как снег, поднялся, вытянулся во весь свой длинный рост. И в густо настоявшейся тишине отчетливо произнес:

— Решение готовил я.

— Видите, он готовил! — насмешливо и сердито кивнул через плечо первый секретарь обкома.

— И в решении был пункт о том, чтобы некоторые районы, прилегающие к Шантарскому, климатические условия которых сходны, изучили и рассмотрели вопрос о возможностях увеличения посевов ржи. Но вы этот пункт вычеркнули.

— Я?! — опять повернулся первый секретарь обкома к президиуму.

— Да, лично вы, — спокойно произнес Субботин и сел.

Прежняя тишина стояла в зале. Но теперь было в ней что-то такое, от чего даже у Кружилина поползли по коже холодные мурашки.

Позади стола президиума во всю заднюю стену сцены висел портрет Сталина в маршальской форме. Верховный Главнокомандующий, чуть прищурившись, глядел в зал.

Первый секретарь обкома на несколько мгновений, кажется, потерялся, не знал, что ответить. Затем вздохнул, потрогал очки, поправляя, хотя они сидели нормально.

— Вот видите... — глухо проговорил он. — Значит, не на высоте оказался. Ну что ж... На очередной областной партийной конференции вы в праве — кто вслух, а кто, если не найдется смелости, при тайном голосовании — учесть эту грубейшую мою ошибку.

И зал неожиданно, подчиняясь какому-то необъяснимому коллективному чувству, взорвался аплодисментами. Захлопал и Кружилин, вдруг не только прощая первому секретарю то обстоятельство, что он вычеркнул тогда из решения бюро обкома самый важный и жизненно необходимый для него, Кружилина, для Назарова, для всего района и области пункт, но и испытывая благодарность к этому старому партийному работнику, известному деятелю подполья и гражданской войны, не раз потом, как слышал и знал Поликарп Матвеевич, и битому, и впадавшему в немилость у более высокого руководства за свою прямоту и смелость.

От этих аплодисментов первый секретарь обкома партии откровенно смутился. Он переступил с ноги на ногу и, поблескивая стеклами очков, заговорил:

— Спасибо, товарищи... Спасибо. На высоте тогда оказались Кружилин с Субботиным, а прежде всего Панкрат Григорьевич Назаров. Я был недавно на его полях...

Кружилин поднял голову, недоуменно поглядывая на Субботина. Тот из президиума поймал его взгляд, пожал плечами.

— Не переглядывайся так, Кружилин, с твоим дружкой Субботиным, — огорошил его секретарь обкома. — И сам Назаров не знает, что я был. Обезжал посева, заглянул и в ваш район. Рожь действительно должна и при нынешних погодных условиях выдержать... Сорняками если справитесь. Какие меры принимаете?

Это опять был вопрос к Кружилину. Он встал и ответил:

— На прополку всех подняли. Даже занятия в школах на две недели раньше закончили. Хотя за это по головке тоже не погладите.

— Ладно, сделаем вид, что мы этого не заметили, а ты нам не говорил... И, дорогие друзья, давайте исправлять с рожью нашу ошибку. Мою, вернее сказать, ошибку. Как это сделать — мы подумаем. Осенью, после уборки еще раз рассмотрим этот вопрос на бюро обкома. А пока районы, прилегающие к Шантарскому, да и сам Шантарский должны представить в обком свои соображения на этот счет...

— Пойдем ко мне домой, чайку похлебаем, — сказал после пленума Субботин Поликарпу Матвеевичу.

Кружилин думал, что тот приглашает его в обкомовский буфет, но Субботин направился по коридору к выходу.

На улицах Новосибирска, грязных и пыльных, стояла тополиная метель. Белые крупные хлопья густо летели в воздухе, набивались в обваренные зноем деревянные палисадники, в сточные канавки, лохматые комья тополиного пуха перекатывались через немощенные улицы.

— Горит, зараза, как порох, — проговорил Субботин, показывая глазами на забитую распушившимися тополиными семенами обочину улицы. — Каждое лето от них много пожаров. Ребяточки балуются, поджигают. И где, стервецы, спички берут?

Новосибирск — большой, в основном деревянный город — был тих, пустынен и угрюм. Великая беда, гулявшая над страной, наложила и на него свой отпечаток. Некрашенные крыши

и палисадники, покосившиеся ставни, обвалившаяся на стенах кирпичных домов штукатурка, разбитые во многих местах мостовые — все говорило о том, что подновлять, ремонтировать, приводить город в порядок было некогда, да и некому.

Навстречу Субботину с Кружилиным иногда попадались молчаливые, плохо, по-мужски, одетые женщины, проковыляя одноногий инвалид на костылях, громыхая, проехала повозка, груженная какими-то ящиками, прошел воинский патруль. Начальник патруля, пожилой усатый капитан, обликом похожий на потомственного питерского рабочего, видимо, знал Субботина — отдал ему честь. Субботин молча кивнул капитану.

Затем минут пять никто навстречу не попался, и Кружилин сказал:

— Такое чувство, что город вконец обезлюдел.

— Все там, — Субботин неопределенно махнул рукой. — И стар и млад. Кто может и кто не может. Считай, круглосуточно в цехах, у станков...

Субботин махнул рукой куда-то перед собой, но мог махнуть в любую сторону — всюду, и в самом центре города, и на окраинах, день и ночь дымили заводские и фабричные трубы, работавшие на войну. Дым гигантской тучей висел над городом, полностью рассасывался лишь в сильно ветреные дни.

— И впроголодь, — хмуро добавил Субботин. — В связи с эвакуацией население города увеличилось в несколько раз. И вот теперь как никогда суть проблемы... пустякового на первый взгляд вопроса: что сеять — рожь или пшеницу — становится, как бы это сказать... Ах черт, даже слова не подберешь! Полипова бы сюда, его бы спросить, стервеца! Где он, что слышно?

— Жив-здоров вроде бы, — ответил Кружилин. — Как-то я спрашивал у его жены. Говорит — в военной газете работает.

— На фронте или в тылу?

— Этого я уяснить так и не мог. Но, по моему, где-то в тылу. Странная какая-то у него жена — живет отчужденно, как мышь в норе. Говорить с ней неприятно и бесполезно. «Да», «нет» — все ее ответы на любой вопрос.

— Да, пустяковый вопрос — рожь или пшеница? — продолжал Субботин угрюмо. — Но дело может обернуться так, что... это, может быть, будет для многих людей означать — жить или умереть... Жизнь или смерть! Ты соображаешь? — резко остановился он, сердито и враждебно стал глядеть на Кружилина.

— Я всегда поддерживал Назарова в этом деле, — сказал Поликарп Матвеевич.

— Всегда, — усмехнулся Субботин. — Ты не поддерживал его, ты соглашался с ним.

Они стояли среди улицы, будто готовые вцепиться друг в друга.

— Я... нутром чувствовал, что Назаров прав, но до такой обнаженности — жизнь или смерть, — в такой беспощадной ясности этот вопрос, эта проблема мне, я признаюсь, никогда не виделась до сегодняшнего дня. До той минуты, когда первый секретарь обкома не сказал, что и он не на высоте оказался...

— Но и это уже немало... немало для партийного работника, — проговорил Субботин и зашагал дальше.

Кружилин так и не понял, какой смысл вкладывал Субботин в это слово «немало». То, что первый секретарь обкома партии в конце концов на высоте оказался? Что он, Кружилин, будучи облечен авторитетом и властью районного партийного руководителя, хотя и не поддерживал, как выразился Субботин, Назарова, но соглашался с ним?

Они миновали почтамт и вышли на площадь Сталина, на краю которой пролегал трамвайная линия. Расшатанный, обшарпанный трамвай, почти пустой, с грохотом выкатился из-за громадины давным-давно строящегося здания театра оперы и балета, встал на пустынной остановке напротив будущего театра, с таким же лязгом и грохотом тронулся и исчез за другим углом.

Строительство театра началось чуть ли не десять лет назад, строить его помогал весь город. Вечерами и в выходные дни сюда приходили рабочие фабрик и заводов, служащие учреждений, помогали копать котлован, укладывать фундамент. И он, Кружилин, незадолго перед отъездом в Ойротию, находясь на трехмесячных курсах руководящих партработников, чуть ли не каждое воскресенье вместе со всеми курсантами работал на этой стройке. Они тогда разгружали машины с пиломатериалами, цементом и кирпичом, замешивали раствор, в тяжелых окарятах носили его по шатким настилам из досок. Работать было радостно и весело, весь город, вся страна в те годы были охвачены невиданным энтузиазмом созидания. Коллективизация в сельском хозяйстве была завершена, разруха в промышленности ликвидирована, индустриализация шла полным ходом, одно за другим во всех концах необъятной страны возникали новые мощные предприятия. Голодное и холодное время осталось позади, миновало, казалось, раз и навсегда, молодая революция торжествовала свою законную и безраздельную победу во всех областях, и все это вызывало в каждом человеке, в том числе и у него, Кружилина, чувство еще большего энтузиазма.

К июню 1941 года гигантское здание оперного театра было в основном готово, оставалось завершить комплекс отделочных работ, подключить различные коммуникации, организовать группу и поднять занавес, но война прервала строительство. Огромная стройка, огороженная почерневшими от снега и дождей заборами, опустела, строители ушли на фронт. И, приезжая в Новосибирск, Поликарп Матвеевич Кружилин каждый раз видел одно и то же: уныло и безжизненно торчали за ветшавшим забором высокие колонны, чернели неоштукатуренные кирпичные стены...

Эту привычную картину Кружилин рассчитывал и готовился увидеть и на сей раз. И потому невольно приостановился, выйдя на площадь. Покосившиеся, во многих местах с проломами, деревянные ограждения вокруг давно замершей стройки были поправлены и подновлены, кое-где к стенам здания прилепились строительные леса, и на них маячили люди.

— Что? — обернулся и Субботин, тоже поглядывая в сторону ожившей стройки, потом опять на Кружилина.

— Навероятно, — пробормотал Кружилин, испытывая волнение, причину которого осознать и понять еще до конца в первые мгновения не мог. — Решили, выходит, закончить эту махину?

— Да, сейчас нам вроде и не до строительства театров, — проговорил Субботин ровным и бесцветным голосом. — Но правительство еще в прошлом году распорядилось эту стройку завершить. И кое в чем оказывает помощь.

Сказав это, Субботин двинулся дальше. Они спустились на сотню метров вниз по Красному проспекту — главной улице Новосибирска, и напротив здания, своим очертанием отдаленно напоминавшего ленинский Мавзолей, пересекли Красный проспект. Это здание, известное под названием «Дом Ленина», было знаменито на всю Сибирь, эпопея его сооружения навечно вошла в историю молодого города. В траурные январские дни 1924 года у жителей Новосибирска, называвшегося тогда еще Новониколаевском — имя городу было дано когда-то в честь последнего и, может быть, самого тупоумного российского императора, — сама собой возникла идея построить вождю революции здание-памятник. И кажется, месяца через два, вспомнил Кружилин, в газете «Советская Сибирь» были объявлены условия конкурса на проект здания. Потом специально организованный комитет по его постройке выпустил карточки с портретом Ленина, фотографией проекта здания и надписью: «Кирпич на постройку Дома имени Ленина». Каждая карточка стоила десять копеек, карточки продавались во всех магазинах, газетных киосках, на всех углах го-

рода, покупали их нарасхват, и таким образом в короткий срок были собраны деньги, необходимые на постройку здания.

В 1925 году Дом Ленина был уже построен, третьего декабря в нем проходили заседания I съезда Советов Сибири, участниками которого были Кружилин с Баулиным. На последнем заседании этого съезда под гул несмолкающих оваций было принято решение о переименовании Новониколаевска в Новосибирск.

Проходя мимо Дома Ленина по узкой улочке, застроенной деревянными домами и хибарками, Кружилин вспомнил, что ведь и у него где-то есть несколько карточек с надписью «Кирпич на постройку Дома имени Ленина», купленных им в один из тогдашних приездов прямо на вокзале («Где же они, сохранились ли?»), и ощутил, как в душе возникает, поднимается волнение, понятное ему самому, но которое, спроси его кто-нибудь, хоть Субботин вот сейчас, трудно будет объяснить.

Погруженный в свои мысли, Субботин шел на полшага впереди Кружилина вдоль сквера имени Героев революции, примыкавшего к зданию Дома Ленина, и вдруг остановился.

— Вспомнилось мне, что и у вас в Шантаре есть такой сквер. Как он называется?

— Сквер Павших бойцов революции.

— А у нас — имени Героев революции...

Во многих городах и селах нашей страны шумят такие скверы. Только по-разному называются.

Они стояли напротив памятника — может быть, самого уникального из всех существующих на земле. Над братской могилой рабочих, крестьян и красноармейцев, замученных и расстрелянных в колчаковских тюрьмах, погибших в конце 1919 года при освобождении города от белогвардейцев, возвышался обломок скалы, и снизу, где покоятся останки людей, отдавших свои жизни за дело освобождения народа, разорвав каменную глыбу, взметнулась из трещины, из-под камней, рука, сжимающая полыхающий на ветру факел. Факел этот тоже был каменный, но, казалось, что от него длинным веером сыплется искры.

Субботин и Кружилин долго стояли молча. Шумели в сквере невысокие топольки, звенели в деревьях вечные, как сама жизнь, птичьи песни, рождая в душе что-то торжественно-грустное...

— Мы ворвались тогда в город морозным утром, — вдруг тихо проговорил Субботин. И в мозгу Кружилина мгновенно пронеслось: «тогда» — это 14 декабря 1919 года, в этот день Новониколаевск был освобожден от белогвардейцев и интервентов. Субботин был тогда комиссаром одного из полков 5-й Красной Армии, именно этот полк первым ворвался в город. — И то, что мы увидели, — было страшно... Весь

город был завален мерзлыми трупами. Тела замученных штабелями лежали во дворе тюрьмы, трупы расстрелянных были разбросаны чуть ли не по всем улицам, по берегам речки Каменки... Мы их собирали несколько дней. Всего подобрали около сорока тысяч трупов...

Субботин умолк, постоял еще немного, сурово глядя на полыхающий каменный факел. На бледном, незагорелом виске секретаря обкома беспрерывно дергалась жилка, причиняла, видимо, неприятную боль, и он морщился. Потом молча повернулся и пошел.

Жил Субботин в обычном деревянном домике с небольшим палисадником, спускающимся прямо к глубокому оврагу, по дну которого и струилась небольшая речушка Каменка. Еще два десятка лет назад овраг был не так глубок, но почва здесь настолько мягкая, что за короткое время овраг стал глубже и шире вдвое, если не втрое, заборчик палисадника уже почти висел на самом краю обрыва.

Поликарп Матвеевич Кружилин никогда до этого на квартире Субботина не бывал и теперь с удивлением разглядывал неказистый, деревенского типа, домишко с чисто выбеленными стенами, невысоким потолком, с которого свисали обыкновенные электрические лампочки под металлическими абажурчиками. В доме было всего три небольших комнатки, одна из них приспособлена под столовую, а вид из окна открывался прямо на овраг, на сверкающую внизу речушку. На стенах почти ничего не висело, кроме портрета красивой, по виду крестьянской, девушки с длинными и тяжелыми косами.

— Это жена, — сказал Субботин, когда Поликарп Матвеевич, бросив взгляд на портрет, невольно залюбовался им. — Была в нашем полку тогда санитаркой. Умерла в тридцать шестом году. — Он помолчал и прибавил: — Помнишь, ты приходил ко мне в обком... хотя постой, тогда крайком был, кажется? Ты пришел ко мне злой и возмущенный, с жалобой, что тебя непонятно почему в управлении край-НКВД несколько дней держали?

— Помнишь!.. Такое не забывается, — сказал Кружилин.

— Вот, месяца за два до этого она умерла. У нее было все тело штыками исколото в гражданскую. Родить ей после этого нельзя, в общем-то, было. Но она трех сыночек родила. Зачем, говорит, тогда мне жизнь, за что мы, Ваня, дрались-то с тобой? Каждый раз была на краю смерти, но рожала, несмотря на запреты врачей.

О жене Субботин говорил негромко, слабый, стариковский голос его подрагивал и прерывался. Говорил он, стоя спиной к Кружилину, глядя в окно:

— После гражданской решили мы тут поселиться. Чем-то нравился ей этот домик. Тут всех сыновей мы и вырастили. Первый у нас родился еще до революции, в шестнадцатом. Сейчас во флоте воюет, на Севере. Остальных она родила одного за другим в двадцать первом и двадцать втором. Торопилась — знаю, говорит, свои силы... Младший, кажется я говорил тебе, погиб в сорок первом...

— Говорил... — глухо сказал Кружилин, невольно вспомнив о своем сыне Василии.

Субботин говорил о гибели младшего, но не было уже в живых и старшего сына его, он не воевал уже во флоте, неделю назад Иван Михайлович получил на него похоронную и, нося ее в кармане, продолжал говорить всем, что сын воюет. Он таким образом обманывал сознательно не других, а себя, и ему от этого было легче.

Нестарая, лет под пятьдесят, женщина, сестра Субботина, внесла кипящий самовар, достала чашки, поставила сахарницу и две небольшие тарелки с нарезанной тонкими ломтиками колбасой и хлебом.

— Кушайте на здоровье, — сказала она и вышла.

Минут пять они пили чай молча. За столом Субботин показался Кружилину еще более постаревшим, совсем дряхлым. Наверное, потому, что чашка, когда тот подносил ее ко рту, подрагивала, и казалось, что Иван Михайлович вот-вот выронит ее из рук или расплескает чай на скатерть. На бледных висках, прикрытых редкими белыми волосками, проступил пот, и Субботин стирал его ладонью.

— Да, гибнут наши сыновья, — вздохнул вдруг он по-старчески неглубоко и бессильно. Кивнул на окно, в которое недавно смотрел. — И тогда гибли. И позже будут... Дело, за которое мы бьемся, великое, потому и битва тяжелая. Как там Елизавета Никандровна, жена Антона?

Вопрос Субботин задал, казалось, без всякой связи с предыдущими словами, и потому он прозвучал для Кружилина неожиданно.

— Она вдруг попросилась на работу, — ответил Кружилин. — Я немножко удивился.

— Почему? — Субботин приподнял голову.

— Здоровье-то у нее... Ничего, говорит, здоровье стало лучше. А сына, Юрия, попросила отправить в армию, на фронт. На днях уезжает.

В старческих глазах Субботина мелькнул любопытный огонек.

— Ну что же... В соответствии с ее силами и подбери ей работу, — произнес он.

— В библиотеку она попросилась.

Глядя на Кружилина, секретарь обкома ед-

ва заметно двинул бровями, затем опустил взгляд, о чем-то задумался, будто старался что-то припомнить.

— А вообще, разговор у меня с ней был... любопытный. И нелегкий.

— Да? Ну и о чем же? — Субботин отхлебнул из чашки.

— О том, что якобы Полипов до Октября выдавал ее мужа Антона Савельева царской охранке, а в период колчаковщины — белочешской контрразведке...

Иван Михайлович, глядя на Кружилина, медленно отодвинул от себя блюдце с чашкой.

— И я, говорит, найду доказательства.

— Интересно... — продолжая глядеть на Кружилина, но будто только самому себе сказал Субботин. Наконец опустил взгляд, помолчал. — В библиотеке там у вас, кажется, жена Полипова работает?

— Да. А что?

— Интересно, интересно, — опять будто про себя вымолвил Субботин. — Я недавно узнал, что эта самая жена Полипова — дочь человека по фамилии Свиридов. А Свиридов... такой у нас в Томске, потом здесь, в Новониколаевске, был матерый провокатор. Потом стал следователем в белочешской контрразведке, жестоко истязал в своем застенке Лизу и Антона, их сына Юрку, которому тогда было лет шесть-семь...

— Да, Лиза мне и об этом рассказывала.

— А не странно ли, что дочь этого иуды стала женой Полипова?

Кружилин только пожал плечами.

— Полипов тоже в застенке у этого Свиридова сидел... А не был ли Петр Петрович тогда единомышленником... и помощником Свиридова? — снова спросил Субботин.

— Да это же чудовищно, если так! — воскликнул Кружилин. — Нет, и в голове не укладывается.

— Не укладывается? — Субботин заговорил зло, торопливо, голос его наливался силой, все старческое из облика Ивана Михайловича вдруг исчезло. — Мы с тобой, Поликарп Матвеевич, члены партии, взявшей силой оружия власть у эксплуататоров народа. — Он еще дальше отодвинул пустую чашку, точно она его раздражала чем-то. — И я имею основания сказать, что мы преданные члены партии. Но я как-то задавал тебе вопрос: ясно ли мы себе отдаем отчет и всегда ли ясно представляем, что революция не кончилась, что она продолжается? Забыл?

— Да нет... — шевельнулся Кружилин.

— Сейчас на дворе июль сорок третьего. Два десятка лет... всего лишь два десятка лет прошло с тех пор, как закончилась гражданская война. Еще тругфы наших бывших вра-

гов не сгнили. Тела мертвых врагов, — повторил безжалостно Субботин. — А живые как себя ведут? Я имею в виду сейчас не гитлеровцев, как ты понимаешь, а других... Сидят сложа руки и радуются нашим успехам. Или ты полагаешь, что живых врагов, кроме фашистских солдат, уже нет?

— Нет, не полагаю. Но Полипов...

— Может быть, он не такой уж мерзавец, как Елизавета Никандровна предполагает. А может быть... В океане человеческого, в недрах людских все перепутано. Ну да, может быть, ничего особенного в том и нет, что Полипов женат на дочери Свиридова. Просто так как-то и получилось. Мало ли чего не бывает. А может быть и такое, что ниточка далеко-о тянется. И неизвестно еще, где ее кончик.

Субботин помолчал, разглядывая на самоваре оттиснутые медали.

— Но так или иначе, а я давно не доверяю Полипову. Я сделал все, чтобы из окна его убрать. И если от меня будет зависеть, я ему не то что района, колхоза бы не доверил. Даже колхозной бригады. Даже небольшого коллектива людей... Нельзя ему доверять.

И Субботин вдруг усмехнулся:

— Но что об этом. От меня, когда он вернется, это, я думаю, зависеть уже не будет.

— Не нравится мне твое настроение.

— Слабею я, Поликарп, — доверчиво, по-стариковски, проговорил Субботин. — Уходят силы... А коль от тебя, Поликарп Матвеевич, зависеть будет судьба Полипова, ты этот наш разговор вспомни. Прошу тебя как старший товарищ. И вообще, не забывай никогда — «кадры решают все». Это ведь не просто слова. Это лозунг громаднейшего социально-политического смысла и значения... Какие будут стоять у руководства люди — так и наши дела пойдут. Ты, кажется, на примере того же Полипова убедился? Или еще нет?

— Да, убедился, — проговорил негромко Кружилин.

— Вот это... О Полипове... и вообще все это я и хотел тебе сегодня еще раз сказать, дорогой Поликарп Матвеевич, — закончил Субботин.

— К нам в ближайшее время не собираешься? — спросил Кружилин.

— Собираюсь. Тем более что давно я не видел одного человека, проживающего там у вас, в Шантаре. Проведать надо.

— Это какого же человека?

— А старушку одну по имени Акулина Тарасовна. Не слыхал?

— Нет. Погоди...

— Фамилия у нее такая простенькая — Козодоева.

— Козодоева? — Кружилин удивленно поглядел на Субботина. — В верховьях Громотухи живет старичок такой... любопытный — Филат Козодоев. Плотогон был в молодости непревзойденный. Да и нынче мы его попросили плоты оттуда спустить, других специалистов этого дела нет. У него была жена, кажется, Акулина...

— Ага, она, — кивнул Субботин, почему-то отворачиваясь.

— Я думал, она давно померла.

— Живая куда... Разошлась только давно со своим старичком, с Филатом этим, живет потихоньку в твоей Шантаре.

— Ты-то откуда ее знаешь?

— Давнее дело, — чуть помедлив, с явной неохотой проговорил Субботин. — Году, кажется, в девятьсот пятом я из Александровского центра ушел. Кстати, вдвоем с отцом Елизаветы Никандровны мы тогда бежали. Во время погони он погиб, подстрелили его. Славный был человек и верный товарищ. Мне удалось погону обмануть, следы запутать. Но я потом чуть не отдал в тайге богу душу... Замерз бы, если б не Акулина Козодоева.

Здесь Субботин умолк, собрал морщины на лбу.

— В общем, в тайге я встретил ее. Она меня выходила.

— Чего ж ты раньше не сказал?

— Ну ладно, — прервал его Субботин, кажется, недовольный тем, что Кружилин проявляет к этому делу повышенный интерес и что вообще начал речь о Козодоевой. — Живет — и пусть живет. Поклон передай, а больше — ничего.

— Хорошо, — сдержанно сказал Кружилин.

— А теперь — ступай. Я на часок прилягу, отдохну.

Кружилин поднялся.

— А Назарова ты не обижай, — проговорил Субботин, опять глядя в окно. — Поддерживай как только можешь.

— Разве не поддерживаю? Мой предРиКа Хохлов Иван Иванович настаивает, чтобы мы представили Назарова к правительственной награде. И сегодня первый о Назарове говорил...

— Говорил-то говорил... Да мне кажется — не пройдет номер с наградой.

— Почему?

— А потому! — сказал Субботин сухо и раздраженно. — Ну что ты так смотришь? Сейчас везде лихо, и повсюду люди невозможное в тылу делают. И все наград достойны. Всем поголовно ордена, что ли, раздавать? Не хва-

тит на всех... Ну, всего тебе доброго, Поликарп.

Кружилин пожал протянутую ему руку и вышел из дома секретаря обкома.

Шагая к вокзалу, Поликарп Матвеевич раздумывал, что последние слова Субботина, с одной стороны, были понятны, но с другой — они как-то не убедили его. В тылу, на колхозных полях порой не легче, чем на фронте, и люди действительно делают невозможное. Разве не справедливо было бы награждать самых достойных? Но за всю войну почему-то не было еще подобного случая. Орденами часто отмечали работников различных областей промышленности, преимущественно — оборонной. А хлеб разве сейчас не оборонная продукция?

Знойный июльский день начался давно и, казалось, никогда не кончится. Солнце, как всегда, не торопясь выплыло, поднялось из-за края земли, лениво стало взбираться на небо. Уже достигло оно зенита и, казалось, застряло там навсегда, стояло, не думая скатываться вниз, к Звенигору.

Под высоким небом гранитные вершины ее нестерпимо сияли. Каждый каменный кристалл яростно отражал солнце, сверху на утесах лились солнечные струи, разбивались о камни на потоки ослепительных искр.

Весь день с самого утра Ганка, дочь Марьи Фирсовны, обливаясь потом, остервенело дергала осот, молочай и сурепку, бросая злые взгляды на небо, на раскаленные солнцем горы, на работавших рядом дочерей школьной учительницы Берты Яковлевны Майку и Лидку, на Димку и его двоюродного брата Володьку Савельева, жившего в этом колхозе и теперь возглавившего бригаду школьных полотьщиков. Володька, у которого под солнцем давно и, казалось, навечно выгорели не только волосы, но и глаза, время от времени разгибал бронзовую, мокрую от пота спину, оглядывая хлебную полосу, — конца ей не было, потом поднимал голову вверх и говорил:

— Давайте... А то солнце вон покатилося.

Ганка после таких слов еще больше злилась. Во-первых, солнце никуда не покатилося, как торчало, так и торчит на месте. Во-вторых, они и так «давали», у нее руки и все тело горело от проклятого осота. Рваные и мокрые матерчатые рукавицы совсем не защищали от острых колючек, а на теле, кроме трусов да сидцевого лифчика, ничего не было.

Но злилась она не на солнце, не на тяжелую работу. Как она ни тяжка — скоро должна была кончиться, их послали в колхоз до первого августа. И злилась не на Володьку, Лидку

или Майку и даже не на Димку, а так, неизвестно на кого или на что. Жизнь ее до той зимней ночи, когда мать затеяла побелку дома, а потом все они вповалку легли спать на полу, была, в общем, простой и легкой, несмотря на тяжкое время эвакуации и устройства на новом месте, у чужих людей, в этой Шантаре. Каждый день приносил что-то новое, хорошее и интересное, другие, незнакомые люди становились знакомыми и близкими, война, казалось, скоро кончится, и они уедут обратно на Украину, под Винницу. Туда же вернется отец, на старом месте построит дом, все вместе они посадят сад, будут поливать деревья, чтобы они быстрее выросли, зацвели... Думать и мечтать обо всем этом было приятно, и хорошо было разговаривать с Димкой о таком недалеком времени.

— А приедешь... приедешь ты потом к нам в гости под Винницу? — спрашивала она у него.

— Дак ты... сад сперва вырасти, — почему-то смущаясь, говорил он.

— Он сам вырастет. Мы только посадим. Весной он будет белым-белым! А ты в это время к калитке подходишь... Или нет, лучше осенью, когда на каждой ветке во-от такие яблоки будут! А я почувствую, что ты подходишь...

— Это как же ты почувствуешь? — опуская голову, будто заметив что-то на земле, спрашивал Димка.

— А так... — и она непонятно даже отчего тоже смущалась. — Догадаюсь, и все.

Такие разговоры порождали неловкость. Но сердце у нее приятно волновалось, и расставаться с Димкой не хотелось.

Но все кончилось в ту злополучную ночь...

...Ганка облилась жаром, когда поняла, что Димка лег на пол рядом с ней. Она сразу же сделала вид, что спит, но не спала и не уснула в ту ночь ни на секунду. Она слышала, как Димкина рука легла на ее волосы, рассыпанные по подушке, как его пальцы пугливо дотронулись до ее шеи. «А мама... если мама все увидит?!» — проглоло ее насквозь, но затем в голове зазвенело, потому что Димкина ладонь коснулась ее груди. Ей хотелось от испуга пронзительно закричать, вскочить и от стыда забиться куда-то в глухую щель, под землю, в крошечную и вечную тьму, но капелькой сознания она понимала, что кричать и вскакивать нельзя, она не то простонала, не то пробормотала что-то и торопливо повернулась к спящей рядом матери. Димкина ладонь осталась у нее на плече, он ее не убирал всю ночь. «Интересно, почему он не убирает

руку? — думала она до самого рассвета и чувствовала, что он тоже не спит. — Рассветет — и мать увидит... Или Андрейка... или еще кто».

Она думала об этом испуганно, но в то же время ей не хотелось, чтобы он убирал руку.

Еще она думала, что утром посмотрит на Димку как ни в чем не бывало и сделает вид, что спала мертвецким сном. Но оказалось, посмотреть теперь на Димку не так-то просто: лицо, шея, все тело словно заливались горячей краской.

С той ночи все изменилось, весь мир изменился. Она раньше недолюбливала за что-то Николая Инютин, он казался ей взрослым дядькой, спосбвнцм на какую-нибудь гадость, но теперь вдруг почувствовала, что с ним легко и просто, что он, хоть и относится к ней немножко свысока — ну как же, на два класса выше учится! — человек сердечный и добрый и ничем обидеть ее не собирается. Он вечно был занят разными необыкновенными и таинственными делами, и всегда у него можно было увидеть что-то интересное. Однажды Ганка, зайдя к Лидке с Майкой за учебником, увидела посреди комнаты деревянную клетку, а в ней двух зайцев. Один из них, как и положено зайцу в зимнее время, был белым, а другой серым. Николай, склонившись над клеткой, совал туда соленый капустный лист, на дне клетки лежали свежие морковки. Дочери учительницы стояли рядом и наблюдали за его занятием.

— Ой! Откуда ты их взял?! — воскликнула Ганка.

Инютин поглядел на Ганку, усмехнулся.

— Чего — откуда? Поймал...

— Где? Как?

— В громотушкиных кустах. Петлей, — пискнула Майка. — Варварство это. Видишь, нога у зайчихи перевязана. Ногой в петлю попала.

— Чего — варварство?! — бросил Инютин. — Испокон веку есть такой вид охоты.

— Больно ж ей! — сказала Лидка.

— Я лечу. Жрать, заразы, только не хотят. Морковку вон не жрут. Капусты им, видать, надо. А свежей нету. Соленую, может, будут, думаю. А? — повернулся он к Ганке.

— Не знаю... А почему этот заяц — серый?

— То не заяц. Это — кроль. Я его временно у деда Харитона попросил. На расплод.

— На какой расплод? — хлопнула Ганка ресницами.

Инютин по своему обыкновенно усмехнулся — темнота, мол, не соображаешь. Затем согнал улыбку, почесал горбатый нос.

— Это зайчиха, а это — кроль, говорю. Я их хочу скрестить.

Ганка еще похлопала ресницами, отчего-то сильно покраснела.

— Дурак ты! — сказала она обиженно и выскочила из дома.

Это было еще до того случая с Димкой, в самом начале зимы. Потом при каждой встрече с Николаем она невольно вспоминала его зайцев, его слова «я их хочу скрестить» и, наклонив голову, торопливо пробегала мимо.

А Инютин как назло все чаще попадался ей на глаза, то в школе, то по дороге домой, то возле дома. Сперва Ганка думала, что это так, случайно. Но однажды она, подняв на него недовольный взгляд, обомлела: на его лице она увидела не обычную его снисходительную усмешку, а смущенную, даже растерянную улыбку, в темных, глубоко ввалившихся глазах то вспыхивал, то гас какой-то непонятный огонек, пугливый и робкий.

— Ты... чего? — вымолвила она, еще ни о чем не догадываясь, но уже чувствуя в душе смятение.

— Ничего...

Ганка повернулась и быстро пошла вдоль заснеженной улицы, слыша, что Колька шагает следом. Под его валенками, подшитыми автомобильными покрышками, громко хрустел снег и отдавался сильной болью в ее ушах.

— Чего ты... за мной идешь? — обернулась она. И не хотела оборачиваться, хотела, наоборот, как можно скорее убежать от него, а вот взяла и обернулась. И не только обернулась, но даже остановилась, что совсем было для нее самой непонятно. Стояла и мучительно ждала, пока он подойдет.

— Я не за тобой... Я домой, — сказал он, останавливаясь.

— Ну и ступай вперед.

— Чего мне вперед...

Они, оба растерянные, стояли на пустынной улице молча, не глядя друг на друга. Сколько стояли — никто из них сообразить не мог, но оба почувствовали, видимо, нелепость своего положения, враз повернулись и пошли и до самого дома шагали молча, не проронив ни слова.

— До свидания, — сказала возле дома Ганка.

— До свидания, — проговорил в ответ Инютин.

Это случилось дня через три после той ночи, когда Димкина рука до рассвета пролежала на ее плече.

Ганка жила теперь в каком-то полусне, порой не понимая, что с ней происходит. На Димку глядеть было стыдно, хотя, думала Ганка ночами, краснея под одеялом, если бы снова случилось такое... такое... она снова позволила бы Димкиной руке... «А Колькиной? А Коль-

киной?! — задавала она себе вопрос, совсем задыхаясь от жара. — Нет, ни за что!» И вздрагивала от стыда к самой себе за такие мысли, забивалась под подушки.

Но как-то так получилось само собой, что отношения с Димкой становились все холоднее и отчужденнее, а с Николаем Инютиным — наоборот. Собственно, с Димкой вообще никаких отношений не было, они просто жили в одном доме, но друг друга замечать перестали. А в доме Инютина Ганка стала бывать все чаще. Себе она объясняла это тем, что ходит туда не к Инютину, а к Лиде и Майке. С Димкой она не разговаривала, но видела, что ему не нравятся ее отношения с Инютиным, что с каждым днем он нервничает и злится все больше. «Ну и позлись... позлись!» — думала она, испытывая при этом какое-то странное удовлетворение.

При всем при том Димку ей было жалко, жалость эта, непонятная и необъяснимая пока, как и все остальное, захлестывала иногда ее до того, что на глазах проступали слезы и ей хотелось подбежать к Димке, упасть ему на грудь и выплакаться до конца, и это — она чувствовала — принесло бы ей и ему облегчение. Но и Николай Инютин становился все более интересен для нее. Может, потому, что он был ей не до конца понятен, ее удивляли странности в его характере, которые она стала вдруг замечать. Он собирался добровольцем на фронт, с энтузиазмом сообщал встречному и поперечному, что военком Григорьев «твердо-натвердо» пообещал ему «отправку с первой же группой двадцать шестого года рождения, поскольку ты, Инютин Николай, серьезный парень и отец у тебя на фронте», но она не верила этому. Во-первых, Колька был врун несусветный, это все знали. Во-вторых, в школе он вечно хулиганил, изводил учителей, особенно много пакостей делал учительнице немецкого языка. В прошлом году на ее уроке выпустил из ящика крысу, учительница — пожилая женщина, из эвакуированных — упала в обморок и неделю потом проболела. Инютина едва не исключили из школы, говорят, его мать чуть не на коленях упрашивала оставить его. Николай после этого случая притих, но не надолго.

«Разве могут такого несерьезного человека взять на фронт добровольцем? — думала Ганка. — Врет он, все врет...»

Но когда однажды Лидка, такая же грудастая и чуть надменная, как ее сестра, высказалась об Инютине примерно в том же плане, Ганка вдруг возмущилась:

— А почему не могут? Чем он хуже... хуже других?

— Да в нем глупость и тупость через край переваливаются.

— Тупость? Тупость?! — от обиды за Николая, от подступившего гнева все слова у нее исчезли, тех, которые хотелось обрушить на Лидку, не было. — Что ты понимаешь тогда? Что понимаешь?

— Защитница! И с чего бы это? — Лидка насмешливо сверкнула темными глазами, брезгливо сложила губы.

— А с того, что несправедлива ты... Только поэтому.

— Да? — Лидка снисходительно оглядела Ганку. — Нет, я говорю истину. Она тебе неприятна, но это уж другое дело... Это ж он мог только додуматься — скрестить зайчиху с кролем. А что вышло?

Да, из этой его затеи ничего не вышло. Зайчиха не стала есть ни соленую, ни даже свежую капусту, которую Инютин все-таки добыл среди зимы, что было почти за гранью возможного, и подохла. Но то обстоятельство, что Николай где-то полкочна свежей капусты достал, повергло Ганку в изумление.

— Коля! — воскликнула она, схватилась за его плечо. — Где ж это сумел ты...

— Да чего, подумаешь... — Он смутился. Ганка, опомнившись, сняла руку с его плеча. И тогда Николай покраснел еще больше. — Правда, весь район пришлось обегать. Да это мне что.

Ганка вспомнила, что Инютина почти целую неделю не было видно в школе.

— Тебе же опять попадет, что уроки пропустил!

— Попадет, — вздохнул он. — Да ничего, может, она, зараза, жрать зато станет... Это мне Тонька, повариха, дала, из колхоза. А ей сам председатель Назаров повелел... Поскольку, григ, слышал, что добровольцем я идти собираюсь. Она и достала из погребушки.

Когда зайчиха подохла, Николай снял с нее шкуру, а тушку закопал, для чего разрыл снег и долго ковырял мерзлую землю.

— А то собаки разроют и сожрут, если ее просто под снег, — сказал он Ганке.

— Конечно, — откликнулась она, чувствуя, что между нею и Николаем возникает какое-то полное доверие и согласие.

— Собаки... Сейчас люди голодают, — произнесла Лидка, тоже наблюдавшая за этой операцией. — А это дичь была... настоящее мясо.

— Сама ты дичь, — буркнул Инютин. И опять Ганка была согласна с ним.

Бесполезного теперь кроля Николай понес деду Харитону. Но по дороге случилось несчастье — кроль сбежал. Среди улицы застрял в снегу заводской грузовик, несколько мужиков и баб толкали его сзади. Колька положил ме-

шок с кролем на обочину улицы и принялся помогать. Когда машина уехала, Инютин подошел к мешку, но кроля в нем не было. Мешок был по-прежнему крепко завязан, но сбоку зияла дырка.

— Прогрыз, паразит проклятый, — с грустью сообщил он вечером Ганке.

— Ой, как же теперь ты? — восторженно воскликнула Ганка. — Кроль-то чужой...

— Не знаю. Дед Харитон теперь меня костылем избьет, это верно.

— Да ты что?!

— Это пустяки, Гань... — Он впервые назвал ее так. И сердце ее вдруг екнуло, точно оборвалось куда-то и упало. И там, на новом месте, забилось сильнее и радостнее. — Как-нибудь улажу. Дед Харитон добрый. А вот кроля, дуралея такого, жалко. Собаки ж его могут задавить. А то люди поймают, зарежут да в печь...

Дня через три Николай, веселый и возбужденный, сообщил Ганке, что с дедом Харитоном все улажено — он отнес старику зайчью шкурку и пообещал «пужануть волчишек».

— Каких... волчишек? — В голосе ее прозвучала тревога, откровенный испуг. Она знала, что в эту зиму оголодавшие волки, случалось, забредали ночами из громотушкинских кустов на окраинные улицы Шангары. Собаки, подняв сперва остервенелый лай, трусливо забивались в разные щели, но одуревшие от голода звери хватали нерасторопных, свирепо рвали на куски. Утром только забрызганный кровью снег да клочья собачьей шерсти указывали место ночной трагедии.

Дед Харитон, сгорбленный и совершенно безволосый от старости, жил как раз на самой окраине, его трусливого пса еще в начале зимы задрали волки, и, как Ганка знала из рассказов того же Николая, почти каждую ночь звери толклись возле домишка деда Харитона, царапали лапами обитую жестью дверь в сарайчик, где стояли клетки с кроликами, разведением которых и славился дед, пытались даже прогрызть бревенчатые стены. Может, все это было не так злое, как рисовал Колька, но факт оставался фактом — волки в село захаживали и потому Ганка, уже зная характер Николая, разволновалась не на шутку.

— Каких еще волчишек? — повторила она, недовольно сдвинув брови. — Не смей, понятно!

— Ну да... У старикана череп почернел от страха. Помочь надо.

— Да как... как ты поможешь?!

— А вот... ружье. Пищаль называется.

И Николай Инютин выволоч из-за печки диковинной длины, насквозь проржавевший

ствол без приклада, с погнутым курком без спускового крючка.

— Вот, в керосине отмочу, почищу. Курковое ружье было, старинное, заряжалось с дула. За керосин мать голову снимет, если узнает. Ты не говори, ладно? Как бы эти кобылы только не увидели...

Она поняла, кого величает Николай словом «кобылы», но все же спросила:

— Какие это... кобылы?

— Да Лидка с Майкой. Сразу матери доложат... Курок я выпрямлю. Крючок спусковой выточу. Приклад сделаю из березового полена. Пороху мне один человек обещал за стакан самосаду. А самосад у деда Харитона выпрошу, нечего ему много курить-то, и так весь табак провонял. Ну, пулю я из свинца скатаю — вон у меня свинцовая решетка из автомобильного аккумулятора. А? И ка-ак жажну!

— Коля... не надо, — попросила жалобно Ганка. — Оно ж не будет стрелять. Сильно старое.

— А поглядишь! — с обычной самоуверенностью пообещал Колька. — Зайца я поймал? Зайчиху-то, которая сдохла? Майка с Лидкой не верили, а я поймал. И волка пристрелю из засады. Шкуру тебе принесу... подарю.

— Не надо мне никакой шкуры... Только брось все это.

— Вот еще, — непокорно сказал Инютин и торопливо сунул старинный ружейный ствол обратно за печку, потому что скрипнула дверь в сенцах.

Таков он был, Колька, — непонятный, несерьезный какой-то, но не тупой и глупый, как считали Майка с Лидкой. И Ганку тянуло к нему все сильнее.

Этот ружейный ствол, неведомо где добытый им, чуть не принес несчастья. Выбирая время, когда дома никого не было, Николай недели две скреб и чистил его, строгал приклад, вытачивал и соединял каким-то особым, как он объяснял Ганке, способом этот крючок с курком. И добился своего — крючок стал щелкать. Тогда он прикрутил березовый, хорошо обструганный приклад к стволу проволокой. Опять пощелкав курком, Николай вдруг нахмурил брови, вздохнул:

— Ружье было кремневое, а где камень взять? И все запальное устройство сгнило...

— Выбрось ты его.

— Еще чего! Самопалов знаешь сколько делал? Вот тут сейчас я щель напильником пропилю. Проволочную петельку в приклад забью.

— Зачем?

— Спичка сюда должна вставляться. Чирк — и готово! Успей только прицелиться.

Еще провозившись несколько дней, он пропилил-таки щелку сбоку ствола, опять прикрутил ствол к прикладу, в дерево напротив прорезанной щели вбил проволочную петельку, осмотрел «пищаль» со всех сторон, задумчиво посвистел и неуверенно произнес:

— Испытать необходимо.

— Коль, не надо, — еще раз хныкнула Ганка, неоднократно уже говорившая, что стрелять из такого ружья опасно.

— Да что ты? — недовольно воскликнул он. — Столько работы проделано! Будет жакать! За милую душу. — И, заметив что-то в Ганкиных глазах, подступил к ней вплотную. — Ты чего? Фискалить на меня... задумала?

— Нет, что ты! — Она отступила на шаг. — Откуда ты взял? Только я говорю...

— Хватит говорить. Я ж не порохом. Нету пока пороха. Лысый дед не дал куда самосаду. Покажи, говорит, сперва свою пищаль... Мы спичками зарядим. А?

— Не знаю, — мотнула головой Ганка. — А спички где взять?

— Да у меня есть... немного.

Спички, как и все прочее, были в большом дефиците, но Колька вытащил из кармана синий бумажный спичечный пакет, отсыпал из пакета полную горсть, сел за стол и начал соскабливать с хрупких палочек серые спичечные головки.

Наскоблив спичечных головок приличную горку, он все, до последней крупинки, ссыпал в ружейный ствол, толстой проволокой забил бумажный пыж и встал.

— Ну, я пойду. В огород, что ли. А ты домой ступай. Мало ли чего...

— Нет уж... Теперь я не уйду.

— Ну ладно, оставайся, — великодушно разрешил Колька. — Близо только не подходи.

Они вышли во двор, остановились у стенки сарая. Николай вставил в проволочное ушко для верности сразу две спички, достал из ополовиненного спичечного пакета зажигательную плашку.

— Отойти, говорю!

Ганка от окрика вздрогнула, отступила на два-три шага. Колька чиркнул плашкой по спичкам, приклад прижал к плечу, ствол задрал вверх, а голову в ожидании выстрела на всякий случай отвернул подальше от ружья...

Но выстрела не последовало. Спички с шипением загорелись и через одну-две секунды потухли. «Пищаль» молчала. Колька уже приподнял голову — что, мол, такое, почему осечка? Но в это время опять послышалось какое-то шипение, из ружья — сразу из двух мест — из прорези запала и из того места, куда ударял курок, вырвались две тугие струи дыма,

хлестанули прямо Кольке в лицо и сильно обожгли. Николай мгновенно бросил свою «пищаль» в снег и, закрывая лицо ладонями, согнулся, отскочил к Ганке.

— Коля? Коля! — успела крикнуть Ганка, и в эту секунду ружье рвануло. Взрыв был негромкий — так, щелкнуло что-то, как из пугача, но снег вокруг «пищали» вспух бугром, сквозь это снежное облако, крутясь в воздухе, мелькнул ствол и исчез, а приклад отлетел к стене дома, ударился об него и упал к Ганкиным ногам.

— Я говорила, я говорила! — во весь голос закричала она.

Инютин зажимал лицо ладонями и из стороны к стволу метал головой. Ганка склонилась над ним, затормозила за плечи.

— Что с тобой, Коль? Коля?!

— Гадство такое, а? Заряд не рассчитал. Много заряду дал...

Он отнял руки от щек. Вся правая половина лица была густо закопчена и обожжена.

— А глаз? Глаз, Коля?! — заплакала Ганка. — Правый-то глаз у тебя...

— А что? — Колька зажал ладонью левый глаз, правым поглядел на Ганку, на плетень, по которому прыгали воробьи, поморгал сожженными ресницами. — Глаз видит. Чего ему сделается?

— Пошли скорее, обмоешься! Ведь если домой кто придет...

В доме она помогла ему смыть копоть с лица. На обожженной щеке вздулся волдырь, Колька чуть постанывал, когда Ганка, суетясь, осторожно промокала тряпкой водяные капли вокруг опаленного места.

— Больно? Сильно больно? Я час... — без конца повторяла она.

— Ерунда, Гань... — Он взял ее неожиданно за локоть. Взял сильно и цепко, потянул к себе.

— Ой! — воскликнула она, перепугавшись.

— Гань... Гань... — шептал он, подтягивая ее все ближе.

— Не смей! Не смей! — Она сопротивлялась, чувствуя, что силы уходят, что еще секунда — и сил не будет вовсе. Но в это время за окном послышался Лидкин голос. Она с кем-то попрощалась, через полминуты вошла в дом, замерла, удивленная, у порога, переводя взгляд с Николая на Ганку, отпрянувшую в самый дальний угол.

— Вы что это, а? — спросила наконец она.

— Ничего, — сказала, чуть помедлив, Ганка. Она произнесла это слово враждебно и зло, качнулась, сорвалась с места и выбежала из дома.

Она уже не видела и не знала, что Лидка, проводив ее чуть прищуренным взглядом, раз-

мотала с шеи платок, сняла пальто и, холодная еще с мороза, подошла вплотную к Кольке, положила обе руки ему на плечи и опять спросила:

— Что это у вас тут, а?

Колька, ошеломленный, молчал.

— Зачем тебе она, Коля? — проговорила Лидка и то ли шагнула к нему еще ближе, то ли просто притянула к себе — ее тяжелые груди коснулись его. — Коля...

Губы ее, яркие и мокрые, были у самых его глаз, они шевелились и что-то говорили, но Колька уже ничего не слышал. Он уперся кулаками в ее плечи, как только что упиралась Ганка, и, оскорбленный чем-то, вскрикнул:

— Отойди!

Лидка вздрогнула, сняла с его плеч руки и пошла. У дверей своей комнатки обернулась с усмешкой:

— Деревня...

И сердито захлопнула за собой дверь.

После этого Ганка и совсем жила как во сне, она будто не понимала, почему день сменяется ночью, зачем и почему после долгой зимы наступает весна.

Снег сошел, земля оделась травой, деревья — листвою, потом расцвела сирень, которую Николай носил ей целыми охапками. Она стеснялась, но брала, назло Димке, который при этом всегда краснел, весь наливался, чувствовала она, тяжелой болью. Брала назло Лидке, которая давно уже относится к ней, Ганке, насмешливо и ядовито. Брала назло самой себе. Брать ей не хотелось, потому что жаль ей было Димку, внутри которого поселилась боль, но принимала, ненавидя одновременно Димку за то, что он не находит в себе силы и смелости избавить ее от страданий. Как он это может сделать, она ясно не представляла, но чувствовала, мелькало у нее иногда — догадайся Димка хоть раз ей подарить даже не охапку сирени, а веточку, одну веточку, ей сразу бы стало легче.

Но что поделаешь, Димка не догадывался, и пропасть между ними, неизвестно, непонятно теперь для Ганки как, когда и зачем возникшая, становилась все шире. А после того как она отхлестала Димку веником из этой ненавистной ей сирени, пропасть стала еще больше...

Косматое солнце, испепелив в прах необъятное небо над степью, все-таки стало медленно опускаться к горизонту. Солнце сожгло не только небо, но и землю, и навстречу ему, снизу, из-под Звенигоры, стали вспучиваться тучи серого и легкого пепла, солнце, коснувшись их, начало, казалось, раскаляться еще

сильнее, увеличиваться в размерах. И, чем глубже проваливалось в серую муть, ставшую по краю земли, тем сильнее раскалялось и больше увеличивалось.

— Шабаш! Ка-анчай! — прокричал Владимир Савельев. — Одевайся!

На прополке все работали почти нагишом, в трусиках. В первые дни Ганка стеснялась раздеваться, но Володька подошел к ней, сказал просто и убедительно:

— Сопреешь же. И платьишко солнце мигом сожжет. У тебя их много, платьев-то?

— Где ж много...

— Ну вот. На речке, поди, не стесняешься, а тут чего? Поле пустое, а мы все свои.

И тут же Володька, когда наиболее смелые девчонки разделелись и по этому поводу ребята начали было кидать шуточки, подошел к одному из них, поднял тяжелый, не по-детски увесистый кулак.

— Это нюхал? — И повернулся к остальным: — Че вздумали? Тут работа, а не баловство. Это вам не шуточки, когда хлеб гибнет. Мужики отдельно будут вот по этому краю поля сорняк давить. Девчонки по тому. И хаханьки бросить у меня. Давай одежду складывай тут, девки — там. Никто ее не тронет. И не прохлаждаться, дневной урок немалый...

После этой речи Савельев первым разделся, бросил наземь рубаху и пыльные штаны и, не дожидаясь остальных, начал дергать сорняки. И все невольюно смолкли, молча разделелись, тоже принялись за работу, раз и навсегда признав право этого парнишки, годами и моложе некоторых, командовать.

Над полем, особенно с утра, когда с неба, успевшего за недолгую ночь набрякнуть синевой, еще лилась прохлада, стоял веселый гам и говор, взлетал то и дело смех, но постепенно голоса стихали. После скудного обеда, который привозила на мохнатой лошаденке Антонина, бригадная повариха, все снова принимались за работу, но теперь молча и угрюмо.

Повариха приезжала не одна — на козлах сидел Андрейка. Когда Владимир Савельев с помощью ребят сгружал с повозки бидоны со щами и молоком, корзину с хлебом, на освободившееся место ставили пустые бидоны, повариха принималась кормить полотьщиков, а Андрейка ехал к Громотухе за свежей водой для них.

На прополке все работали уже давно, очистили от сорняков три или четыре огромных поля. На ночь уходили в бригаду, та же тетя Антонина кормила всех жиденьким супом или затирухой, чуть подбеленной молоком, поплачем, заваренным смородиновым листом. После ужина сразу наступала темнота, и все отправлялись в ригу, забитую соломой, без особых

разговоров заваливались спать — девчонки в одном углу, мальчишки в другом.

Последним всегда ложился Володька Савельев. Перед тем как лечь, он вешал посреди риги на столб тусклый керосиновый фонарь с треснувшим стеклом, бригадир Анна Михайловна, мать Димки и Андрейки, чуть свет тушила его, но скоро, едва солнце приподнималось над землей, снова приходила в ригу, будила всех, и начинался еще один длинный-длинный день...

Натягивая на задубевшее под солнцем тело пыльное и теплое платье, Ганка с ненавистью думала о будущем бесконечном дне, о Димке и Николае Инютине, которого она не видела с самой весны, с того дня, когда отхлестала и его сиреневым венником. До нее доходили слухи — тот же Андрейка рассказывал, — что Колька все это время пропадает в военкомате, где ему поручают какие-то дела, и ей приходили почему-то в голову нехорошие, подозрительные мысли о том, что ничего ему там не поручают, просто Колька, закончивший нынче десятый класс, прохлаждается в Шантаре, а они вот сгорают тут под солнцем. Она упрямо думала так о Николае и одновременно понимала, что такие ее мысли и предположения несправедливы, они оскорбляют и Николая, и ее, и испытывала жгучую ненависть к самой себе.

...Когда заканчивали ужин, в бригаду приехали вдруг председатель колхоза Назаров и секретарь райкома партии Кружилин. Назаров был в своем обычном пропыленном пиджаке, Кружилин — в суконной гимнастерке, тоже грязной и пыльной, сильно потертой на локтях. Они приехали на двух ходках, каждый на своем; оба мрачные, молчаливые. Председатель колхоза завернул за угол бригадной кухни, а Кружилин остановился неподалеку от урытого в землю длинного стола, за которым ужинали ребята, отпустил чересседельник, развязал супонь, взял из ходка охапку свеженакошенной травы, кинул жеребцу. Потом подошел к столу.

— Здравствуйте, ребята.

Ему ответили вразнойбой.

Секретаря райкома партии все знали, он в течение лета не раз появлялся в бригаде, однажды осмотрел даже ригу, в которой спали ребята, пошутил еще, что запах соломы и свежий воздух сделают девчат еще красивее, а ребят сильнее и мужественнее.

Сейчас он не шутил, не улыбался. Присев на краешек скамейки, снял матерчатую фуражку, почти прогоревшую от солнца, положил ее на колено, ладошкой по-крестьянски пригладил спутанные волосы и, не обращая ни на кого внимания, устало задумался. Он стал похож на колхозника, который, наработавшись,

тоже пришел с поля и ждет теперь своей тарелки с ужином. Бригадная повариха Антонина действительно положила перед ним кусок черного, пополам с лебедой, хлеба, из общего чайника налила кружку чаю.

— Ага... Спасибо, Тоня, — очнулся секретарь райкома, взял кружку, отхлебнул.

Солнце уже скрылось за Звенигорой, но за горизонт еще не зашло. Обычно в такое время все пространство над горой пронизывалось желтыми полосами, бывшими из-за скал, но сейчас привычных солнечных стрел не было, сверху неподвижно стояла багрово-красная муть, отблески ее проливались на соломенную крышу риги, на лица притихших ребят и девчонок, на старую, с черной трещинкой фарфоровую кружку, которую держал в руке секретарь райкома.

— Устали, ребята? — спросил Кружилин как-то неожиданно.

— Притомились чуток, — мотнул Владимир Савельев давно не стриженной головой. — Да мы — молодежь...

Кружилин оглядел всех девчонок и мальчишек, сидящих за длинным дощатым столом, остановил взгляд на Димке Савельеве.

— А ты как тут, Дмитрий?

Димка поглядел на Кружилина исподлобья, враждебно.

— А мне что? Я сын бригадирши.

— Вот как?! — приподнял усталые веки Кружилин.

— Ну, — усмехнулся Димка. И кивнул на Владимира: — И он, наш полотьный бригадир, мой сродственник. Так что мне тут кругом поблажки.

— Он ничего, хорошо работает, — проговорил Владимир. — Молчун только, все носит чего-то в себе, как дурак игрушку...

Звонко хохотнула Лидка и тут же захлебнулась, потому что Ганка порывисто вскочила.

— Ты сам... — крикнула она Володьке. — И ты... — обернулась она с гневом к Лидке. Глаза ее яростно полыхали.

— Инте-ере-сно! — протянула Лидка. — Видели?

Вдоль длинного стола прошло движение, но вслух никто ничего не произнес. Димка поднялся медленно, как-то странно глядя на Ганку, повернулся и пошел.

— Дмитрий, погоди, — попросил Кружилин. — Сядь на минутку.

— Чего! Я поужинал, — огрызнулся тот. И пошел дальше, все прибавляя ходу, скрылся за углом риги.

Ганка долгие другие глядела на этот угол. Когда повернулась, в глазах ее стояли слезы, губы вздрагивали.

За столом установилось неловкое молчание.

— Вот еще... охламон какой, — нарушил тишину Владимир. — Счас я приведу его.

— Не надо, Володя, — произнес Кружилин, вставая. — Оставь его. Я приехал, ребята, поблагодарить вас всех за хорошую работу.

Установилась тишина. Лишь стоявший неподалеку в упряжке жеребец, на котором приехал Кружилин, звякал удилами, но этот железный звук тишины не нарушал, только подчеркивал ее. Лица девчонок и парнишек — осунувшиеся, худые, сожженные солнцем, стали по-взрослому суровыми, глаза остро поблескивали.

— Тяжкое время, ребята, переживаем. Такое тяжкое... По всему району хлеба гибнут от жары. Чего там гибнут — погибли уже. Только в этом колхозе еле-еле держатся. Почти все поля тут рожью засеяны, вот она-то и держится. Пшеница даже в трубку не успела выйти и посохла. А в других колхозах ржи почти нету. Поэтому надо нам спасти тут каждый колосок... Вы все до предела измотались, я вижу. Первого августа вас обещали всех отпустить по домам. Да хочу я вас попросить остаться. Ребят всех, а девочек — добровольно, кто еще может...

То ли Кружилину показалось, то ли это произошло на самом деле — над столом пронесся невнятный шелест и стих. Все сидели так же неподвижно, так же поблескивали глаза парнишек и девчонок. Руки у всех были огрубелые, усталые — и у Кружилина до боли сжалось сердце.

Застучали колеса, мимо стола протащилась водовозка. Андрейка, откинувшись, натянул вожжи, будто осаживая горячего рысака.

— Теть Тоня-я! — прокричал он громко, хотя повариха стояла у стола. — Водички свеженькой тебе привез.

— Ладно, — кивнула та. — Поставь телегу за стрянкой.

Андрейка хлестнул несколько раз вожжами, прежде чем лошаденка тронулась. Опять глухо проскрипели колеса, и снова стало тихо.

— А мы, девчонки, все сможем, — сказала Лида.

— Я знаю, ребята, что все смогут, — сказал секретарь райкома негромко. — Сейчас ведь повсюду фронт — и там, и здесь. И вы все это понимаете. И вы достойны своих отцов и братьев, которые бьют фашистов. Достойны, как Володя вот достоин своего отца и как Дмитрий Савельев своего брата. Зря он убежал, я же такую весть ему о брате привез... Вот.

Говоря это, Кружилин отстегнул карман гимнастерки, вытащил помятый конверт. Владимир, стоя возле Кружилина, смотрел почему-то на него хмуро и недоверчиво и время от времени быстро облизывал сохнувшие губы. Ганка,

вытянув шею, внимательно следила за руками Кружилина, вынимающего из зеленого конверта листок, в больших глазах ее переливалось черное пламя. Она резко мотнула головой, поглядела за угол риги, куда скрылся Димка, и опять уставилась на Кружилина.

— Я получил сегодня письмо от одного моего товарища с фронта. И он вложил в письмо вырезку из фронтовой газеты. — Кружилин показал небольшой газетный клочок, на котором виднелись две неясные фотографии. — Здесь описывается подвиг героев-танкистов — Володиного отца и брата Димы Савельева — Семена. И вот их фотографии напечатаны. Они — Володин отец и брат Дмитрия — на одном танке воюют. И в тяжелом бою уничтожили двенадцать фашистских танков! Двенадцать!

За столом прошел гул, все зашевелились.

— За это их представили к высоким правительственным наградам.

Володька, еще раз облизнув губы, шагнул к секретарю райкома:

— Дайте...

Он взял, почти вырвал из его рук газетную вырезку, отвернулся, склонился над ней. Гул за столом как-то сразу перешел в галдеж и визг, ребяташки и девчонки, забыв про усталость, бросились к Володьке, окружили его беспорядочной толпой. Последней бросилась Ганка. Она почему-то сперва сидела как окаменевшая, не замечая даже, что ее толкают перескакивающие через стол мальчишки, потом метнулась к толпе, ударила кого-то кулаком по спине:

— Мне дайте... покажите! Покажите!

Оказавшись перед Владимиром, Ганка молча протянула руку.

— Ага... — сказал тот, ошалелый и словно отрешенный, отдал ей листок. — «Подвиг сибиряков-гвардейцев...» Так и пропечатано. И портреты...

Ганка, не чувствуя, что вокруг толпятся и толкают ее, заглядывают через плечи, не слыша криков и галдежа, при свете угасающего дня прочитала сперва подписи под фотографиями, потом заголовок и заметку.

— Господи... Где? Поликарп! Мне Панкрат сказал... — прокричала мать Семена, подбегая.

При первых звуках ее голоса Владимир торпливо выдернул из Ганкиных рук газетный клочок и зажал в кулаке. А Ганка резко повернулась, выскользнула из толпы и побежала прочь.

— Где? Дайте же мне, — простонала мать Семена.

— Володя, дай Анне Михайловне, — сказал Кружилин. — Тихо, ребята!

Галдеж умолк, девчонки и мальчишки, опомнившись, наконец расступились.

— Ты слышишь? Отдай заметку Анне Михайловне, — повторил Кружилин.

— Да у меня нет...

— Как нет?

— Взял кто-то.

— Ребята, кто взял газетную вырезку?

Мальчишки и девчонки, начавшие было расходитьсь куда, остановились. Все молчали.

— Господи, да что же это такое?! — испуганно проговорила Анна.

— А может, Ганка унесла? — произнесла Лидка.

— Ну так найдите ее! — потребовала Анна. — Лидушка, ты найди, а?

— Ладно.

Из-за стряпки стрелой вылетел Андрейка с кнутом в руках.

— Мам, чего это?! — прокричал он, сверкая глазенками. — Какое письмо? Какая газета? От Семки, говорят...

Анна обеими руками прижала лохматую голову младшего сына к груди и с обидой вымолвила:

— Чего же ты стоишь, Лидушка?

А Володька между тем повернулся и пошел в ригу. На привычном месте нащупал в полутьме фонарь, зажег его, повесил. Затем вышел в противоположные ворота и зашагал сквозь редкий перелесок в открывающуюся за ним степь, к хлебным полосам, которые сегодня очищали от сорняков.

На фоне потухающего заката одинокая фигурка его была видна долго. И пока была видна, за нею следила бригадная повариха. Она, прибирая после ужина со стола, все время поглядывала на Володьку с того самого мгновения, когда он взял из рук Кружилина газетный клочок, видела, как подбежала к нему Ганка, а потом появилась Анна Михайловна. Затем Антонина проводила взглядом Володьку в ригу. Взяв ведро с помоями, она пошла выплеснуть их в овражек и тут заметила, как он показался из противоположных ворот риги и, оглянувшись на бригадный стан, зашагал сквозь перелесок в поле...

Ганка, выскочив за ригу, остановилась. Бледно-желтым оком были подчеркнуты острые, изломанные горные вершины, небо над Звенигорой еще светлело, и казалось, что сразу же за каменными зубцами еще полыхает светлый день, который, возможно, никогда и не кончится.

Несколько мгновений она постояла в растерянности, глядя на убегающую в перелесок затравенешую дорогу, которая в полтора километрах отсюда раздваивалась. Левый рукав вел в какую-то деревню Михайловку, где Ган-

ка никогда не была и где жил их полонный бригадир Савельев, а правый выходил на полевой шлях, не очень широкий, но укатанный за лето до крепости железа, по которому их и привезли из Шантары на прополку в эту колхозную бригаду. Если пересечь этот шлях, то километрах в трех будет речка Громотуха. Огибая Звенигору, она тоже течет в сторону Шантары.

Как раз у развилки затравенешего проселка росла старая сосна, толстая и корявая, возле которой почему-то любил сидеть Димка в одиночестве. Раза два-три Ганка случайно наткалась на него здесь, вздрагивала и, опустив голову, пробегала мимо. Но однажды все же приостановилась и, чувствуя, как заходится сердце, спросила:

— Чего ты... здесь?

— Тебе-то что? — откликнулся он холодно.

Ганка глотнула тогда подступившие от какой-то большой и непонятной ей обиды слезы, повернулась и побежала.

Ганка была уверена, что Димка и сейчас пошел к этой сосне.

Он действительно сидел там, прислонившись спиной к сухому, в глубоких трещинах, стволу, и смотрел не мигая вперед.

— Димка! Дим, — выдохнула, подбегая, Ганка. — Письмо... Семен ваш! Семен!

Димка вскочил, сделал вперед два-три шага и остановился, почувствовав, как занемело все внутри.

— Что?! Что-о?! — громом взорвался у него в ушах собственный голос, хотя на самом деле он прошептал это, губы его едва пошевелились.

Но Ганка расслышала его. Она на секунду растерялась, а затем шагнула к нему, схватила за плечи и яростно затрясла, закричала:

— Ты что подумал?! Не похоронная же! Наоборот... он живой! Его орденом наградили... Ты слышишь, слышишь?!

И, ткнувшись ему в грудь лицом, зарыдала.

— Я дура, дура... — шептала Ганка сквозь обильные слезы.

— Ага, дура проклятая, — сказал и Димка, погладил ее неумело по волосам, по вздрагивающему, теплomu плечу.

— И что отхлестала тебя весной... Этой дурацкой сиренью.

— Нет, это правильно...

Они были уже взрослыми — ей шестнадцать лет, а ему пятнадцать, — и оба чувствовали это. Но теперь, в эту минуту, они не стеснялись друг друга. Ганка беззащитно и доверчиво прижималась к нему, и он, благодарный ей за это, все поглаживал ее по плечам. Потом пальцы коснулись ее щеки. Ганка тотчас схватила его ладонь, сильно сжала, оторвала лицо от его

грудь, запрокинула голову и распухшими губами прошептала:

— Димушка!.. Дим... Ты слышишь?

— Ну да... я слышу.

— А Колька Инютин мне так... Ну просто так... Зачем он мне?

Она проговорила это и обернулась на шум чьих-то торопливых шагов, не выпуская Димкиной руки, увидела подбегавшую Лидку. Но и теперь его руки не отпустила, молча ждала, когда Лидка приблизится.

— Я издали... ваши голоса услышала. Ой, да тут еще кто-то!

И только теперь Димка с Ганкой почувствовали, что рядом действительно еще кто-то есть, быстро обернулись. Посреди дороги, в вечерней, еще не густой и далеко просматриваемой мгле, стоял, опершись на палку, Николай Инютин, стоял, как унылая птица, низко опустив плечи.

Димка, высвободив свою руку, шагнул к сосне и сел на прежнее место. Ганка качнулась и пошла к Николаю.

— Ты как здесь?

— Надо было, значит пришел, — сказал хрипло Николай, отбросил палку, повернулся и пошел прочь, в сторону шляха.

— Коля! Коля! — одновременно воскликнули Ганка и Лида, обе кинулись за ним. Тот резко обернулся, девчонки будто наткнулись на стенку.

— Убирайтесь, вы! — выдавил он свирепо сквозь зубы, сжал кулаки. Глаза его блестели во мраке. Казалось, Николай сейчас шагнет к ним и примется молотить обеих своими кулаками.

Но он не шагнул и ничего больше не сказал. Он повернулся и медленно пошел, стал пропадать в густеющих сумерках.

— Бригадира сказала, чтоб ты отдала ей эту статью, — вымолвила Лида, не спуская глаз с удаляющегося Инютина.

— Какую статью? — не поняла Ганка.

— Про сына ее.

— Да я не брала...

— Ты отдай, — проговорила еще раз Лидка, кажется, не слыша Ганкиных слов. — Николай, Коля! Ко-оль!

И она, не взглянув даже на Ганку, побежала догонять Николая, который был еще чуть виден во мгле.

Дмитрий, сидевший возле сосны, даже не пошевелился, когда Ганка вернулась к нему. Она медленно подошла, остановилась, растерянная и смущенная, не зная, что сказать. Постояла, опустила на пожухлую и пыльную траву под деревом, поджала под себя ноги.

Темнота вокруг сомкнулась почти наглухо, а над Звенигорой небо все еще было освещено, темные каменные хребты, вздымаясь, наглухо отгораживали, казалось, весь остальной мир, наполненный светом и жизнью. Изломанная линия горных вершин все еще была обведена желтой каемкой, но теперь более узкой и блеклой.

— Дим... — выдохнула еле слышно Ганка.

— Что?

Она ткнулась лбом ему в колени, но не заплакала, только плечи ее затряслись.

— Ну чего ты?

— Я? Нет, это ты чего? Дима, Дима!.. — Она подняла голову.

— Я... ничего, — ответил он и вздохнул глубоко и тяжело, как взрослый человек, обремененный нелегкими делами и заботами. — Я, Гань, все думаю...

— Об чем? Я это... вижу. Только понять не могу — об чем.

— Я... я не знаю. Просто так.

— Просто так не бывает, — возразила она.

— Бывает... Вон темная гора небо загораживает, видишь?

— Ну?

— А ты приглядишься. Будто кто дырку выпилил в небе-то... Как в желтом фанерном листе. Или в амбарной стене. Только пила была тупая и виляла.

Ганка перестала дышать. И вдруг воскликнула:

— Ой! — И мгновенно подвинулась к Димке. — И правда!..

— Конечно правда, — сказал Димка негромко и почему-то печально.

— Гань... Тебе и правда Колька... просто так?

Димка осторожно снял с плеча ее руку, положил пальцы в свою ладонь, а другой рукой погладил их.

Она лишь выдернула молча свои пальцы из его ладоней.

— А он хороший, Колька... Добрый, — помедлив, произнес Димка.

— Пойдем, Дима... Поздно уже.

Она поднялась, отряхнула платье. Но он как сидел, так продолжал сидеть, не шелохнувшись. Потом пошевелился, но не встал, а опустил голову и стал смотреть в землю.

— Наши уже спать легли. Володька, наверно, хватился нас.

— Ты как думаешь, Гань... Люди всегда были такими маленькими?

Этот странный вопрос снова поверг Ганку в изумление.

— Ты и в самом деле — ненормальный! Ну, великаны были... в сказках. Или вот... По истории мы проходили древнегреческие мифы...

— Мифы... А может, это все правда?

— Да ты что?

— А тогда откуда же он взялся?

— Кто?

— Он, — еще раз повторил Димка, приподнял голову, поглядел куда-то вперед, где в небе была вырезана черная дыра. Ганка тоже повернула голову, но видела теперь не дыру в небе, а обыкновенные горные вершины, над которыми в серо-сиреновой вышине проглядывали уже первые звездочки.

— Я люблю, когда звезд много, — вымолвил Димка негромко. — А он смотрит, смотрит на них... Глядит тоскливо. Будто высмотреть чего хочет... Или ждет кого-то.

— Да кто — он-то? — взмолилась девушка. И в голосе ее было теперь не удивление, в нем прозвучала откровенная тревога.

Димка это уловил, грустно усмехнулся.

— Я не спятил, не бойся. А ты приглядишься. Вон нос его торчит, губы... подбородок. А волосы он будто в Громотухе мочит... Его увидишь, только когда приглядишься.

Ганка опять повернулась лицом к Звенигоре. Повернулась — и сердце ее сразу пронзило холодком, в груди что-то дрогнуло, в ушах поплыл, долетая из неведомых далей, а может, пробившийся вдруг из-под земли переливчатый звон: очертания каменных вершин Звенигоры действительно напоминали огромное, невообразимых размеров, человеческое лицо, опрокинутое к небу. Не очень крутой, но и не плоский лоб, переносица, нос... Губы были сложены скорбно, в какой-то вековой и безмолвной мучке. Крайняя слева скала — подбородок — обрывалась вниз тоже не отвесно, а с изгибом и переходила в шею. Еще левее, там, где соответственно размерам опрокинутой на землю каменной фигуры должна была быть грудь, чернели уже почти неразличимые во мраке верхушки деревьев.

Увидев все это, Ганка с минуту стояла безмолвная. И Димка молчал. Он, все еще сидя под сосной, глядел то на Ганку, то на гигантское каменное лицо, смотрящее в ночное небо. Затем поднялся. Девушка качнулась к нему, прижалась.

— Страшно. Прямо жутко, — прошептала она.

— Это без привычки, — успокоил он ее. — А так — просто грустно.

— А чего он... ждет?

— Не знаю. Может, того, кто встать ему поможет. Развяжет его.

— Разве... Разве он привязанный?

— А как же, — вздохнул Димка. — Там, где шея, — дорога через увал проходит. Как ремень. И дальше, где его грудь... Он давно тут лежит, может, где тысячу, может, сто миллио-

нов лет. И грудь вон лесом заросла. А через тот лес, я знаю, тоже дорога есть. В Казаниху ведет. Тоже как ремень. И через ноги его, наверное, через руки... Он крепко привязанный к земле.

Они постояли молча. Желтая полоска, окаймляющая горные вершины, совсем растаяла, потухла, и каменное человеческое лицо, опрокинутое к небу, стало еще таинственнее.

Девушка потихоньку отстранилась от Димки и пошла. Он неслышно двинулся за ней, и, когда догнал, она остановилась и сказала:

— Димка! Ведь я тебя совсем не знаю, оказывается!

Он, заложив руки в карманы стареньких штанов, голой пяткой будто вдавливал что-то в землю.

— Оно все — оказывается... Я думал, что не люблю Семку, старшего брата.

— Что ты?! — протестующе воскликнула Ганка. — Он — хороший.

— Ну да... Только мы жили до этой войны... Он — по себе, и я — по себе. Отец его не любил, и я... Ну, как-то так, брат и брат, а больше ничего. А сегодня ты крикнула — письмо! И я... Это — непонятное. Я думал, похоронная...

Он говорил сбивчиво, почему-то волнуясь.

— От него, что ли, письмо?

— Нет... Дядя Поликарп Кружилин получил от кого-то. А в письме — про Семена. И газетная статья, как Семен и дядя Иван, Володькин отец, двенадцать танков подбили.

— Сколько?!

— Двенадцать. И фотографии их в газете нарисованы.

Димка стоял теперь вполборота к Ганке и смотрел в сторону Звенигоры. От сосны они ушли недалеко, может быть, всего метров на двести, но очертания каменных вершин теперь не напоминали даже и отдаленно человеческого лица. В темно-фиолетовом небе просто торчали беспорядочные черные зубья.

— Он... он исчез, — прошептала, удивленная, Ганка.

— Ну да. Его видно только с того места, — ответил Димка.

А Лидка догнала Николая Инютина, когда он затравеневшим проселком выходил на укатанную дорогу, ведущую в Шантару, заскочила вперед, стала перед ним.

— Николай! Коля...

— Уйди, — он отодвинул ее сильной рукой, зашагал дальше.

Ни слова больше не говоря, она пошла рядом.

Минуты через три Инютин, не останавливаясь, сердито спросил:

— Чего тебе? Чего привязалась?

— Просто... провожаю тебя.

— Ну и провожай.

Однако еще через минуту остановился, поглядел на девушку. Глаза ее в ночном сгущающемся мраке поблескивали виновато и одновременно умоляюще.

Николай, поглядев в эти глаза, шагнул на обочину, сел на землю и опустил голову. Она стояла перед ним.

— Ты... ты к ней приходил, к Ганке? — спросила она напрямик.

— К ней! Понятно тебе?! Проститься.

— Почему — проститься?

— Потому! На фронт ухажу послезавтра... Добровольцем берут. Понятно?

— Ага... — произнесла она тихо и взволнованно.

Николай поднялся. Они стояли друг перед другом: Колька, тощий и длинный, как жердь, с длинными руками. Лидка была ростом почти с него, но — плотная, широкая в бедрах, крупногрудая, казалась значительно ниже него.

— А ты со мной простись, — проговорила она, и в глазах ее сверкнули отблески звезд.

— А чего ты мне? — безжалостно спросил он.

Она быстро-быстро задышала, потом, уронив лицо в ладони и отвернувшись, заскулила тихо и обиженно, как побитый щенок.

Николай растерянно потоптался, злость его сразу прошла.

— Все вы — мокрые курицы. Не надо. — Он тронул ее за плечо.

Она дернула этим плечом и побежала назад.

Николай стоял на обочине дороги по-прежнему растерянный. Стоял долго, пока не затих глухой стук ее ботинок по дороге. Затем медленно побрел в сторону Шантары.

А Владимир Савельев, все еще сжимая в потном кулаке газетную вырезку, присланную кем-то в письме Кружилину, лежал во ржи, которую они сегодня очистили от сорняков, и глядел на высыпавшие в небе звезды.

Здесь его и нашла бригадная повариха.

Она подошла тихо, неслышно, как большая и сильная кошка. Увидев ее, он быстро приподнялся и, не вставая на ноги, отодвинулся в сторону, будто хотел забиться в глубь хлебов.

— Это я ж, Володя. Не узнал, что ли? — тихо, почти шепотом, проговорила она.

— Узнал... Чего приперлась?

Она присела рядом. Он отодвинулся еще подальше.

Кругом стояла ничем не нарушаемая тишина и темень. Земля была на ощупь еще теплой, как недавно протопленная печка, дневной жар в воздухе еще не потух, не рассосался в темноте. Несмотря на полнейшее безветрие, время от времени уныло шелестели зеленые пока колосья, словно жаловались кому-то на беспощадное, знойное лето, в которое они родились, проклюнулись из земли и выросли, да неизвестно вот еще, сумеют ли в такой испепеляющей жаре налить зерна, ради которых люди переносят такие муки.

— Это ты взял газетную статью-то? — спросила вдруг Антонина. — Я видела...

— Ну и что? Там про моего отца.

— Там еще про сына тети Анны. Дай сюда.

— Не дам, — упрямо повторил он.

— Володенька... Он сын ей. Дай, а то потеряешь. Тогда тетя Анна прямо совсем обезумеет.

Слово «обезумеет» подействовало на мальчишку, он протянул кулак. Антонина взяла влажный газетный комочек, расправила осторожно на коленке, аккуратно свернула, поднялась и положила в кармашек фартука.

— Глупенький ты, Володя, — сказала она. — Разве так можно — схватить это и унести. Ну, а если б уронил где?

— Да это... конечно, — согласился он и тоже встал.

— Глупенький... — Она вдруг обеими руками взяла его за голову и притянула к себе.

— Не лезы! Не трожь! — Он уперся в ее мягкие груди, но тут же отдернул руки, как обжегся, а она еще сильнее притиснула к себе его голову.

— И маленький. Совсем-совсем еще маленький...

Тонька всхлипнула вдруг. А он, испуганный и ошеломленный теплом ее тела, глухим и частым стуком ее сердца, перестал сопротивляться и затих. Он покорился ее сильным и властным рукам.

Они стояли так во ржи долго. Ей шел двадцать первый год, а ему недавно исполнилось всего четырнадцать. Ростом он был ей по грудь. Она гладила сухой и горячей ладонью его лохматую голову, говорила торопясь, сдавленно: — Вон как... оброс ты весь. Остричь надо лохмы-то. У меня ножницы есть, ты приходи...

— Ладно, тетя Тоня, — произнес он.

— Да не зови ты меня так! — взмолилась, с болью простонала она.

— Как? А как... тебя звать? — непонимающе спросил он.

— Господи! Ты подрасти скорее. Слышишь? Слышишь?!

Ее возглас разнесся по пустынному хлебному полю и затих, потонул в темноте.

Катилась над землей ночь, укрывала стоящих во ржи двух людей — двадцатилетнюю женщину и мальчишку, который в эти суровые времена считался уже мужчиной. Укрывала все человеческие радости и беды — большие и малые. Но радостей у людей было немного, хотя они вечно надеялись на них, и потому, наверное, так уныло и тоскливо смотрел в небо тот каменный исполин, которого обнаружил Димка на месте Звенигоры...

Часть пятая

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ

Бывшему следователю Томской городской жандармерии Арнольду Михайловичу Лахновскому шел уже семидесятый год. У него совершенно побелела голова, тело его усохло, но было еще крепким. Он ходил с тростью, но шаг его, несмотря на сгорбленную по-стариковски спину, был тверд и уверен. Лицо с бородкой под Троцкого всегда тщательно выбрито — никаких старческих морщин! Лишь глубокие складки на лбу и у крыльев носа да холодные, давно потухшие глаза говорили, что прожил этот человек на земле достаточно. В маленьких, глубоко сидящих глазах никогда ничего не выражалось: ни гнева, ни одобрения, ни даже простого любопытства. И поэтому каждый, на ком останавливались глаза бывшего бургомистра Жереховского уезда, цепенел от животного страха. Особенно, если знал, что Лахновский, всегда одетый в сюртук какого-то дореволюционного покроя, имеет чин штандартен-фюрера, то есть полковника общих войск СС, а его трость, раскрашенная под дерево, — в действительности остро заточенный на конце стальной прут. В тонких жилистых руках этого старика трудно было предположить наличие какой-либо силы, но он своим страшным прутом, бывало, раскраивал череп собеседнику или протыкал его, как шпагой, насквозь. И ни один мускул притом на лице Лахновского не вздрагивал, ни одна складка на лбу не двигалась. Он стоял и мертвыми глазами смотрел на жертву, которая от чудовищного удара или укола, подержавшись еще какие-то мгновения на ногах, обрушивалась на пол. И только тогда у Лахновского чуть брезгливо опускались уголки тугих, будто резиновых губ.

Перед концом гражданской войны в Сибирь, видя и понимая, что контрреволюция разгромлена, он уехал в Москву, где сразу включился в работу троцкистских группировок. В 1922 году Лахновский был направлен в город Шахты, в Донбасс, где был устроен на работу рядовым следователем Шахтинской районной

прокуратуры. И пожалуй, ни один буржуазный специалист не принимался в тот год на работу без его ведома и участия. Он, Лахновский, стоял у самых истоков создания там крупной вредительской организации.

В середине 1923 года Лахновский попал в поле зрения местных чекистов. Почуввав опасность — так травленный волк чует капкан, — Лахновский немедленно убрался из Донбасса, снова объявился в Москве и под именем Ефима Игнатьевича Коновалова стал работать в аппарате Троцкого. Одновременно он связался с савинковской террористической организацией, вербовал в нее новых членов, обеспечивал безопасность перехода границы савинковских курьеров, провожал и встречал их на советской территории, потом был одним из тех, кто разрабатывал безопасность предстоящего перехода границы и самого Савинкова.

В 1924 году, после провала савинковской авантюры, Лахновский, он же Коновалов, остерегаясь ареста, уехал снова в Сибирь, намереваясь переждать лихое время у старой любовницы — вдовы бывшего члена Томского городского комитета РСДРП, потом провокатора, потом следователя белочешской контрразведки, неизвестно почему кончившего с собой выстрелом в висок, Сергея Сергеевича Свиридова. Но жена Свиридова после самоубийства мужа вдруг вспылала к Лахновскому запоздалой ненавистью, ее жгло непонятное Арнольду Михайловичу раскаяние за супружескую неверность, встретила она бывшего любовника холодным и раздраженным взглядом, что не понравилось ее дочери Полине, которая когда-то, еще будучи костлявой девчонкой, любила забираться к нему на колени. Лахновский щекотал ее в бочок, в животик, и маленькая Полина заливалась от хохота. С июня 1924 года ей пошел девятнадцатый год, она хорошо помнила Лахновского и, услышав недвусмысленный намек матери («Все, что, к сожалению, было, никогда... слышите, никогда я себе не прощу!»), резко обернулась к ней.

— Конечно, Арнольд Михайлович не будет у нас жить. Это к тому же опасно. Надо подыскать в городе какое-то незаметное жилье, я попробую. А сейчас садитесь чай пить.

Полина в тот же день сняла на свое имя комнату с отдельным входом в тихой и сонной части города, перевезла туда свои коробки с платьями.

— Для маскировки, — объяснила она, — а вас пускай считают, если увидят, моим любовником или мужем.

— Зачем же считать? Давайте я на самом деле им буду, — произнес Лахновский, когда она привела его вечером в эту квартиру.

— Ну давайте, — просто сказала она, без всяких эмоций, сняла шляпу, и ее густые соломенные волосы упали на плечи...

Лахновский прожил там с месяц, выходя из комнаты лишь ночью, подышать воздухом.

— А что, Арнольдик, конец, значит, настоящей, человеческой жизни в России пришел? — спросила однажды за чаем Полина. — Отец мой пулю в висок себе пустил. Трус малодушный! Ты вот тоже... под бабью юбку спрятался, выглядываешь оттуда, как мышь из норы. Окончательно вас... нас под свой сапог эти голозадики?

— Видишь ли, — произнес Лахновский и опустил голову, тогда еще не белую, только с проблесками седины. — Я человек маленький, Полина. Но я думаю... Коммунисты сами говорят: революцию совершить трудно, но еще труднее защитить революционные завоевания. Да, это правильно, это мудро... Но хватит ли у них сил защитить завоевания их революции?

Лахновский помолчал, достал папиросу, закурил. Полина складывала в эмалированный тазик с теплой водой тарелки и чайные чашки. Взяла полотенце и, вынимая из тазика посуду, начала ее протирать. При каждом движении домашний халатик на ее плечах туго натягивался.

— Да, хватит ли, спрашивается? — опять заговорил Лахновский. — Вот ты, Полина, представь себе... Россия одна в окружении цивилизованного мира с его высокоразвитой промышленностью, культурой, наукой. А что за душой у этих, как ты их назвала, голозадики? Одна идея, одни лозунги — свобода, равенство, братство... Свобода от чего? От капитала, от эксплуатации, как они говорят. Но чтобы жрать, надо заработать на жратву! Они что, надеются отвыкнуть жрать, что ли? Существует издавна такая байка: один цыган попробовал было отучить лошадь есть. Но что из этого получилось — известно. Лошадь сдохла... А братство и равенство — с кем? С лучшими, образованнейшими людьми России, умом, деятельностью, капиталом которых держалась и стояла великая русская империя? Так этого не получилось и не могло получиться. Частью такие люди, к сожалению, уничтожены их революцией, частью эмигрировали за границу. И капиталы туда переведены. Что ж осталось в России? В бывшей России? Толпы этих голодных голозадики... Но им даже работать негде, пахать землю нечем. Большинство фабрик и заводов до сих пор лежат в развалинах, многие железные дороги бездействуют — взорваны, искорежены железнодорожные пути и мосты, остывшие, проржавевшие паровозы все еще валяются под откосами... Не-ет, мы еще поборемся! И возродим

Россию. Был стихийный взрыв человеческого... Нет, людьми их можно назвать очень условно! Был стихийный взрыв биологического, что ли, бешенства, перед которым мы не устояли. Дикие, темные силы, вырвавшись наружу, забушевали, удержать их было невозможно, как невозможно заткнуть вулкан или утихомирить шторм в океане. Но силы эти иссякли. После кровавого пира наступает тяжелое похмелье. И есть люди, есть силы, которые загонят этих сорвавшихся с привязей скотов в прежние стойла!

По мере того как Лахновский философствовал, красивые ярко-коричневые глаза Полины все расширялись, расширялись. Она перестала моргать, она глядела на Лахновского так, будто увидела вдруг ореол над его головой. А может быть, ей и в самом деле почудился такой ореол. В груди ее образовалась от восторга и благоговения какая-то пустота. Она, бросив тарелки, вытерла мокрые руки, качнулась к Лахновскому:

— Арнольдик! Ты — велик! — задыхаясь, воскликнула она, схватила горячими от воды руками его пальцы, начала их целовать. — Боже, какой ты человек! Что я могу еще — для тебя? Что могу?

Лахновский поморщился от этого неуместного и пошлого эмоционального взрыва, тихонько отстранил ее и встал.

— Вот так, Полина. Отец твой действительно был трус, ничтожество. Его жена, а твоя мать... открыто была моей любовницей, а он даже не имел смелости показать, что знает это...

— Она недостойна тебя, Арнольдик! — с жаром воскликнула Полина. — Она старая, как заезженная кобыла!

Даже он, циник Лахновский (каковым он в душе сознавал себя и считал это вовсе не пороком, а профессиональным достоинством), при этих словах удивленно поглядел на молодую женщину и брезгливо скривил губы. Он хотел возразить, что мать ее не всегда была старой и заезженной кобылой, но вместо этого, расхаживая по комнате, заговорил:

— Мир в конечном счете прост. Есть властелины, есть рабы. Властелинов немного, рабов — тучи. Так было всегда — при фараонах, султанах, царях. Так будет и впредь. Так богом установлено. И какие бы время от времени катаклизмы в обществе не происходили, все вернется на извечный свой круг. И наша борьба поэтому, в том числе и мои скромные усилия, исторически закономерны и справедливы.

Произнося это, Лахновский остановился, сам удивляясь своим словам. Вот до каких философских глубин он дошел! И веря в истинность и правоту своих рассуждений, ощутил вдруг

потребность в таких рассуждениях и продолжал, вышагивая по комнатушке:

— А закономерность и есть закономерность. Она наступает неотвратно... Сколько было в тысячелетней истории России всяческих так называемых народных восстаний и бунтов? Ну скажем, Болотников, Разин, Пугачев... Или девятьсот пятый год? И чем кончилось? Зачинщиков в конце концов сажали в клетки, принародно отрубали им головы, их вешали, их расстреливали. И жизнь входила в извечную колею... А на Западе, там, за границей, сколько было революций, которые вроде бы побеждали?! Но сейчас какова картина? Все осталось по-прежнему. И революцию семнадцатого года ждет такой же конец. Не сумеют они ее защитить, потому что нечем. Эта толпа, следуя беспрерывным призывам Ленина, хочет построить какое-то новое государство. Не удастся, не сумеют они его построить. Управлять всяким государством могут только высокообразованнейшие люди. Ну что ж, в конце концов такие люди и окажутся на всех главных, ключевых постах пусть даже вновь созданного государства. Но это будут наши люди. Сейчас, после смерти этого Ленина, такая благоприятная возможность открывается. И есть в России человек, настоящий лидер и вождь, высокоэрудированный, закаленный в политических битвах, человек благороднейших мыслей и смелых действий...

— Кто? Кто? — воскликнула Полина Свиридова, не спуская преданных глаз с Лахновского.

«Троцкий Лев Давидович», — хотел было сказать Лахновский, но не сказал, удержался. «Зачем ей это знать?» — подумал он.

— И вот если этот человек станет во главе этого вновь созданного государства и, естественно, расставит повсюду своих людей, верных своих помощников, — что ж тогда?

Полина часто заморгала, зрачки ее сверкали, щеки пылали внутренним жаром.

— Ты, ты будешь тогда... тайным советником, министром! — прошептала она. И неожиданно глаза ее переполнились слезами. — И ты меня оставишь, забудешь...

— Ах, боже мой! — Лахновский скривился, как от зубной боли. — Я о серьезнейших вещах, а она... Я спрашиваю — что ж тогда?

— Не знаю, — мотнула Полина космами соломенных волос. — Милый!

— Тогда под звон тех же ленинских лозунгов и призывов... под вой ультрареволюционной фразы... все завоевания семнадцатого года будут потихоньку похоронены! Россия незаметно встанет на благороднейшие буржуазно-демократические рельсы. Ну а там надо будет поглядеть, что с этой демократией делать.

Лахновский примолк, глянул на Полину. Она ничего не поняла и, приоткрыв рот, глядела на Лахновского. «Скажи ей сейчас — зарежься... или зарежь кого-нибудь, хотя бы мать родную, — ведь все сделает. В ней можно слепой фанатизм разжечь до предела», — отметил Лахновский.

— Но это, так сказать, один путь борьбы с революцией семнадцатого года, — вслух произнес он. — Парламентский, что ли...

— А... другой? — все так же тяжело и жарко дыша, спросила Свиридова.

— Другой — более примитивный, хотя, может быть, более скорый. С помощью обыкновенной грубой силы.

— Где ж ее, эту силу, взять?

— Я ж говорил — Россия одна в окружении цивилизованных стран с их мощной индустрией, с могучими армиями. А в России что сейчас? Армия маломощна и беспомощна, кроме царских трехлинеек, у нее ничего нет. Угольные шахты затоплены, электричества нет... И мы будем мешать, всеми силами, насколько у нас их хватит, мешать возрождению и строительству заводов, электростанций, шахт, созданию армии, будем дискредитировать, а где можно — истреблять ленинских фанатиков, преданных его идеям, будем...

— Зачем? — прохрипела вдруг Полина.

— Что — зачем? — не понял Лахновский.

— Мешать... и истреблять. Это все равно так постепенно и долго! Проще ведь и быстрее, если другие страны сейчас пойдут на Россию войной. Раз она беспомощна.

Лахновский с недоумением оглядел Полину.

— Видишь ли, девочка... Это все на словах так просто и быстро. Съесть спелое яблоко можно в две минуты. Но ты подумай, сколько надо труда и времени, чтобы посадить семечко, ухаживать за деревцем, вырастить его, выводить, уберечь от заморозков, болезней и прочих опасностей. Само собой это фруктовое дерево не вырастет и плод не созреет...

Вскоре Лахновский, оставив Полине значительную сумму денег, чтобы она могла на всякий случай сохранить за собой эту уютную и тихую квартиру, уехал в Москву, сказав на прощание с улыбкой:

— Я оставляю тебе деньги на квартиру, чтобы, если понадобится, я мог снова нырнуть, как в нору, и переждать... До возможной встречи, детка!

Но с Полиной Свиридовой Лахновский, ныне штандартенфюрер германских войск СС, больше никогда не встречался, только изредка переписывался.

Жизнь Арнольда Михайловича Лахновского в последующие два десятка лет была пестрой и беспокойной.

Прибыв в Москву, он опять начал работать в аппарате Троцкого на должности, как ее называли, курьера-организатора. Официально он числился каким-то консультантом, на деле же постоянно, каждый раз получая документы на новую фамилию, разъезжал по стране, изучал положение в местных партийных и советских организациях, присматривался к кадрам. Выполняя специальную инструкцию самого Троцкого, действовал очень осторожно: удалось устроить в партийный комитет, в советский или профсоюзный орган, в газету или журнал идейно близкого человека, хотя бы одного, — и то хорошо. Деньги, сколько бы их ни затрачивалось на командировку, уже оправдывались. «Тем более что деньги государственные», — ухмылялся про себя Лахновский.

«Мы разведем партию изнутри, мы должны выполнить нашу роль раковой опухоли. Организм, пораженный раком, обречен на смерть», — любил повторять, как говорили Лахновскому, Лев Давидович Троцкий. Сам Лахновский никогда таких слов от него не слышал да и видел его редко, мельком. Но он был полностью согласен с этими словами, считал их мудрыми, находил в них целую программу борьбы с большевизмом, которая неминуемо должна была привести к победе. Пристально наблюдая за деятельностью самого Троцкого, он отчетливо видел, что тот, не скупясь на громкие слова и лозунги, делает все, что в его силах, чтобы помешать «плану индустриализации», — тянет страну на путь сельскохозяйственного развития. «Масло вместо пушек — правильно! — с тихой радостью и гордостью за «государственный» ум Троцкого думал Лахновский. — Все великое в конце концов просто. От масла можно разжиреть, но революцию вашу вы им не защитите...»

В Москве Лахновский жил на Балчуге, в половине глухого старинного особняка, каждая комната которого была огромной, как вокзал. Таких комнат, обставленных дряхлой старомодной мебелью, оказалось три или четыре, а он один; такая квартира ему была не нужна, но ему дали на нее ордер. Он поселился там, с удивлением обнаружив на другое утро, что по коридору, тоже похожему на вокзал, кто-то ходит. Он выглянул в коридор, увидел древнюю старуху с буклями, в засаленном халате.

— Вы... кто? — спросил он, изумленный.

— Человек. Вероятнее всего — бывший человек, — проскрипела старуха. — Это наш родовой особняк... все, что осталось от нашего состояния. Я живу в той половине, в комнате для прислуги. Я буду у вас уборщицей и кухаркой. В той половине тоже живет один партиец-холостяк. Белокопытов. Я готовила на одного, теперь буду на двоих. Деньги на питание

оставляйте каждый месяц вот в этом ящике. Женщин можете сюда водить сколько угодно, только просите их не визжать, я не выношу визга. По субботам я буду брать из ваших денег на бутылку водки. У Белокопытова я беру по вторникам. Завтрак на кухне.

И это странное существо удалилось куда-то по коридору. В дальнейшем старуха редко попадалась на глаза, а если попадалась, то ничего не говорила. Старуха полагала, что она при первом знакомстве сказала и объяснила все, что нужно, и на обращения Лахновского молчала, как бревно, точно была глуха, нема и слепа.

Но в комнатах всегда было чисто, на кухне каждое утро и вечер стоял горячий чайник и какое-нибудь простенькое второе блюдо — котлеты, гуляш, каша. Первых блюд странная кухарка никогда не готовила.

Собственно, в Москве Лахновский жил мало, с жильцом-соседом тоже никогда не встречался. Но однажды вечером кто-то постучался к нему в дверь.

— Извините, это Белокопытов, — произнес голос за дверью. — Позвольте войти?

— Милости прошу!

Вошел не старый еще человек, но с лысиной над желтым лбом. Поставил на диванчик пузатый портфель. По выправке было видно, что это бывший военный. Он бесцеремонно оглядел Лахновского раскосыми беспокойными глазами, потом щелкнул каблуками сапог.

— Честь имею... Бывший подпоручик Белокопытов. Здравствуйте, Арнольд Михайлович! — Милости прошу, — еще раз сказал Лахновский.

Вслед за Белокопытовым неслышно вошел еще один человек — парень лет под тридцать, встал у дверей, как-то жалостливо опустив одно плечо ниже другого. Глаза у него были голубыми, как майское небо после первого дождя, какими-то слишком добрыми и доверчивыми. Только складки возле губ, резкие и жесткие, заставляли усомниться в добром характере этого человека.

— А это — Алексей Валентик. Значит, Алексей, с ним вот, с Арнольдом Михайловичем, и поедешь в Воронеж.

— Позвольте...

— Сейчас все объясню. Иди, Алексей!

Человек со странной фамилией Валентик вышел так же бесшумно и неслышно, как и появился, а Белокопытов взял свой портфель, вытащил круг колбасы, две банки консервов, кусок севрюги, завернутый в промасленную бумагу, две бутылки водки.

— Извините — познакомимся. Я из того же племени благороднейших борцов за попра-

ную справедливость. Коллега ваш. Прошу, как говорится, официально.

И он протянул удостоверение за подписью Троцкого.

— Вы едете на днях в Воронеж. Вы там неоднократно бывали и, знаю, небезуспешно. У вас много там своих людей в горкоме партии. Надо с их помощью устроить этого парня в Воронежский губотдел ГПУ. Очень важно, очень важно! Среди тамошних чекистов наших нет. Валентик будет первым. По паспорту он украинец. Националист до безобразия. Заметили его добрые и беспомощные голубые глазки? Ширма! Жесток, как Тамерлан, и безжалостен, как Чингисхан. Такие нам нужны. Мне поручено только познакомить его с вами, соответствующие распоряжения относительно этого Валентика вы завтра получите. А теперь не выпить ли нам, чтобы окончательно познакомиться? Водка, продукты — первосортные, из нэпманской лавочки. Неплохое это дело — нэп, жаль, что хиреет, гниет, как сифилитик...

Белокопытов пил водку стаканами, но почти не пьянел, только наливался краснотой да становился еще болтливее.

— Да-с, как сифилитик сгнивает нэп! — после каждого стакана со слезами в голосе провозглашал Белокопытов. — И Россия, великая древняя Россия, тоже заражена, тоже гниет... Она похожа на разграбленный дом, по грязным комнатам которого гуляет холодный ветер, шевелит, гоняет по затоптаным полам обрывки газет, окурки. А ночами по углам комнат спят одичавшие бродяги с уличными проститутками...

Белокопытов мотал головой, всхлипывая, дрожащей рукой хватался за бездонный портфель, извлекая оттуда все новые бутылки. Звякало стекло о стекло, булькала водка.

— Вы пьяны, Белокопытов, — сказал наконец Лахновский. — Довольно.

— Не-ет! Я, знаете ли, уезжаю завтра в город Шахты. Я там, собственно, и работаю. Заместителем главного инженера одной из шахт. Хотя, признаться, в горном деле понимаю столько же, сколько корова в электрическом моторе. Сюда приезжаю редко, за инструкциями, и чтобы вот... — Белокопытов кивнул на бутылку. — Вы там начали, а я продолжаю. Я продолжаю, Лахновский, достойно! В этом году мы сорвем план добычи угля... Простое дело — два-три обвала в выработках, один хороший взрыв... Ну, для маскировки — несколько мелких аварий. Плюс нехватка шахтеров. Бегут они из шахт, как крысы с обреченного корабля. Боятся, испугали мы их! Хорошо! Кто еще не испугался — заживо под землей похороним...

— Давайте, в самом деле, отдыхать.

— Да-да, пора, — согласился Белокопытов, порылся в портфеле среди бумажных обрывков. — Вот, последняя. Я человек приближенный... кое к кому. И я знаю — вашу работу, Арнольд Михайлович, хвалят и ценят. Вас называют специалистом по Поволжью и Уралу. Вы много сколотили там наших групп. В той, новой России, за которую боремся, вы будете иметь жирный пирог. И положение-с!

— Что ж об этом говорить? Пока работать надо.

— Да, работать, — совсем отяжелевший, кивнул головой Белокопытов. Потом почти вплотную приблизил свой желтый, в испарине, лоб к лицу Лахновского. — Разрабатываются новые инструкции... Составляется такой... стратегический план наших действий, нашей борьбы на длительное время... Мы пока, в общем, занимаемся мелочами... Но придет время — и мы начнем активные диверсии, чтобы быстренько развалить, подорвать всю экономику, а также коммунистическую идеологию. Будем физически уничтожать наиболее преданных большевистской идеологии людей... Гражданских, военных — всех! Во всех областях. В крайнем случае всячески их дискредитировать, обвинять во всех грехах. А самый большой грех — идейный. Вы поняли?

— Не очень, — сказал Лахновский, хотя отлично понимал, о чем говорил Белокопытов.

— Есть такая русская поговорка: свалить с большой головы на здоровую. А? Хе-хе-хе...

И Белокопытов вдруг без всякой причины захохотал все сильнее, громче. Он хохотал, запрокинув голову, багровея лицом и шеей до черноты.

— А вы знаете... — вдруг оборвал Белокопытов свой истерический смех. — Вы знаете, что революция застала нашего Льва в Нью-Йорке? Там Троцкий, тогда Бронштейн, редактировал русскую радикальную газетку «Новый мир».

— Нет, — сказал Лахновский, который этого действительно не знал.

— А это символично! — Белокопытов поднял вверх толстый палец, тоже потный. — Это символично! И мы... мы отдадим в борьбе за новый мир, за новую Россию все! Мы никогда не примиримся с тем, что Ленин превратил русскую буржуазную революцию в так называемую пролетарскую... Хе-хе, нет таких — пролетарских революций! Не было еще в истории! Все революции, которые случались, происходили по классическому образцу: переворот — и к власти приходит либеральная буржуазия! Свобода различным политическим партиям, кроме коммунистической. Демократия... И никогда не простим себе, что своевременно не убрали Ленина. Это нам жестокий урок! И мы сделали

из него выводы. Выводы мы из него все вывели... Понял?

Белокопытов вконец опьянел, язык его заплетался, мысли путались. Он еще пошарил в портфеле, но ничего там больше не нашел, со злостью швырнул его на пол, уставился вдруг грустными глазами куда-то в одну точку.

— Да, Арнольд Михайлович, мы не сдадимся, мы... Благодарные соотечественники выкесут... а, черт! — выкесут в граните наши имена! Потому что... Потому что, кто знает, может быть, борьба только начинается. Только начинается... И мы у ее истоков! А? Пионеры! И мы будем в этой борьбе безжалостны, как сам... О-о, я знаю Левку Бронштейна из местечка Яновка, что близ Херсона. Он сразу же приполз из-за границы сюда, как только почуял запах жареного! Что, Лахновский, будет, ты представляешь?!

Лахновский обладал, видимо, меньшим воображением, чем Белокопытов: что будет — представлял себе не очень ясно, да и не хотел тратить на это умственные усилия: он, видя, что Белокопытов упал лицом на груды колбасных шкурок и захрапел, брезгливо поморщился, встал и пошел спать.

Арнольд Михайлович Лахновский если и считался специалистом, то не только по Уралу и Поволжью, он разъезжал со спецзаданиями по всем городам средней полосы России. Относительно Валентика, этого кривоплечего парня с ясными глазами, он действительно получил соответствующие распоряжения, увез в Воронеж, где его через несколько месяцев устроили в губотдел ГПУ младшим оперативным работником.

Благодаря деятельности таких, как Лахновский, троцкистское подполье было организовано почти во всех крупнейших городах страны и в армии. Оно помаленьку действовало, вредило, занималось тем, что доводило до абсурда, до своей противоположности различные добрые дела и начинания. Новых инструкций, на которые намекал Белокопытов, никто не давал; тот стратегический план борьбы, который должен был привести к подрыву экономики страны и развалу коммунистической идеологии, в действие не вступал. То ли эти новые инструкции и планы были еще не выработаны до конца, то ли до Лахновского они не доходили.

А потом начались события вообще непонятные, приведшие Лахновского в ужас. Что случилось в Москве 7 ноября 1927 года, он в подробностях не знал, так как находился в это время в деревне Жерехово неподалеку от Орла, где он два года назад купил небольшой, но уютный домик, стоящий в глухом месте на берегу крохотной речушки, заросшем разнотравьем. Там он уже несколько дней вел переговоры

с представителем германской военной разведки Рудольфом Бергером. Это был довольно шустрый человек неопределенных лет. Бергер в обмен на самую разнообразную информацию «экономического, социально-гражданского, а по возможности и военного характера» предлагал большие деньги.

С Бергером Лахновского познакомил тот же Белокопытов в их особняке на Балчуге, охарактеризовав его как «концессионера некоторых каменноугольных шахт в Союзе». «Концессионер», однако, сразу же объявил, что Лахновский интересен ему не в связи с горным делом, а как человек, много разъезжающий по стране и потому имеющий обширную информацию. Лахновский сразу настроился.

— Кроме того, вы, кажется, успешно изучаете немецкий язык? — улыбнулся Бергер тонкими губами.

— Да, я немножко знал и раньше. Но так... на уровне «Анна унд Марта баден». И вот решил...

— Похвально, — перебил Бергер. — Люди, знающие немецкий язык, язык команд и приказов, будут вскоре очень нужны. Вы меня поняли?

— Да, — сказал Лахновский, действительно понявший, кто таков на самом деле этот «концессионер». — Но я хотел бы ясности.

— Я прекрасно осведомлен о вашей прошлой деятельности. Поэтому и попросил моего друга, господина Белокопытова, познакомить меня с вами. Может быть, нам удобнее будет побеседовать со мной в вашем имении в Жерехове?

Бергер знал и это, хотя, как полагал Лахновский, о его покупке дома в Жерехове абсолютно никому не было известно.

Все вопросы о постоянном сотрудничестве Лахновского с «Отделением III-Б» германской военной разведки были обговорены и решены (включая и предоставление всей известной ему сейчас информации о троцкистском подполье), когда Рудольф Бергер, придя однажды утром к Лахновскому с прощальным визитом, вдруг, шныряя глазами по углам комнаты, сказал:

— Ваш красный Наполеон, кажется, сломал себе шею. И может быть, мы, господин Лахновский, напрасно имели намерение так щедро платить вам.

— Что... случилось что-нибудь? — испуганно воскликнул Лахновский.

— Случилось. Ваш Троцкий седьмого ноября устроил на Красной площади политическую демонстрацию, за которой должен был последовать, кажется, государственный переворот. В этом смысле да, случилось. Но больше ничего не случилось. ОГПУ было начеку...

Бергер перестал бегать глазами, уставился на Лахновского — будто змея прицелилась.

— Русские чекисты начеку? Это как называется? Каламбур, что ли?

Лахновского прошиб пот.

— Этого не может быть! Откуда у вас эти сведения? Вы это... точно знаете?

— Сведения у меня всегда точные. Запомните это, господин Лахновский, — холодно произнес Бергер. — А если они у меня будут неточными, рассчитывать будем уже не мы с вами, а вы с нами...

— Боже, боже! — простонал Лахновский.

— Не беспокойтесь, — понял его по-своему Бергер. — Уговор наш относительно вознаграждения остается в силе. Уговор дороже денег. Это пословица или поговорка?

Лахновский молчал, как пришибленный. Бергер произнес:

— В Москве вам вряд ли целесообразно сейчас появляться.

И, не прибавив больше ничего, ушел.

Лахновский, несмотря на предупреждение Бергера, все же решил поехать в Москву. Бывшая хозяйка особняка встретила его широко открытыми от страха глазами.

— Вы с ума сошли?! Убирайтесь! В Москве аресты... Я понимаю, вы приехали из любопытства. Белокопытов три дня назад тоже приехал из любопытства. Его тут и арестовали... И между прочим, спрашивали, кто живет в этой половине. Кажется, вас они особенно не знают, но обыск произвели. И хотя, как я заключила, ничего не нашли — уезжайте от греха! Возьмите свежее белье!

Эта старуха-полуидиотка, как Лахновский убедился, при надобности могла рассуждать очень здраво.

— Нетерпеливы вы! Ах, какие вы нетерпеливы! — сожалеючи говорила она, когда Лахновский, схватив портфель, стал засовывать туда белье. — Плоды не созрели, а вы уже трясите дерево. Мой муж-покойник был пошляк и развратник. Но даже он понимал... и у него была поговорка: пока девочка не загорелась, нет смысла ее раздевать.

— Опять поговорка?! — окрысился Лахновский. — Отстаньте со своими поговорками!

Старуха ничего не поняла, но не испугалась. Она только вытянула в гнев морщинистую шею, так вытянула, что сквозь дряблую кожу проступили жилы.

— Вы невоспитанны, сударь, — прохрипела она. — И глупы.

Лахновский в ту же ночь, добравшись на извозчике до вокзала, уехал в Воронеж к Валентике. Тот не особенно радостно встретил Лахновского, но отправил его к своим престарелым родителям в Куростень. Там Лахновский ме-

сяца через полтора с помощью отца Валентика устроился кладовщиком железнодорожного угольного склада.

До самого конца 1934 года Лахновский, напуганный исключением Троцкого из ВКП(б) и высылкой в Алма-Ату, а затем и выдворением его из СССР, жил, притаившись, в этом Коростене, маленьком тихом городишке, безбедно существуя не на зарплату, а на деньги, аккуратно присылаемые Бергером. Непостижимо было, откуда тот узнал о местонахождении Лахновского, непонятно, за что какие-то неизвестные люди передавали ему значительные суммы, ничего не требуя взамен, только вежливо интересуясь иногда, как у него идет изучение немецкого языка.

Собственно, боялся Лахновский не только того обстоятельства, что разоблачен сам Троцкий. Приезжавший время от времени в отпуск к родителям Алексей Валентик, прочно и надежно обосновавшийся среди воронежских чекистов, много рассказывал о шахтинском судебном процессе 1928 года. Волей случая, а может быть и специально, он был командирован в Донбасс и принимал участие в следствии по делу шахтинских диверсантов и вредителей.

— Кое-кого спасти удалось... Но не всех. Твоя фамилия, Арнольд Михайлович, тоже всплывала кое-где. Ты ведь там начинал. Но удалось, в общем, из всех протоколов допроса ее исключить. Особенно из допросов Белокопытова.

— Вон как! — выдохнул Лахновский.

— Да, мерзкий тип оказался. Все выложил было. Но... погиб при попытке к бегству.

— Спасибо, спасибо, Алексей! — в волнении повторял Лахновский.

— Ну как же... Долг платежом красен.

Неизвестно, на что намекал этот Валентик: с издевкой ли говорил о том обстоятельстве, что именно Белокопытов свел его с Лахновским, благодарил ли Лахновского за устройство его в Воронеже? Или, может быть, опять же непонятным образом, узнал о состоявшейся однажды встрече его, Лахновского, с Бергером, об их договоренности и об интересе того немца к русским пословицам и поговоркам?

Последнее, как с ужасом подумал Лахновский, было вернее всего, потому что Валентик вдруг спросил:

— Я гляжу, роскошно живешь. Деньга в кармане бренчит. Откуда?

— Дом в Жерехове продал.

— Не ври! А впрочем, какое мне дело! Но весь вопрос в том, что я в тисках... Костлявая рука безденежья. Не выручишь ли? Ну, скажу по секрету, с женщинами в Москве поиздержался. Грешен я на этот счет. А в Москве часто приходится бывать по служебным делам...

Валентик говорил это негромко и все поглаживал кривое плечо ладонью, и Лахновский вдруг впервые подумал, что этот человек страшен.

— Хорошо, я выручу... в долг. Сколько?

— Тысячи полторы для начала.

Это была ровно половина той суммы, которую Лахновский только что получил от Бергера.

— О-о! — невольно вырвалось у Лахновского. И поняв, что скрывать что-либо от этого человека бесполезно, в упор спросил. — А ты, Алеша, не с огнем играешь?

— Ну, — усмехнулся тот, все продолжая поглаживать плечо. И вдруг произнес на чистейшем немецком языке, заставив Лахновского окончательно онеметь: — *Wir alle tanzen um den brennenden Holzstoß. Die Frage besteh nur darin, wer verbrannt wird und wann!*

До самого конца тридцать четвертого Лахновский аккуратно переводил Валентiku или вручал при встречах половину сумм, получаемых «от Рудольфа». Тот принимал деньги молча, как зарплату, и никогда не благодарил. За эти годы Лахновский, кроме самостоятельного изучения немецкого языка, ничем не занимался, от безделья несколько обрюзг, стал все чаще попивать водочку. Еще в начале тридцатого стал жить с молоденькой смазливой Леокадией Шиповой, появившейся вместе с Валентиком в очередной его приезд. Валентик уехал, а Лика эта осталась, в первую же ночь пришла к Лахновскому, бесцеремонно залезла к нему под одеяло. Была эта девица, несмотря на свою молодость, до того испорчена, что Лахновский даже в темноте краснел.

Отношения с Ликой заставили вспомнить Полину Свиридову. Он написал ей с просьбой ответить ему до востребования, сообщить все новости. Она ответила и, рассказывая подробнейшим образом о том, кто работает теперь в Новосибирском обкоме партии и облисполкоме, упомянула фамилию Полипова. Боже мой, жив курилка! Лахновский так обрадовался, будто получил известие о своем искреннем и добром друге. Но как же он и что он?!

Об этом, естественно, Полина не писала, потому что ничего о его прошлом не знала и знать не могла. Она жаловалась, что живет одна, мать болеет и скоро, наверное, помрет, а как ей дальше жить, на что жить — тоже не знает.

И тут у Лахновского мелькнула мысль: а чем не муж для нее Полипов Петр Петрович, если он еще не женат? И он написал дочери Свиридова подробнейшее письмо... Через некоторое время она ответила, что на всю жизнь благо-

дарна Лахновскому, что она теперь не Свиридова, а Полипова, что муж «помнит вас, Арнольд Михайлович, только зеленеет при одном вашем имени».

«Зеленей, Петр Петрович, но помни, ты, брат, давно и прочно сел на крючок и, может быть, еще пригодишься», — с улыбкой подумал Лахновский.

В конце 1934 года Валентик приехал в Коростень с новой девицей, но с ней же и уехал в Крым, получив от Лахновского очередную сумму денег.

Эта дань Алексею Валентiku была последней. Вскоре к Лахновскому в заснеженном пристанционном сквере подсел на скамейку неизвестный субъект, похожий на рабочего, и тихо проговорил:

— Слушайте меня внимательно... По нашему заданию Алексей Валентик, ну и некоторые другие наши друзья... уберегли вас от разоблачения по шахтинскому делу. Скажу более — все, кто как-то и каким-то образом знали вас или что-то о вас, расстреляны по приговору или ликвидированы в заключении, так что теперь вы вне всяких подозрений... Мы дали вам несколько лет пожить вдали от шумных мест и беспокойных дел, чтобы оборвались или, в крайнем случае, забылись все ваши прежние знакомства и связи. Да и обстановка сейчас в СССР — я имею в виду режим ОГПУ — несколько изменилась. Кстати, ОГПУ в конце только что минувшего года было переименовано в НКВД.

— Слышал, — впервые подал голос Лахновский. — Что же с того?

— Ничего, если не считать, что вместо Менжинского, этого большевистского фанатика, своевременно скончавшегося от сердечного приступа, наркомом внутренних дел стал некий неудачливый унтер-офицер царской армии Ягода. Цели у Ягоды, судя по всему, несколько иные, чем у нас... Но может быть, мы найдем общий язык.

Пришелец говорил вещи чудовищные. «Вон какие дела делаются!» — изумленно думал Лахновский. Но раз этот пришелец сообщал ему такие вещи просто и спокойно, будто информируя о ценах на местном базаре, значит, Лахновскому доверяют и, видимо, хотят допустить к самому центру борьбы против большевизма и поручить очень важный и ответственный участок этой борьбы.

От такого предположения Лахновский радостно млеет, переполнялся нетерпением.

— Да, обстановка, чем при Менжинском, — продолжал меж тем пришелец, — короче говоря, вы теперь будете служить великой Германии в но-

¹ Все мы вокруг костра приплясываем. Весь вопрос в одном — кого и когда обожжет.

вом качестве. Здесь вы отлично внедрились, считаетесь старожилом. Прекрасно. Лучшего резидента, как надеется Рудольф Бергер, не найти.

— Резидента? — полушепотом воскликнул Лахновский, несколько разочарованный и испуганный.

— Спокойно... Коростень — крупный железнодорожный узел. Но основным объектом деятельности засылаемых сюда, к вам, агентов будет Киев... Время от времени вам придется бывать в Германии, в Берлине. Первая поездка должна состояться в ближайшие дни, во время вашего трудового отпуска. Ну, а... работник НКВД господин Валентик вас беспокоить больше не будет.

Втыкая острие своей железной палки глубоко в сухую землю, Лахновский, прихрамывая на правую ногу, медленно шел по темной сельской улице.

Вечер был тихий, только очень душный. Небольшая деревушка Шестоково казалась вымершей, нигде ни огонька, ни звука, хотя по домам, уцелевшим после артобстрелов двухгодичной давности, когда фронт неудержимо катился на восток, было расквартировано около двухсот солдат так называемой «Освободительной народной армии» (Лахновский создал ее еще в ноябре 1941 года, когда он только-только был назначен бургомистром Жереховского уезда), все службы разведывательного органа «Абвергруппы 101-ЦВ Виддер» и небольшой немецкий гарнизон при нем.

Жизнь каждого солдата из «Освободительной народной армии», которая на деле представляла самый обыкновенный полицейский отряд, зависела от его слова, от его каприза. Да и «Абвергруппа 101», которой руководил Рудольф Бергер, фактически подчинялась Лахновскому, потому что без его содействия не могла перебросить за линию фронта ни одного агента, даже внедрить своего человека в какой-нибудь паршивенький партизанский отряд не могла. Да, как меняются времена! Когда-то этот Бергер — циник и духовный импотент — в бытность Лахновского резидентом германской военной разведки в Коростене, слал ему из Берлина инструкции и требовал отчетов, а во время кратких вызовов в Берлин покровительственно хлопал по плечу и несколько раз, понимая, что Лахновский идет в гору, приглашал даже на свою загородную виллу, где ему противно-приторно улыбались его тяжеловесная жена и дочь, такая же, как мать, толстоногая и пышнотелая, только калибром поменьше. Потом Бергер на чем-то крупно погорел — кажется, кто-то из дальних родственников его жены

оказался то ли румынским цыганом, то ли венгерским евреем — и был, еще из милости, послан шефом «абвер-аусланда» Канарисом, то есть самим начальником группы «Заграница» управления разведки и контрразведки при главном штабе германских вооруженных сил, на незначительную работу в Польшу. Там перед войной с Россией и была организована «Абвергруппа 101» при разведоргане «Виддер», что по-русски означало просто-напросто «баран». Начальником этой группы был назначен Бергер. Группа действовала сначала на Украине, потом была переброшена на Орловщину и обосновалась в Жерехове. Встреча Лахновского и Бергера была натянутой и неловой, хотя оба изо всех сил изображали радость.

— О-о, господин оберфюрер! — непрерывно выкрикивал Бергер. — Я слышал, слышал о ваших грандиозных успехах в Коростене и Киеве после того, как я... был направлен в Польшу. Ваши агенты хорошо поработали перед началом русской кампании. За сведения о состоянии Красной Армии на Украине, я знаю, вам был присвоен чин подполковника. А за что вам дали полковника?

— Видите ли, — неопределенно отвечал Лахновский, — новые времена, новые задачи...

— Да, да... А я всего лишь зондерфюрер, то есть капитан. Мне не везет, надо мной висит проклятье. Как говорит известная русская поговорка, счастливый — к обеду, а неудачник — под обух.

— Фюрер всех награждает по заслугам, — насмешливо сказал Лахновский.

— О да! — растерянно вымолвил Бергер.

— Так что старайтесь, — еще сильнее ударил Лахновский. — И вы свое получите.

— Хайль Гитлер! — рявкнул начальник абвергруппы, выбросив вперед руку и громко ударив каблуками сапог.

Больше года они, в общем-то, жили мирно и на первый взгляд даже дружно. Лахновский был обязан силами своего полицейского отряда, носившего название «Освободительная народная армия», обеспечивать безопасность абвергруппы, оказывать помощь во всех ее делах, то есть фактически был поставлен в подчинение Бергеру. На деле же все было наоборот: Бергер никогда ничего не требовал, а униженно просил, он боялся Лахновского, потому что без него в этой проклятой русской стране с ее необозримыми просторами и зловещими густыми лесами был беспомощен, как слепой котенок.

Лахновский, будучи всей своей карьерой у немцев обязанным Бергеру, тем не менее испытывал к нему глубочайшее презрение и в душе был рад его неудачам. «Разведорган называется баран, и «Абвергруппой 101» ру-

ководит баран», — частенько издевался он про себя, но внешне оказывал Бергеру все знаки внимания: поселил его в Жерехове в просторном и удобном доме и даже поинтересовался, не нужна ли ему, как говорится, мужчине в соку, скромная и чистоплотная женщина.

— О-о, — вскинув брови, улыбнулся Бергер. — Если она к тому же красивая...

Лахновский все эти годы держал при себе Лику Шипову, но по физической неспособности, наступившей еще перед войной, уже не жил с ней. Она была теперь при нем служанкой, содержательницей дома, но он побаивался, что Лика, эта красивая молодая женщина с белозубой улыбкой, однажды его отравит, поэтому сквозь пальцы смотрел на то, что она хватала свое где и когда только было возможно. Он уже начал подумывать, как от нее избавиться. А тут подвернулся Бергер, и Лахновский объявил Лике, что отпускает ее к зондерфюреру.

— Спасибо! — захохоталась от радости Лика.

— Не просто отпускаю тебя, — усмехнулся Лахновский. — Будешь докладывать мне о всех его делах и разговорах.

— Конечно... Я постараюсь, — проговорила она, и Лахновский почувствовал, что ей это не понравилось.

— И гляди у меня! Со мной шутки плохи, — предупредил Лахновский. — Собирайся...

С тех пор Шипова жила при Бергере. Они, кажется, остались довольны друг другом, потому что на другой же день Бергер, завернув в бургомистрат, распылился в улыбке:

— О-о, фройлин Ликия! Оч-чень, действительно, скромная девушка. Большое спасибо, господин оберфюрер!

Мертвая тишина, висевшая над деревушкой, действовала на Лахновского удручающе. Он боялся ее, потому что понимал: в любой момент она может взорваться и кончиться так, как кончилась нынешней весной в Жерехове... Почти два года Жерехово было глубоким тылом, два года стояла над этим большим селом, бывшим районным центром, вот такая же тишина. За два года два раза два или три в ближайших окрестностях появлялись партизаны — и все. После незначительных перестрелок они скрывались в глубь лесов. Лахновский со своим отрядом и приданным небольшим немецким гарнизоном контролировал весь уезд, был полновластным хозяином, наладив образцовый оккупационный режим. Правда, усмехнулся мрачно Лахновский, такая идиллическая картина рисовалась всегда лишь для начальства. На самом деле «образцовый оккупационный режим» был далеко не образцовым. Все леса близ Жерехова кишели

проклятыми партизанами. И если само Жерехово они оставляли в относительном покое, то близлежащие села и деревушки были фактически под их контролем. Партизаны могли объявиться там днем и ночью, получали от местных жителей различную информацию и помощь. Советской власти в уезде формально не было, но фактически она существовала, и Лахновский ничего не мог с этим поделать. Он менял старост, а они сплошь и рядом были связаны с партизанами и работали на них. Он вербовал из числа стариков и подростков полицейских, но они в большинстве своем становились партизанскими пособниками, разведчиками. Не помогали публичные расстрелы, не возымели действия карательные акции против некоторых деревень, когда сжигались все дома, уничтожались все жители поголовно, включая детей. Наоборот, это только усиливало злобу и ненависть к оккупационным властям.

И все-таки жизнь в Жерехове была более или менее спокойной до самого начала сорок третьего года, пока советские дивизии оборонялись где-то далеко-далеко за Орлом и Курском. Но прошедшей зимой почти все русские фронты двинулись в наступление и всюду значительно потеснили немецкие войска. Лахновский каждое утро лихорадочно включал радиоприемник, слушал немецкие, потом русские сообщения с театра военных действий. Немцы бахвалились, что-то упрямо и бодро твердили не об отступлении, а выравнивании фронтов. Но это «выравнивание» привело к тому, что восьмого февраля русские отобрали назад Курск, над Жереховом стали появляться советские самолеты, в марте, где-то в самом начале, впервые послышался отдаленный гул русских пушек, а пятнадцатого на улице, как раз перед домом, в котором он, Лахновский, жил, разорвался снаряд.

На другой день в Жерехово вкатились отступающие немецкие части, начали возводить вокруг села оборонительные сооружения. Из главного штаба «Виддера» пришло распоряжение «Абвергруппе 101» эвакуироваться подальше в тыл, в деревню Шестоково, а ему, Лахновскому, вместе со своей «Освободительной народной армией» обеспечивать в пути охрану и безопасность имущества этой разведгруппы и на новом месте всячески содействовать ее работе. Одновременно Лахновский назначался «комендантом полицейского гарнизона» в селе Шестоково. А какой там гарнизон? Кроме плюгавого старосты по фамилии Подкорытов да трех-четыре полицейских, гарнизона никакого не было. Да и не нужно было. В Шестокове — всего-то полсотни уцелевших домов, половина из них пустуют, в других — дряхлые старухи, угрюмые, какие-то уродливые женщины да де-

сятка два изможденных ребятишек при них. Вот и все население.

Лахновский, шагая по середине улицы, с ненавистью глядел на молчаливо стоявшие в темноте дома. У него почему-то родилось и жило в душе чувство, что эти невзрачные деревенские здания вовсе и не дома, а какие-то неуклюжие и враждебные ему существа, притаившиеся во мраке, готовые, едва он к ним приблизится, рухнуть на него, раздавить, уничтожить. Лахновскому хотелось запереть намертво двери каждого дома, наглухо забить каждое окно, а потом облить керосином, поджечь, самому стоять и слушать, как стонут и воют запертые в горящих домах эти дряхлые старухи, безобразные женщины и их дети, похожие на живые скелеты. «Что ж, может быть, вскоре так и произойдет», — мрачно думал он. Это будет месть не этим старухам и женщинам, а всему человечеству. За что? А за то, что жизнь на земле идет не туда, куда хочется Лахновскому. Ему хочется, собственно, не очень многого. Хороший большой дом с колоннами, просторная усадьба с хорошим садом, устроенным на английский манер, с большим живописным прудом или озером, в воде которого отражался бы его дом. Несколько десятков слуг, готовых по одному его слову броситься в огонь и воду. Немного земли, примерно с Жереховский уезд, которая принадлежала бы только ему... Так в доброе старое время жили русские помещики. Он, родившийся на Волге, в семье юриста, пошел тоже по этой части. Наследство от умерших родителей было невелико, Лахновский стал служить, уехал в Сибирь, где легче было скопить капитал. Что ж, он там хорошо потряс разных толстосумов, когда они сами или их сынки и дочери попадали в неудобные обстоятельства. Тот же новониколаевский купчишка Полипов, когда сын его связался с местными социал-демократами, хлопоча за отпрыска, отвалил Лахновскому немалый кусок. Он умно повел дело: и деньги взял, и из сына его сделал полезного для себя человека. Живя в Коростене, да и потом, когда уже шла война, Лахновский иногда ни с того ни с сего вспоминал почему-то Петра Петровича Полипова. Где-то он сейчас, что подельывает? Война, может, и воюет, хотя вряд ли. Скорее всего, сидит в глубоком тылу в должности какого-нибудь районного начальника...

И вдруг сегодня Лахновский узнал, что курлика жив, что он недалеко, недавно назначен редактором газеты одной из дивизий, воюющих под Орлом.

Лахновский остановился, еще раз с ненавистью оглядел угрюмые, притихшие дома. И пошел дальше, размышляя уже не о Полипове, а о том, что после семнадцатого года мечта приобрести усадьбу лопнула, как мыльный

пузырь. Деньги он заблаговременно успел превратить в ценности. Долгие годы потом он жил, как судьба определила, и судьба эта, как казалось, была благосклонна к нему, она выводила его год за годом к старой и неумирающей мечте. И хотя в высокие сферы, к центру борьбы против большевизма его не допустили и мечты его об этом, как он вскоре и понял, просто наивны, все же труд его и преданность ценнили, перед войной он получил звание подполковника. Началась война, и поместье, о котором он бредил всю жизнь, было обещано немцами. Где-нибудь на берегу Волги или Днепра. Правда, из органов военной разведки его перевели в войска СС и, повысив в чине, назначили всего-навсего бургомистром жалкого и нищего Жереховского уезда...

— Фюрер и Германия вам доверяют, господин штандартенфюрер, — сказал ему высокопоставленный длинноносый чиновник в городе Орле. — В Жерехове вы должны создать образцовый административный округ со своими полицейскими силами, чтобы мы могли рекламировать его как образец нового порядка в будущей России. Отправляйтесь к месту службы! Там есть небольшой воинский гарнизон, на первых порах он вам поможет. Жерехово это вам знакомо, до войны там у вас была недвижимая собственность, не так ли?

— Да, я владел небольшим домиком, — растерянно сказал Лахновский.

— Владейте теперь всем уездом, — сказал равнодушно и казенно немец. — Да... полковничью форму рекомендую надевать только во время вызовов к вышестоящему начальству. А в Жерехове... не стоит раздражать население. Все и без того будут знать, что вы полковник. Вам все понятно?

— Так точно, — сказал Лахновский, все действительно сразу поняв. Полковник! Какой он, к черту, полковник?! Он старик, немцы выжали из него все, что можно, теперь он им не нужен.

Это было в ноябре сорок первого. Сейчас июль сорок третьего, Орел еще у немцев, но Курск снова у русских, в первых числах июля начались сражения на Курском выступе, пока немецкие войска чуть продвинулись вперед, снова, кажется, отбили Жерехово. Но, судя по всему, скоро немецкое наступление выдохнется, большевики решили, видимо, во чтобы то ни стало освободить Орел. А за Орлом недалеко и Шестоково. Того и гляди, и на этой улице разорвется русский снаряд, а в его кабинете, как в Жерехове, посыплется стекла из окон. Вот тебе и владейте...

Лахновский стоял перед большим, на два входа, домом, в котором жил Бергер. Самого начальника абвергруппы в Шестокове не бы-

ло — вчера утром он был срочно вызван в Орел, где находился главный штаб «Виддера».

— Прощайте, господин оберфюрер, — мрачно произнес тогда Бергер, сделав откровенно издевательский акцент на последнем слове: какой, мол, ты полковник, фикция одна.

Уже остывающая в венах у Лахновского кровь закипела, большими толчками начала колотиться в череп. И он, сдерживая себя, чтобы не ткнуть своей страшной тростью ему в грудь, ровным голосом произнес:

— Почему же «прощайте»? До свидания. Может быть, вас вызывают, чтобы вручить наконец погоны майора.

— О-о! — произнес Бергер свое обычное, по достоинству оценив ответ. И с угрюмой усмешкой сказал: — Ах, господин Лахновский... вы полковник, я всего лишь капитан. Но разницы между нами нет — мы оба неудачники. У русских есть вот такая поговорка: искал дед маму, да и попал в яму. Или это поговорка? Я, знаете, никак не могу понять между ними разницы.

Кровь в жилах у Лахновского остыла. Именно неудачники, прав Бергер, и чего тут обижаться друг на друга, обливать друг друга насмешками?

— Поговорка, Рудольф. У русских на любую тему много поговорок, — глуховатым голосом сказал он. — А на эту нашу с вами тему я знаю еще одну: вожжи в руках, да воз под горою. Увы...

— Да, да. Под горою... Я боюсь, Арнольд Михайлович, что в «Абвергруппу» больше не вернусь. Потому и говорю на всякий случай «прощайте».

Да, Бергер мог не вернуться, дела у него были из ряда вон плохи. «Абвергруппа 101» должна помимо разведывательной работы против частей Советской Армии на противостоящем фронте вести борьбу с партизанскими отрядами, засылать туда своих агентов, выявлять оперативные планы партизан, парализовать их действия на главных коммуникациях к фронту, осуществлять убийства партизанских командиров. Но какие там, к черту, убийства и выявление оперативных планов, если агентов из местного населения завербовать невозможно, мужского населения попросту не было. Правда, какое угодно количество людей можно было взять из лагерей для военнопленных. Но не многие из них соглашались стать немецкими агентами. А те, которые соглашались и проходили в учебном пункте соответствующую подготовку, а затем засылались в партизанские отряды и воинские части противника, чаще всего не подавали больше голоса. Значит, они были или разоблачены, или, что вероятнее, медленно являлись к своим с повинной. Воз-

вратившихся же в «Абвергруппу» с выполненным будто заданием можно было смело расстреливать без суда и следствия — девяносто девять процентов из них были уже советскими агентами.

— Проклятая страна, здесь все не как у нормальных людей! — кипятился Бергер, сильнее обычного бегая глазами. И он без колебаний расстреливал любого возвратившегося агента, если на того падало хоть малейшее подозрение в измене. Но застрелить агента было легко, найти и подготовить нового не так просто...

Леокадия Шипова, отданная в наложницы Бергеру, исправно информировала Лахновского о всех делах начальника абвергруппы. Не так давно она сообщила, что ночью Бергеру звонили из Орла, из главного штаба «Виддера», интересовались, нет ли у него «преданного человека из русских, очень преданного». И добавила от себя, что, видно, очень уж им нужен для чего-то такой человек, раз позвонили глубокой ночью и говорили открытым текстом.

Лахновский усмехнулся и стал ждать. Где возьмет Бергер такого человека? Он обязательно обратится к Лахновскому.

И Бергер действительно обратился.

— Дорогой Арнольд Михайлович! Дважды звонили из Орла... И официальный запрос прислали. Нужен очень преданный нам русский для какого-то важного задания.

— Какого же?

— Не знаю. Очень важного. И где-то, как я понял, глубоко в тылу России. Этот русский должен быть человеком грамотным, безусловно чистым перед советскими властями, а главное, беспредельно преданным рейху. Одно задание — и он сделает себе жизнь.

— О-о! — произнес Лахновский с интонацией Бергера. — А я не гожусь для этого задания? Я — преданный.

— Значит, не годитесь, — желчно проговорил Бергер. — Как я понял, таким человеком интересуются из самого Берлина. А вы, что же... вы там известны.

— Сожалею, но ничем не могу вам помочь, — с подчеркнутой вежливостью сказал Лахновский...

Вокруг дома Бергера ходили четверо часовых — двое в одну сторону, двое в другую. Левая половина дома казалась нежилой, а сквозь закрытые оконные ставни правой, где жила Шипова, проливались струйки света.

Часовые были из «армии» Лахновского, из взвода охраны, и когда он, опираясь на трость, шагнул к крыльцу, охранники взяли на караул.

Из-за угла дома вышел командир этого взвода, а сегодня дежурный по гарнизону Федор Савельев, мужчина лет под пятьдесят, ро-

дом из Сибири. Он был хмур, небрит, форма на нем сидела мешком и была измята и измазана, будто он валялся в дорожной пыли. Тяжелый вальтер в кобуре оттягивал ремень, обезображивая фигуру. Все это Лахновский увидел, осветив его карманным фонариком.

— Что за вид, лейтенант Савельев?!

— Посты проверял, везде пылица, такая сушь стоит, — буркнул тот. От него паховало спиртом.

— А ну-ка дыхните! — строго приказал Лахновский.

— А-а, — отмахнулся Савельев.

— Я запретил пьянствовать! В любой момент могут напасть партизаны!

— Ну чего разоряться-то? Не нападут...

Этот Федор Савельев служил у него уже около полугода и был единственным, кто не боялся Лахновского и его трости. Он был прислан к нему еще в Жерехово с группой солдат из орловской «зондеркоманды», устроивших пьяный дебош в городском публичном доме, во время которого они переломали всю мебель, перебили зеркала, а потом принялись со второго этажа выбрасывать в окна девиц этого заведения.

— Хороши-и, — протянул Лахновский, оглядывая неожиданное свое пополнение. — Публичного дома у нас нет. Поэтому свой буйный нрав вы можете показать только в бою. Как раз скоро нам предстоит ликвидировать одну партизанскую группу.

На ликвидацию они отправились где-то через неделю, но сами попали в партизанскую засаду, и Федор Савельев спас жизнь Лахновскому — выволок его, раненного в ногу, в безопасное место.

На другой же день Лахновский присвоил ему звание лейтенанта и назначил командиром взвода охраны, который формально охранял штаб «Освободительной народной армии», а фактически его персону. Несмотря на такую милость, Савельев нахально, почти на его глазах, начал приставать к Леокадии, и однажды, вернувшись под утро от Бергера домой, Лахновский застал командира взвода охраны в постели Леокадии. Лахновский не был этим оскорблен, он взбесился от мысли, что кто-то валяется в постели, а вот он, старый и немощный старик, должен в это время вместе с тупицей Бергером без конца допрашивать вернувшегося от партизан агента Метальникова, чтобы выяснить, не перевербован ли он, можно ли доверять ему дальше. А черт его знает, перевербован или не перевербован! Вроде бы нет, жаден до денег, немцы платят хорошо, обещают еще больше в дальнейшем, а русские ничего не платят, ничего не обещают. У них за идью работают, а для чего Метальникову, сыну бывшего пензенского

купца второй гильдии, их идеи? Хотя черт его знает, в душу никому не влезешь. Не верит Бергер ему — хлопнул бы из пистолета, и дело с концом. Нет, видите ли, нового агента подобрать трудно, внедрить еще труднее, мол, надо и дальше использовать этого, если он честен. Путали, путали Метальникова, да сами запутались, начали молотить уж черт-те что, Метальников только глаза округлял от изумления. А тут — Савельев... И Лахновский, видя, что у Федора нет никакого оружия в руках (форма и кобура с пистолетом лежали на диване у противоположной стены), подняв свою страшную трость, двинулся к кровати. Из под одеяла, болтая грудями, с визгом метнулась ему навстречу Леокадия, упала на колени, обхватила его грязные сапоги. Лахновский пинком отбросил ее прочь. Федор же, несмотря на то что Лахновский стоял у кровати с нацеленной в грудь тростью, лишь усмехнулся устало, как-то вяло махнул рукой и лениво зевнул, не проявляя ни малейшего признака страха или желания защищаться.

Это настолько изумило Лахновского, что рука с поднятой тростью замерла.

— Ты, ты! — захлебнувшись от гнева, проговорил он. — Как ты смел?! Убью!

— Ну и что же, — опять усмехнулся Федор. — Здесь ли, в кровати твоей шлюхи... Или в лесу от партизанской пули...

— Что-о?!

Это безразличие к смерти, и даже не безразличие, а явственно прозвучавшее в словах откровенное желание поскорее ее принять, еще больше ошеломило Лахновского. Он опустил руку с тростью. Тогда Савельев встал с кровати, натянул брюки, короткополый мундирчик серо-зеленого цвета, сапоги, взял ремень с пистолетом, застегнул его, опустился на диван и стал закуривать. Лица, обернутая в простыню, нелепым столбом торчала в углу.

Лахновский сел на еще теплую кровать и спросил напрямик:

— Жжет, что ли, что своим изменил?

Федор поднял на него тяжелые глаза, сплюнул кисло на чистый пол, который каждый день мыла хозяйка этого дома, живущая сейчас где-то в курятнике — немолодая, вечно молчащая баба.

— Свои — как старые варежки... На руку наденешь, а пальцы голые.

— Как это понять?

— А так и понимать, как говорится. Другого смыслу нету.

Он бросил под ноги недокуренную немецкую сигарету, растер ее сапогом. Хрипло произнес:

— Не бойтесь... Мои грехи теперь ни поп, ни тем более Советская власть не отпустит.

«Действительно, не отпустит», — подумал тогда, подумал и сейчас Лахновский, стоя возле дежурного по гарнизону. Из дела бывшего военнопленного, потом солдата 1-й роты «Группы по оформлению управления на оккупированной территории» орловской «зондеркоманды», а ныне лейтенанта «Освободительной народной армии», из многочисленных протоколов допросов Лахновский знал, что Федор Силантьевич Савельев, сдавшийся добровольно в плен в конце октября 1942 года под городом Нальчик, родом из Иркутской области, уроженец села Михайловка. Он был старшим сыном михайловского «землевладельца и торговца» Силантия Лукича Савельева, активно боровшегося в годы гражданской войны против Советской власти, поиманного потом партизанами и расстрелянного ими. После казни отца Федор ушел с остатками отцовского отряда в тайгу, возглавил этот отряд и «боролся с большевиками и сельсоветчиками» до конца 1923 года, когда его отряд был выслежен, окружен и уничтожен, а сам он под видом бродячего сапожника пробрался на Алтай, где поселился в деревне Кружково на постоянное жительство. Через несколько лет поступил на курсы механизаторов при местной МТС, то есть машинно-тракторной станции, стал комбайнером, каковым и работал вплоть до войны и призыва в Красную Армию. Был женат, жену звали Анна Михайловна, девичья фамилия Кафтамова, родом она была из этого самого Кружкова, из бедняков, померла в сороковом году от какой-то женской болезни, вследствие которой детей у них не было... Далее шли короткие справки об участии Савельева в различных карательных акциях против партизан и сочувствующего им населения, различные характеристики, все — положительные.

Когда Савельев появился в Жерехове, на фамилию его Лахновский внимания не обратил, а когда ознакомился с делом, что-то его заинтересовало. Савельев, Сибирь... Вспомнилась следственная камера при Томской городской жандармерии, случайно арестованный надзирателем Косоротовым (где-то сейчас этот прелюбопытнейший экземпляр человеческой породы, этот скот, жив ли?) молодой парень по имени Антон Савельев. Был этот Антон, арестованный вместе с сыном новониколаевского лавочника Петром Полиповым, рослым, светлоглазым, с большим белесым чубом. И был силен, как бык: тогда, во время допроса, так саданул Лахновского в подбородок, что челюсть вспухла и долго ныла. Пристрелить надо было бы мерзавца тогда же. Потом этот Антон Савельев вырос в матерого большевика, много хлопот принес охранке и жандармерии...

Нет, ничем Федор Савельев не напоминал того Антона Савельева — ни обликом, ни ха-

рактером, ни тем более нравственной своей сутью. Просто однофамилец. Всякие Савельевы, Петровы, Федоровы составляют половину населения России, необъятной страны, не имеющей теперь настоящих и законных хозяев.

...Ночь над деревней Шестоково постепенно набирала силу, становилась гуще. Духота стояла прежняя — ни ветерка, ни струйки свежего воздуха. Звезды вверху горели тускло, совсем не давая света, к тому же с востока, оттуда, где громыхал, приближаясь, фронт, наполнили тучи, затягивая белесое звездное полотно.

И Лахновский каждой клеткой своего тела чувствовал, как гремит, гудит, сотрясая землю, далекая пока линия фронта, как неумолимо она приближается.

— Все же не пейте, Савельев, больше, — мягко попросил Лахновский.

— Да ладно. И нечего больше.

Лахновский кивнул к крыльцу, обернулся:

— Секреты через час сменять.

— Какая надобность...

— Разговорчики! Погода хмурая, заснут еще, сволочи... Через час, понятно?

— Ясно, — сказал Савельев, повернулся и тотчас растаял во мгле.

Валентика в полдень задержали на окраине деревни сидящие в секрете солдаты — на чистейшем немецком языке он потребовал доставить его к зондерфюреру Бергеру. Но, поскольку солдаты были из «армии» Лахновского, они привели задержанного в свой «штаб», разместившийся в просторном здании бывшей школы. Появлению Валентика Лахновский не удивился, равнодушно глянул на него, отпустил солдат и сказал с усмешкой:

— Ого! Собственной персоной? А я уж не надеялся свидеться. И надолго к нам?

— Навсегда.

Валентик бесцеремонно, как хозяин, стал расхаживать по комнате, служившей Лахновскому кабинетом, из стеклянного кувшина налил в стакан воды, ополоснул его брезгливо и выплеснул в открытое окно, прямо под ноги расхаживающему у стены часовому. Потом, запрокинув голову, пил воду крупными глотками; на шее, обросшей грязным волосом, дергался острый кадык. Лахновский поморщился.

— Мне бы переодеться, — сказал Валентик. — И прикажите баню истопить — опаршил я. Когда возвращается господин зондерфюрер?

— Откуда же мне знать? — Лахновский хмуро оглядел Валентика. — Спросите у Леокэди Шиповой: может, Бергер звонил ей из Орла.

— Как же вы ее отдали ему? Я считал, что вы женились на ней.

Последние слова Валентик произнес с явной насмешкой. У Лахновского собрались на переносице морщинки и стали пошевеливаться, как у собаки, которая собралась зарычать. Но ответил он спокойным, чуть насмешливым голосом:

— Все течет, все изменяется, как говорят философы.

— Ладно... Не найдется несколько листов чистой бумаги? Как вы понимаете, я не пустой пришел, тут... — он хлопнул себя ладонью по лбу, — имеются кой-какие сведения о новых соединениях противника, прибывших на Центральный и Воронежский фронты.

— Там, в шкафу, валяется с десяток учебных тетрадей.

Валентик подошел к шкафу, открыл дверцу, взял тетрадку. В глубине шкафа стоял небольшой школьный глобус, неизвестно как сохранившийся до сих пор. Валентик взял зачем-то и его, шагнул к окну, где больше было света.

— Вот он где, Воронеж... Помните, Арнольд Михайлович, как вы меня туда привезли, устроили в органы НКВД? А где Коростень? Нету на этой деревушке Коростеня... Зато вот... Киев, Украина, благословенная земля! А вот и сама Москва! Сама Москва, у порога которой мы стояли — только переступить. Только переступить... Сколько было радости и надежды!

Лахновский, поджав высохшие, бесцветные губы, молча наблюдал за Валентиком. Тот вдруг с яростью крутанул глобус. Потом с еще большей яростью ударил им о подоконник, с треском разлетелись во все стороны обломки.

— Ах, Алейников, Алейников! — прорычал Валентик, швырнул на пол подставку для глобуса, она с грохотом покатила вдоль стены. — Ну погоди, может быть, еще и встретимся!

Лахновский встал из-за своего стола, крепкого, двухтумбового, крышка которого была залита чернилами, захромал к дверям.

— Баню я прикажу истопить, — усмехнулся он от порога. — А обломки земного шара ты уж подбери...

Когда часа через четыре он вернулся в кабинет, обломки глобуса, разбитого Валентиком, так и валялись по всему полу. На столе лежала забытая промокашка, которой пользовался Валентик, вырванный из тетради смятый листок, пепельница, полная окурков, всюду был рассыпан пепел. «Свинья!» — вскипел Лахновский на Валентика, смывающего в ту минуту в бане всю свою грязь и вонючий пот, хотел уже крикнуть, чтобы прибрали в кабинете, но помедлил, взял скомканный тетрадный листок, развернул. Он был весь исписан по-немецки, исчеркан. Даже по этому обрывку было видно, что Ва-

лентик знал многое: он перечислял не только советские армии и дивизии, прибывшие в последние дни на Центральный и Воронежский фронты, но и командный и политический состав различных соединений и подразделений. Однако в первую очередь Лахновскому в глаза бросились кривые строчки: «...Der Zeitungsredakteur bei 215 Division von Oberst Welichanov ist Major Polipow P. P.»¹

Сжимая в кулаке черновик Валентика, Лахновский так и сел. «Неужели это тот Полипов, незабвенный Петр Петрович, так славно послуживший в свое время блаженной памяти неуклюжей российской охранке, прошляпившей и своего монарха, и всю его империю?! Неужели тот самый?»

...Все это промелькнуло в голове Лахновского, пока он говорил с Федором Савельевым, поднимался по ступенькам крыльца дома, в котором жил Бергер, шел по недлинному коридору, тускло освещаемому висевшей на стене керосиновой лампой. Лахновский шел в апартаменты наложницы зондерфюрера Рудольфа Бергера, с которой, как ему доложили, после бани пьянствовал Валентик. Лахновский шел, чтобы узнать подробнее о Полипове.

Дверь в комнаты Шиповой была не заперта. Настежь была открыта и дверь, ведущая из коридора во внутренний двор, обнесенный высоким глухим дощатым забором, поверх которого была еще в несколько рядов натянута колючая проволока. Из этого двора слышался не то визг, не то стон самой Лики, приглушенный хохоток и говор Валентика. Лахновский поморщился, шагнул в прихожую Шиповой, оттуда в столовую. Там был небообразимый ералаш: стулья, кресла и диваны сдвинуты с места, ковер залит, стол завален бутылками, обедками, на одном из кресел валялось платье Шиповой, почему-то изодранное в лохмотья. Лахновский глянул в спальню — кровать стояла аккуратно убранная, белоснежная, нетронутая.

Он сел в одно из кресел, трость поставил между ног и по-стариковски сложил на нее обе руки.

Голоса Валентика и Лики стали приближаться, загремели в коридоре, в прихожей. И вот они ввалились в столовую, оба пьяные до изнеможения.

— А-а... — кивнул равнодушно Валентик, подошел, шатаясь, к столу, налил полстакана коньяку. Он был в исподней рубашке, в форменных немецких брюках, в комнатных тапочках Бергера.

¹ ...Редактором газеты при 215-й дивизии полковника Велиханова является майор Полипов П. П.

Шипова видела, что в столовой кто-то сидит, но различить, кто же это, кажется, не могла. На ней была лишь нижняя шелковая, тоже немецкая, с обильными кружевами, рубашка, тесемка на одном плече лопнула, и грудь почти обнажилась. Волосы распущены, растрепаны, под глазами черные ямы. Она стояла у дверей, пытаясь натянуть клочок рубашки на грудь, хотя сквозь тонкое полотно вообще просвечивало все тело, молодое, стройное, крепкое. Она, эта развратница, была красива даже в этом своем скотском состоянии, и Лахновскому вдруг стало жалко ее.

— А если бы неожиданно господин зондерфюрер приехал? — спросил он.

— А-а... — пьяно отмахнулся Валентик, а Лика с облегченным вскриком: «Арнольдик!» — оттолкнулась от стены, шагнула к Лахновскому. Тот хотел было встать, но она обхватила его за шею, прижалась к нему, осадилась обратно в кресло.

— Арнольдик... милый мой старичок! — выкрикивала Лика, целуя его. — Я ни с кем так не была счастлива, как с тобой. Почему все кончилось? Почему все кончается?!

И она, уткнувшись все еще свежим, несмотря на бесконечные кутежи, лицом в плечо Лахновского, зарыдала, вздрагивая горячим телом.

— Безобразница ты, — по-стариковски проворчал Лахновский, отталкивая ее. — Приведи себя в порядок. Если Рудольф неожиданно приедет...

— Ну и пусть! — с ненавистью вскрикнула Шипова, отскакивая. — Что он мне сделает? Пристрелит? Пусть, пусть, пусть!! — Она запрокинула голову с растрепанными волосами и громко, в истерике, захохотала.

Валентик нехотя подошел к ней, намотал ее волосы на кулак, дернул, повалил на пол, поволок безжалостно, словно это был набитый чем-то мешок, по комнате и швырнул на диван.

— Ты что это, проститутка вонючая?! — рыкнул он голосом зловещим и вовсе не пьяным.

Лика вжалась в угол дивана, подобрала под себя голые ноги, обожгла Валентика нездоровым взглядом.

— А ты кто?! — выкрикнула она ему в лицо. И повернулась к Лахновскому: — А ты? А все вы тут?! Я телом торгую, а вы чем?! Страной своей! Предатели вы-ы!

Валентик размахнулся, ударил ее, не жалея, кулаком в лицо. Лика от удара перелетела через валик дивана.

— Вста-ать! — взревел Валентик, стоя перед ней, сгорбившись, сжав кулаки. Спина его тряслась от гнева.

Она медленно поднялась, попятилась под его взглядом к стене, прилипла к ней спиной.

И там вытерла ладонью окровавленный подбородок. Длинные, тонкие пальцы ее при этом дрожали.

— Мы, по-твоему, предатели, а ты кто? — спросил негромко Лахновский.

— Ты что... шпионка русская?! — прохрипел Валентик, колотясь от ярости.

Лахновскому казалось, что он сейчас кинется на Лику, одним ударом переломит ей позвоночник с хрустом, разорвет, как хищный зверь разрывает жертву.

Шипова стояла у стены вытянувшись, приподняв голову, глаза ее горели непокорно и зло.

— Не беспокойтесь, я не шпионка, — сказала она хрипло, с горечью. — Я такая же мерзавка... такая же скотина, как вы. Только еще отвратительнее, потому что женщина. У вас и у меня все внутри сгнило.

Кривобокий Валентик шагнул было к ней, зловеще нагнув голову, но она вскрикнула сердито и властно:

— Не прикасаться ко мне! Часового позову!

И, мотнув спутанными волосами, повернулась, пошла мимо оторопевшего Валентика в спальню, закрыла за собой дверь, звякнула задвижкой.

Валентик, какое-то время постояв в нелепой позе, с вытянутыми вперед обеими руками, опустил их, когда Шипова закрыла за собой дверь, шагнул к столу и еще выпил коньяку.

— Ее следует... — Он кивнул на запертую дверь спальни и одновременно почти чиркнул ребром ладони по своей толстой, распаренной баней и коньяком шее.

Лахновский лишь усмехнулся.

— Бергер не позволит. Она ему очень нравится.

— Она сломалась! Она может...

Лахновский встал.

— У нее в душе ничего целого никогда и не было. Как, впрочем, и у нас с тобой.

— Что-о? Вы... Ты что ж, тоже выдохся?

— Не тыкать мне, подонок! — взвизгнул Лахновский, приподнимая трость. Но Валентик не знал этого зловещего жеста и потому не побледнел, не обратил даже на его движение никакого внимания. Это Лахновского даже развеселило. — Не тыкать, а то я тебе ткну...

Собственные слова развеселили Лахновского еще больше, со странной, какой-то хищно-плотоядной улыбкой он шагнул к Валентiku, держа трость на весу, острием книзу. Почувствовав наконец что-то необычное в поведении Лахновского, Валентик, не на шутку растерявшись, попятился к стене, пока не уперся в нее, как только что Шипова, спиной. Неуловимым движением Лахновский вскинул трость — острие уперлось чуть ниже левого соска, проколов рубашку. Валентик охнул, схватился обеими

руками за холодный стальной стержень, но Лахновский чуть надавил и одновременно хотнул скрипуче:

— Хе-хе... Пожалуй, не дергайся.

По белой рубашке Валентика потекла черная струйка крови.

— Арнольд... Михайлович?! — Лицо Валентика сделалось белым как мел.

— Вот что, милейший, объясню я вам, — так же скрипуче заговорил Лахновский. — У меня в армии двести таких подонков, как Леокадия... только мужского пола. Мы умные люди и должны понимать — другого человеческого материала у нас нет и не будет. Но скотина тем и удобна для человека, что лишена способности размышлять. Корову, к примеру, можно доить, с барана стричь шерсть. А при необходимости можно прирезать, мясо съесть, из шкуры сшить сапоги или полушубок. Это вы можете понять куриными своими мозгами? А какие сейчас сапоги с этой Шиповой?

— Арнольд Михалыч! — взмолился Валентик, все еще держась обеими руками за трость, впившуюся ему в грудь. — Я понимаю, понимаю...

— Опустите руки тогда! — приказал Лахновский.

Валентик повиновался.

— Вот так. А то до сердца сантиметр один... Ну-с, так вот что я хотел спросить. Что это за Полипов из газеты при дивизии полковника Велиханова? — Лахновский достал из кармана смятый листок и показал Валентику.

— Не знаю. Я его никогда не видел. Он только что назначен редактором газеты. Я на всякий случай упомянул в донесении.

— Ага... Молодец, что упомянул. Только донесение такого рода — секретнейший документ. И черновики даже в моем кабинете не следует забывать. Сядьте к столу!

Валентик сел. Лахновский сел напротив, опустил маленькую голову с тонкими, как у ребенка, бесцветными волосами, минуту молчал, о чем-то раздумывая.

— Ну что ж... — он вздохнул и поднялся. — Если это тот человек, которого я когда-то знал, то именно такой нам и необходим.

— Для чего? — спросил Валентик.

— А пищу готовить. Поваром поставим.

Валентик понял, что задал глупый вопрос. — Во всяком случае, я хотел бы с ним познакомиться.

— Каким, интересно, способом? — спросил Валентик.

— Способ на войне в таких делах один. Надо без шума взять его и доставить сюда. Возможно, тебе это и поручим...

Тыкая острием трости в крашенные половицы, Лахновский, сгорбив спину, пошел к двери.

Военная судьба Петра Петровича Полипова до середины 1943 года была легкой и даже приятной. Оказавшись в армии, он сразу же был аттестован в звании батальонного комиссара, но был отправлен, к его, надо сказать, удивлению и даже при некоторых попытках воспротивиться этому, не в действующую армию, а глубоко в тыл, в Узбекистан, под городок Термез, где находилась одна из горнострелковых дивизий, и стал ответственным редактором дивизионной газеты.

Части и подразделения дивизии располагались в каменистом ущелье невысокого горного хребта. Место было до того знойное, камни до того накалялись, что, прислонившись как-то голым плечом к пышущей жаром глыбе, Полипов невольно вскрикнул от резкого ожога, а через некоторое время обнаружил на плече порядочный волдырь.

Потом ему сказали, что здесь бывает самое жаркое лето в стране, температура пятьдесят градусов — самое обычное явление, но старики утверждают, что жара бывает и намного больше.

— Что и говорить, райское местечко, — буркнул, обливаясь потом, редактор.

Однако вскоре он убедился, что место это не такое уж гиблое. Адская, невыносимая жарница стояла лишь в середине дня, несколько часов. Жизнь вокруг на это время замирала, притихала даже в дивизии — люди прятались от солнца. А в первой половине дня было вполне терпимо, во второй же, особенно ближе к вечеру, вообще развилась приятная прохлада, горы делались синими, в разных местах хребта в небо поднимались столбы дыма, тоже синие, — жители кишлаков готовили ужин.

Дивизия жила обычной жизнью, шли обычные занятия по боевой и политической подготовке, о чем и должна была писать газета. В штате редакции кроме Полипова было еще три человека: заместитель редактора, ответственный секретарь и литсотрудник в званиях младших политруков. Была еще машинистка, чьи обязанности выполнял молчаливый и угрюмый боец срочной службы узбек Рашидов, местный уроженец, который хотя и печатал материалы с грубыми орфографическими ошибками, но зато был непревзойденным мастером по приготовлению плова и шашлыков.

Где-то шла тяжелая, кровопролитная война, а здесь было тихо и спокойно; сразу же за Термезом, за мутной и могучей Амударьей простирался мирный Афганистан, который никогда не доставлял никаких хлопот пограничникам. И тревоги, по которым частенько поднимали части и подразделения горнострелковой дивизии, были чисто учебными.

За несколько месяцев такой жизни Полипов, что называется, капитально отдохнул, почернел

под южным солнцем. Он и раньше был полным, а теперь, к своему беспокойству, почувствовал, что тяжелеет еще больше, живот и плечи заплывают жирком.

— С шашлыками вашими! — бурчал он все чаще, обтирая платком мокрые, лоснящиеся щеки, стал подолгу заниматься утрами физкультурой.

— Це не поможет, — шевелил усами его заместитель. — Туточки хорошая баба требуется. Да где взять...

— Разговорчики! — прикрикивал Полипов. — «Требуется...»

Да, Полина не давала ему зарости жирком. Чего-чего, а тут она была на высоте. Как она там? С женой Антона Елизаветой Никандровой вместе работает теперь... С чего это жена Антона пошла работать? Жить, что ли, после смерти Антона не на что? И здоровье ведь ни к черту у нее...

Когда Полипову жена сообщила о гибели Антона Савельева, какос-то странное чувство охватило Петра Петровича.

Появление Антона с семьей в Шантаре его обеспокоило и даже напугало. Старое, которое он хотел бы забыть, и без того напоминало о себе каждодневным присутствием Полины, тем, что где-то жив еще Лахновский, иногда присылающий ей какие-то письма. А теперь вот еще и сам Антон объявился и Лиза... И потому известие о том, что Антона больше нет на свете, не то что обрадовало Полипова — просто какая-то тяжесть, незримо лежавшая на плечах, сразу свалилась. Он испытывал и жалость к Антону, к Лизе, и одновременно приятное облегчение. Но то обстоятельство, что Лиза стала работать в библиотеке вместе с Полиной, что они будут видаться каждый день наедине, вдруг его опять насторожило, обеспокоило. «Хотя, в общем, что здесь особенного, опасного? — размышлял он. — И все-таки... и все-таки лучше бы им не бывать вместе. А еще лучше... Здоровье-то у нее...»

Но на этом месте своих размышлений Петр Петрович обычно морщился, чувствовал раздражение, усиленным волн заставлял себя думать о другом. Нет, смерти жене Антона он сознательно не желал. Но где-то в глубинах его существа, помимо разума и желания, все-таки само собой жило, затаившись, неприятное ожидание этого. И ощущая такое, он усмехался про себя мрачно и желчно: «Чувство самосохранения, как у животного...» И нередко при этом раздумывал: да, люди — животные... Нет-нет, пусть Лиза живет. Что она? Вот бы Лахновский где окочурился! Живучий, как хорек, сволочь. Как все было бы славно и нормально, не попадись когда-то на его пути этот страшный человек! Совсем, совсем другому сложилась бы жизнь Петра Петровича

Полипова — жизнь преуспевающего большевика с дореволюционным партийным стажем. Хорошие, большие должности, материальное благополучие... Именно страх перед возможным разоблачением прошлого заставлял его в общем-то жить в тени, не особенно выпячиваться. А тут еще объявилась в его жизни Полина, дочь Свиридова, бывшего следователя белочешской контрразведки, в лапы которого бросил его Лахновский. И Полипов из чувства самосохранения совершал, видимо, такие поступки, которые и были причиной того, что он в скором времени вынужден был не по своей воле покинуть Новосибирск, оказался в Шантаре, в глубинном районе Сибири на должности секретаря райкома партии, потом, в силу тех же обстоятельств, появился здесь, под Термезом, в забытом богом и чертом краю земли, где даже камни рассыпались в песок, прожженные беспощадным солнцем.

«Хорошая баба требуется...» — все чаще всплывало почему-то в размягченном жарой мозгу Полипова, и он думал, что это бы хорошо, да только он не может себе позволить такого. Судьба, как он полагал, всю жизнь была не очень ласкова к нему, но сейчас повернулась более или менее благосклонной гранью — тут жарница и духота невыносимые, но не свистят же пули, не рвутся снаряды, — и будет просто неразумно и глупо испытывать ее. «Опять чувство самосохранения?!» — все-таки неприятно царапало где-то у него внутри. Но он отмахивался от этой мысли, как от чужой и посторонней ему. Он думал иногда о Кружилине, о Субботине, вспоминал последний, очень неприятный разговор с секретарем обкома партии у себя в кабинете, в Шантаре. Вспоминал Шантару, эвакуированный завод, суматоху с его восстановлением, с размещением беженцев, но все это казалось ему уже очень далеким, когда-то промелькнувшим в его жизни и навсегда ушедшим за ту грань, откуда ничто не может возвратиться.

Непривычная жара как-то притупила у него реальное восприятие действительности. Поэтому Полипов, когда однажды его вызвал к себе начальник политотдела дивизии и объявил, что получен приказ об откомандировании его в резерв политсостава одной из действующих армий Центрального фронта, не сразу сообразил, что военная судьба его круто меняется...

...В первой половине июля 1943 года Полипов, уже в звании майора, прибыл в расположение 215-й стрелковой дивизии, действующей на Орловском направлении, по всей форме доложил начальнику политотдела дивизии, затем начальнику штаба и комдиву. А спустя два часа принял дивизионную газету «За Родину!».

«Дивизионка» располагалась километрах в двух от передовой в полуразрушенных помещениях бывшей колхозной бригады, занимавшей когда-то большой сарай и три дома, два из которых недавно сгорели. Между сараем и уцелевшим домом торчал колодезный журавель. Сюда и подошел Полипов, достал воды и припал к помпатуому ведерку, обжигаящему холодом губы.

— Товарищ майор... Полипов? — спросил молодой парнишка с сержантскими погонами, появившийся из сарая.

— Я...

— Товарищ старший лейтенант! Новый от-ветредактор прибыл! — заорал сержант, как оказалось водитель автофургона, в котором размещалось все типографское оборудование — печатная и бумагорезательная машины, наборные кассы. Из дома, застегивая на ходу гимнастерку, выскочил черный, как ворон, старший лейтенант, вытянулся:

— Товарищ майор! Сотрудники газеты «За Родину!» готовят очередной номер. Заместитель редактора старший лейтенант Горохов.

— Не сотрудники, а личный состав! — поправил Полипов, стараясь не глядеть на медали на груди Горохова, на орден Красной Звезды с потрескавшейся эмалью, чувствуя неловкость и раздражение от того, что его грудь пустынна, как осеннее поле, нет на ней ни ордена, ни хотя бы завалящей медали. — И потом — почему не попросите предъявить документы? Вы же меня не знаете.

— Так... звонил же начальник политотдела о вас... о вашем прибытии.

Действительно, недавно начальник политотдела, сообщив, где разыскать редакцию, обещал туда позвонить, чтобы ждали нового редактора, прибавив при этом: «Телефонная связь с газетой сегодня имеется... По прибытии в редакцию доложите».

— Все равно, — хмуро сказал Полипов. — Ну, пошли знакомиться с личным составом.

— Сейчас в наличии, кроме меня, наборщики и шофер, — Горохов кивнул на сарай. Дощатые ворота его были распахнуты, внутри виднелся черный автофургон. — Остальные с утра на передовой, собирают материал в номер. С минуты на минуту должны вернуться.

Полипов посмотрел на небо. И хотя в нем в тот день было пусто, тихо и мирно, подумал: «На передовой... Да, тут не Термез... Бывший редактор газеты погиб еще в марте, участвуя в атаке, рассказали в штабе дивизии. Хотел очерк написать о героическом поведении бойцов в бою. Ну что ж, и я теперь обязан показать, что и я не из трусливого десятка. Только вот с писанием не очень легко и гладко получается. Не такое простое дело, оказывается».

— Значит, не готовится еще номер... — произнес Полипов и опять почувствовал раздражение, потому что Горохов, вскинув брови, возразил:

— Как же, раз там ребята... Самый свежий материал будет завтра в газете. Остальное все набрано или набирается. А я заканчиваю передвицу...

— Хорошо. Показывайте хозяйство.

Показывать было почти нечего. В доме, где расположились на временное житье фронтовые журналисты, было грязно, тесно и неуютно. Это был, собственно, не дом, а большая изба с темными просторными сенями, где пахло дегтем, хомутами и какой-то прелью, валялись запыленные ящики и кадушки. В единственной комнате с побитыми стеклами окошек, в которые тек горячий запах полынных степей и залетали мухи, стояло два некрашенных крестьянских стола, по стенам развешаны в беспорядке потрепаные шинели и плащ-палатки, на которых фронтовые журналисты спали где придется, на подоконнике валялись алюминиевые тарелки, кружки, в одном углу стояли два автомата, в другом — прикрытый стеганой телогрейкой радиоприемник.

Полипов оглядел все это, присел к скрипучему столу, за которым, видимо, только что работал Горохов, скользнул взглядом по листу бумаги, наполовину исписанному, спросил за чем-то:

— Пишущая машинка в редакции имеется?

— Никак нет, товарищ майор. Был худенький «ундервудишка», да в него осколок попал, выбросили. Теперь с рукописного текста набираем. Ничего...

«Ничего»... — мысленно повторил Полипов и снова подумал, что это не Термез.

Полипов посидел, побарабанил пальцами по столу, молча поднялся, вышел из избы, зашагал к сараю. Возле стенки на нежарком еще припек двое солдат в расстегнутых, без ремней, гимнастерках, установив на каких-то чурбаках наборные кассы, производили набор. Увидев офицеров, они, не выпуская из рук верстаток, вытянулись.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Полипов, стараясь своему голосу придать приветливости, оглядывая, однако, их осуждающе.

Наборщики враз ответили на приветствие.

— Вид-то какой у вас, — промолвил Полипов. — Нехорошо... Ремни хотя бы наденьте.

И зашел в сарай.

Там было довольно светло, в широкие проломы в стенах потоками лилось солнце.

Сержант, возвестивший о прибытии нового редактора, копался в моторе автофургона, рукава его гимнастерки были засучены по локоть.

— Что, ремонт? — спросил Полипов, оглядывая кабину.

— Никак нет, товарищ майор. Профилактика. Эта трофейная драндулетина без профилактики не ездит.

— Давали нам новую машину ЗИС-5. Бывший редактор отказался. Правильно, по-моему. Эта крытая все же, — сказал Горохов. — От дождя, от снега... А раньше была полуторка, намучились.

Полипов на это ничего не ответил, обошел вокруг пузатую, неуклюжую машину, открыл дверные створки фургона, помятые, видимо, когда-то сорванные взрывом, а теперь кое-как выправленные и приваренные к стенкам большими воротными петлями, по железной стремянке поднялся внутрь. Горохов проскочил вперед, зажег аккумуляторную лампочку. Полипов оглядел знакомое, нехитрое типографское оборудование.

— Движка нет? — кивнул он на печатную машину, точно такую же допотопную «американку», какая была у них в Термезе.

— Никак нет. Вручную крутим. Да и чего с ним, с движком? Потаскай его... Сегодня мы здесь, завтра — неизвестно где. Бои начались. Это вот сегодня с утра спокойно...

— Бои начались, — проговорил Полипов как можно равнодушнее, делая вид, что война для него дело привычное, и опять испытывая раздражение от того, что этот долговязый старший лейтенант знает, конечно, что он прибыл сюда из армейского резерва политсостава, видит и понимает, что ни в каких боях он еще не участвовал, передовой не нюхал...

Горохов стоял рядом и ждал вопросов, всем видом показывая, что готов ответить на любой.

На бумагорезательной машине лежало несколько газетных небольших листков. Полипов взял один из них.

— Это вчерашний номер, — сказал Горохов.

— Ага... — Полипов пробежал заголовки первой полосы, стал читать какую-то заметку. Читая, он поджимал губы, будто сомневаясь в подлинности напечатанного.

— Это мой материал, — сказал Горохов смущенно, полагая, что Полипову не понравился текст. — Написано, конечно, не ахти, но ребята...

Полипов молча положил газету, спустился из фургона по стремянке, вышел из сарая.

Небо по-прежнему было пустынным и чистым — ни дымка в нем, ни облачка. Полипов вспомнил последнее учение в термезской дивизии в условиях, приближенных к боевым, многозначительно поглядел на небо.

— Вот что, старший лейтенант... — проговорил он, угрюмо нахмурившись. — Здесь

фронт, и бои, как вы справедливо отметили, начались... А если бомбардировщики налетят? В любое ж время боевые действия могут разгореться... А? А этот сарай — лучше цели и не придумашь. Немедленно вывести машину в поле и замаскировать.

Так началась служба Полипова на фронте. Началась не очень складно; еще подходя к расположению редакции, он почувствовал, что естественные и простые отношения с новыми подчиненными наладить ему будет, видимо, нелегко. В газете, как ему сказали в штабе дивизии, служат люди с большим фронтовым стажем или давно обстрелянные.

Всю дорогу к месту непосредственной службы он думал о том, как ему с первых же минут поставить себя с подчиненными. «Главное, — размышлял он, — сразу же создать атмосферу простоты и доверия. Может быть, по прибытии собрать всех, запросто представиться, искренне сказать, что вот, мол, ребята, так судьба военная сложилась, что на фронте я еще не был, а вы — волки стреляные, так что помогайте мне привыкнуть, делать, мол, общее дело, которое поручила нам в этот тяжкий час Родина... И всем такое поведение, конечно, понравится. Да, только так и надо», — решил в конце концов он.

Но решить-то решил, а получилось вон как. И все его планы и намерения, думал Полипов, сидя в грязной избе за столом и листая подшивку газеты, спутал и разрушил этот горластый сержант Климов, заоравший во всю силу: «Новый ответредактор прибыл!» Черт-те что! Так, помнится, ребяташки в Новониколаевске кричали на всю улицу, завидев бродячих артистов! «Циркачи приехали!» И сам он кричал. А тут еще эти брякающие медали Горохова! Не сам же он, Полипов, в тыл напросился, в этот проклятый Термез, где медалей не выдавали, где никого не награждали... Ну о чем думает сейчас этот Горохов? Сидит вон, нахохлился, как грач, забыв про свою передовицу.

Горохов действительно сидел за соседним столом молча, смотрел в начатую рукопись, но не писал, вертел в руках авторучку. Авторучка была у него хорошая, трофейная, ослепительно поблескивала никелированным наконечником. И этот блеск, как недавно звон медалей Горохова, опять вызвал у Полипова вспышку раздражения:

— Два дня живете здесь, а как... в свиарнике! — произнес он, захлопывая подшивку. — Надо хотя бы элементарную чистоту навести в помещении.

— Слушаюсь. Сейчас будет сделано, — хмуро сказал Горохов, встал и вышел.

«Что же это я?! — запоздало пытаюсь взять себя в руки, подумал Полипов. — Теперь-то уж

совсем... совсем не установить мне с ними контакта. Трудно мне будет здесь служить...»

На другое утро литсотрудник Березовский обратился к Полипову.

— Товарищ майор! Говорят, в нашу дивизию штрафная рота прибыла, в деревне Малые Балыки остановилась. Разрешите туда смотреть? Это недалеко.

— Зачем?

— Штрафная рота же... Интересно. Никогда не встречал штрафников. Разрешите в бой с ними сходить?

— Что за несерьезность такая, — сказал Полипов, повернувшись почему-то к Горохову. — Не хватало еще штрафников прославлять в газете. Мало разве настоящих героев, достойных освещения в печати?! А штрафники — это заключенные. Вы встречали когда-нибудь в прессе материалы о штрафниках?

— Да нет, — сказал Горохов и резанул глазами Березовского, как бы говоря: помолчи уж лучше...

На другой день дивизия вступила в бой, по горизонту поднялись дым, гром пушек и разрывы бомб глухо докатывались даже сюда, в расположение редакции. Прифронтная полоса ожила: туда, к линии огня, шли и ехали войска, грузовики с боеприпасами, двигалась различная техника, оттуда везли раненых, одних размещали в санбате, других отправляли куда-то дальше. Рев автомобильных и танковых моторов, суматоха, крики, ругань... Все это было для Полипова внове, оглушало и ошеломляло, но он пытался не показывать этого, сидел в комнате и сосредоточенно вычитывал рукописи и гранки...

Однажды под вечер в расположении редакции появился рослый, голубоглазый артиллерийский подполковник, с толстыми, немножко тронутыми седinou усыми, в роговых очках. Он приехал на попутной машине, предъявил удостоверение спецкора армейской газеты на имя Кузина Григория Егоровича, выданное ему три дня назад. На поясе у него рядом с пистолетной кобурой торчал нож в чехле, с другого бока болталась саперная лопатка, тоже в чехле из шинельного сукна.

На крыше сарая, освещенного последними лучами солнца, шумно дрались воробьи. Кузин долго смотрел на них, потом сказал, восторженно улыбаясь:

— Ах, черти! Война войной, а природа неистребима. У меня в московской квартире три кенара осталось и два попугайчика. Жена пишет, что попугаи и два кенара уже околели — нечем кормить. Третий приучился есть картошку. Голод не тетка.

— Как там фотокорреспондент Миша Соцкий поживает? — спросил Горохов.

— Соцкий? Это какой он из себя? Я всего три дня в газете...

— Такой... среднего роста, белобрысый. В звании старшего лейтенанта.

— Ничего, наверное. Но, откровенно говоря, я не успел со всеми там познакомиться. Вчера в обед еще уехал из редакции. Побывал в соседней с вами дивизии, да вот решил в вашу заглянуть. Началось, немцев за Жерехово отогнали. А завтра на этом участке, по имеющимся у меня данным, тоже кое-что интересное предполагается. Хочу поприсутствовать, как говорится... Вы, Петр Петрович, я слышал, тоже в своей редакции недавно?

— Да. На передовой вот даже не удалось еще побывать.

— Ну, это не уйдет, — сказал Кузин. — А знаете что? Пойдемте со мной? Обстреляемся вместе, примем крещение и на этом фронте. Вообще-то я, считай, с первого дня по фронтовым газетам. И в дивизионке полтора года служил.

Кузин был говорлив, улыбчив; улыбка у него была добрая, мягкая, чуть даже извинительная.

— Ну так как, товарищ майор? Поедем? Принять крещение — чем скорее, тем лучше.

Рядом молча стояли Горохов и Березовский. И Полипов понимал: под каким бы предложением он ни отказался, авторитет свой уронит окончательно.

— Пожалуй, пора принять, — сказал он, улыбаясь как можно шире. — Поужинаем только? Что там у нас с ужином?

— Я послал на ахэчевскую кухню... — сказал Горохов.

— Поесть солдату никогда не мешает, — произнес Кузин, потирая рукой левое плечо, которое было чуть ниже правого.

Даже Яков Алейников, оказавшись он тут, не сразу признал бы в усатом подполковнике бывшего своего подчиненного и начальника краткосрочной школы разведчиков и диверсантов при фронтовой спецгруппе Алексея Валентика. Разве что по этим разновысоким плечам да по голубым глазам, светившимся за стеклами очков. Но встречу с ним Валентик, еще на рассвете перешедший линию фронта, считал маловероятной. Целый день он пролежал в глухом овраге, забившись в заросли крапивы и каких-то жестких кустарников, борясь с дремотой. Глухое-то место глухое, но во сне он храпел, и черт его знает, кого могло по случайности занести в этот овраг. Но день прошел спокойно. Когда солнце покатилося к горизонту, он вынул из кармана и нацепил очки с обыкновенными стеклами, выбрался из своего убежища и, зорко поглядывая по сторонам, вышел на заросший травой проселок. Пример-

но через полчаса его догнала пустая полторка, возвращающаяся с передовой. Валентик остановил ее, приветливо улыбаясь, представился шоферу, пожилому солдату с усталыми воспаленными глазами, протянул удостоверение.

— Не знаешь, отец, где дивизионная газета располагается?

— Эти... писатели, что ли? — спросил шофер. Удостоверения он не взял, только кивнул головой.

— Примерно... Фронтовые журналисты.

— Рядом с нашей АХЧ, говорили. На стогревшем хуторе, что ли... Садись.

За ужином Кузин опять рассказывал о довоенной московской жизни, упоминал имена известных столичных журналистов и писателей, с которыми так или иначе сводила его судьба. Некоторые из этих имен, слышанные когда-то Полиповым, всплывали теперь в памяти, он с завистью глядел на Кузина, а потом и сказал откровенно:

— Завидую вам, подполковник. Интересная жизнь. В самой гуще, так сказать.

— Да, Петр Петрович, не сбоку припека, — не стал скромничать и Кузин. — Хотя, конечно, я не Стеклов или, скажем, Кольцов. То были журналисты международного класса. Но в общем, ничего. Война нашему брату-газетчику сейчас много дает, открывает великие творческие горизонты... Есть у меня мечта — после нашей победы засесть за книгу о фронтовых журналистах. С кем, как говорится, встречался, с кем общался... Увековечить скромный, но такой необходимый для дела великой нашей победы труд фронтового газетчика...

Все это Кузин-Валентик говорил не без умысла, чувствуя, что Полипов, согласившийся пойти с ним на передовую, может от этого под каким-то благовидным предлогом и отказаться. А пути для отступления ему надо бы отрезать.

— А вы, Петр Петрович, откуда родом? Где до войны работали?

— Да я — что же? — скромно пожал плечами Полипов. — Был на советской и партийной работе. Долгое время трудился первым секретарем сельского райкома партии. Я коренной сибиряк.

— Ну-у! — воскликнул подполковник, и глаза его вспыхнули. — Ах, как я мечтал побывать в этом легендарном крае! Алексей Максимович Горький все любил повторять: удивительные люди там живут! И тоже, как я грешный, все хотел поехать в Сибирь, да так и не успел... А сибирские дивизии что под Москвой сделали, а?! Спасли, можно сказать, столицу!

— Это вы уж через край, — усмехнулся простенько Полипов. — Не одни сибиряки под Москвой воевали.

— Да это так, конечно. Ничего, история разберется, все оценит. Ну-ну, расскажите мне чуток о своей жизни!

— Да что в ней интересного? Борьба, работа... И тюрьмы, конечно.

В глазах Кузина за стеклами очков мелькнуло удивление, настороженность. Он тихонько потрогал свой ус, спросил:

— Какие, простите, тюрьмы?

Полипов, чувствуя, как все его существо заливает волна удовлетворения, понимая, что сейчас наповал сразит этого хвастливого подполковника, в жизни, видимо, удачливого, еще немного помолчал и как бы нехотя произнес:

— Известно, какие тюрьмы... Царские. Потом белочешские.

— Что вы говорите?!

— Да... Мы там, в Сибири у себя, с азов начали. С организацией социал-демократических кружков в массе рабочих. Ну, а историю гражданской войны в Сибири вы знаете. Белочешское контрреволюционное выступление, Колчак...

Настороженность в глазах у Кузина исчезла, а удивление осталось. Полипов сразу же отметил это, усмехнулся про себя.

Неподалеку затрещал, приближаясь, мотор. Кузин сразу же повернул на звук голову. Полипов встал, подошел к окошку, увидел Сашу Березовского, подъехавшего на каком-то черном мотоцикле с коляской. Его сразу же окружили наборщики, сержант — водитель автофургона, потом мелькнул Горохов.

— Что это такое? — спросил Полипов, открыв окно.

— Сейчас, товарищ майор, — крикнул Березовский, подходя к крыльцу.

— Опять что-то выкинул этот Березовский, — проговорил Полипов недовольно.

Березовский меж тем влетел в комнату, вытянулся у дверей.

— Товарищ подполковник! Разрешите обратиться к товарищу майору?

— Ну, между своими-то зачем уж эта официальность? — улыбнулся Кузин. — Обращайтесь...

— Товарищ майор! У автотранспортников одолжил, — кивнул Березовский за окно, где стоял мотоцикл. — Трофейный. Разрешите довести вас до войск? Мне ж тоже надо на передовую. К завтрашнему номеру кое-что подсобрать...

Кузин, оглядывая Березовского, молча пощевеливал бровями.

— Хорошо, Березовский, — сказал Поли-

пов. — А нельзя этот мотоцикл вообще забрать для редакции?

— Так вы попросите в штабе дивизии! Чего ж нельзя...

— Хорошо, идите! Мы сейчас.

Через несколько минут они выехали. Полипов предложил Кузину место в коляске, сам неловко взгромоздился позади Березовского.

Когда усаживались, Кузин спросил:

— Выходит, Петр Петрович, что вы член партии с дореволюционным стажем?

— Да... — ответил Полипов, поймав любопытный взгляд Березовского. — Осенью тысяча девятьсот пятого года я уже в новониколаевской тюрьме сидел.

— Это где же?

— Новониколаевск? Да теперешний Новосибирск.

— Ах да...

— А в девятьсот восьмом году снова. Но это было уже в Томске.

Больше Кузин ничего не спрашивал, сидел в коляске, о чем-то задумавшись. Полипов, чувствуя, как поскрипывают под ним пружины сиденья, тоже молчал. В голове появились мысли о том, что, если этому Кузину удастся написать свою книгу, вовсе не лишне, если в ней будет фигурировать и он, Петр Петрович Полипов. «Неплохо, неплохо, что Кузин забрел в редакцию. Конечно, теперь он будет внимательно следить за мной, надо не ударить в грязь лицом, пойти на самые передовые рубежи... хотя бы и немцы наступать начали... Это бы даже хорошо, если бы начали. И Березовского — с собой. Пусть все узнают в редакции, что я не робкого десятка. И что я еще в девятьсот пятом в тюрьме сидел, потом в девятьсот восьмом... Березовский не утерпит, развонит. И все неловкости, неизвестно даже как и почему возникшие в день прибытия в редакцию, забудутся навсегда...»

Так думал Петр Петрович Полипов, не подзревая, что в его жизни с каждой секундой приближается новый, неожиданный поворот, причиной которого являются давние-давние поступки, совершенные именно в те годы, о которых он сейчас говорил и вспоминал.

На каком-то подъеме мотоцикл затрещал сильнее, и это будто вывело подполковника Кузина из задумчивости. Он вскинул голову, огляделся. Солнце давно село, закат розово догорал, краски с каждой минутой блекли, светло-серое вечернее небо было прошито тонкими звездами, на востоке уже довольно густо, на западе пореже.

Кузин достал из полевой сумки фонарик, карту и, освещая ее, начал рассматривать. Потом спрятал то и другое, проговорил:

— Саша, сейчас проселок будет. Сверни-ка на него.

— А зачем? Тут же прямее. А там какой-то овраг объезжать.

— Я от ваших соседей связывался с командиром вашей дивизии полковником Велихановым. Он куда-то сюда хотел свой КП перенести. Разыщем его сперва.

Ни Березовский, ни тем более Полипов в этих словах ничего не заподозрили, и когда подъехали к проселку, Березовский свернул на него, мотоцикл понесся темной степью — фары в прифронтной полосе зажигать было запрещено. Березовский напряженно вглядывался во мрак, чтобы не сбиться с затравенной, едва приметной дороги.

В метрах тридцати до оврага проселок раздваивался.

— Куда же теперь? — обернулся Березовский, притормаживая.

— Остановись! Сейчас разберемся, — сказал Кузин.

Все сошли с мотоцикла. Кузин осмотрелся и произнес:

— Черт! Неужели это не тот проселок?

— Я эти места знаю, товарищ подполковник, — сказал Саша Березовский. — Вот эта дорога в Малые Бальки пошла. А эта — в обход болота. Тут болотища тянутся на много километров...

Это были его последние в жизни слова. Едва он замолк, Кузин левой рукой тронул его за плечо, кивнул на звездное небо:

— Гляди-ка...

Березовский запрокинул голову, Кузин мгновенно выхватил нож и всадил ему в горло. Младший лейтенант лишь коротко простонал и рухнул, чуть не задев тоже глянувшего в небо Полипова.

Какие-то секунды Полипов не был в состоянии оценить и понять случившееся, чувствуя лишь, как цепенеет и становится холодным его мозг, смотрел вниз на Березовского, а когда поднял голову, увидел не самого Кузина, а пистолет в его руке. В уши начала больно бить кровь, и сквозь этот шум он слышал:

— Спокойно, сибиряк!

Ноги его подломились, и он упал бы, если бы не оперся о коляску мотоцикла.

— Сибиряк... с печки бряк, — еще раз смешливо произнес Кузин-Валентик, шагнул к Полипову. — Повернись спиной! Подними руки!

Полипов повиновался. Валентик выдернул у него из кобуры пистолет, отстегнул с ремня такую же, как у него самого, саперную лопатку. Эту лопатку он сам и посоветовал недавно взять с собой, объяснив: «Мало ли

в какой переплет наш брат-газетчик попадает. Спасительница, руками ж не окопаешься. К тому же холодное оружие, если что...»

Обезоружив Полипова, он тем же насмешливым голосом проговорил:

— Ну, а теперь спроси чего-нибудь!

И будто повинувшись, Полипов выдавил хрипло, через силу:

— Что... все это значит?

Валентик снял очки и отшвырнул их далеко в сторону. Потом отодрал усы, но выбрасывать их не стал, а сунул в карман брюк.

— Что... все это значит? — опять спросил Полипов. Губы при этом у него не шевелились, а дрожали и дергались.

— От Лахновского тебе большой привет.

— От... кого?! — И Полипов сел на мотоциклетную коляску.

— От штандартенфюрера Лахновского Арнольда Михайловича.

— Не может быть... Не может быть... — пробормотал Полипов.

— Ну ты, встань! — жестко теперь, свирепо скомандовал Валентик. — Размазня!.. Бери мотоцикл! Кати в овраг! Живо!

Полипов, неуклюже повернувшись, взялся за руль, уперся сапогами в землю. Но то ли мотоцикл был слишком тяжел, то ли силы совсем покинули Полипова — машина не трогалась. Тогда Валентик, не выпуская из рук пистолета, подтолкнул сзади.

Вдвоем они докатили мотоцикл до обрыва, столкнули в заросший диким кустарником овраг, неподалеку от того места, где весь день пролежал Валентик.

— Теперь этого... туда же. Давай! — махнул пистолетом Валентик. — Тащи, говорю!

— Ну вот, — проговорил он, когда Полипов, сбросив младшего лейтенанта вниз, разогнулся. — Если и найдут, так не сразу. Теперь — еще повернись спиной. Руки назад!

Полипов встал к нему спиной. Валентик быстро и умело схватил его запястья каким-то узким ремешком, крепко стянул.

— Это на всякий случай, — сказал Валентик. — Рот забивать кляпом или не надо?

— Не надо, — промолвил Полипов, почти не слыша своего голоса.

— Ну, смотрите, — перешел Валентик вдруг на «вы». — Надеюсь на ваше благоразумие. Но если что — сразу пристрелю. Шагом марш! Идти впереди меня не дальше пяти метров. Прямо, вдоль оврага.

Минут через десять — пятнадцать они спустились в ложбинку и, пройдя по ней немного, оказались на дне самого оврага, дикого и глухого. По лицу хлестали ветки, и Полипов, боясь, как бы не ткнул в глаза какой сучок, уныло думал, что теперь-то, если даже наверху объ-

явится целый взвод советских солдат, кричать бесполезно. «Потому и рот не стал затыкать, сволочь...»

Полипов глянул вверх. Небо стало уже темным, звезды высыпали на нем все гуще. И ему показалось, что там, наверху, под этими звездами, был мир, оставленный им давно-давно, в который ему уже никогда не вернуться.

До какой-то деревушки они добрались еще затемно. Сперва все шли по оврагу, затем лесом, пока их не окликнули. Окликнули по-русски. Сердце у Полипова екнуло. «Подполковник» ответил: «Дождь и ветер», и Полипов догадался, что это пароль, — тут же застучали колеса по корневищам, в темноте замаячила повозка.

Человек, приведший его сюда, знаком приказал взобраться на нее, влез сам. Кучер — молчаливый, как пень, даже из любопытства не глянул на Полипова — подождал, пока он и его спутник сели, и тронул лошадь.

Сидеть Полипову было неудобно, связанные за спиной руки затекли, в запястьях и в плечах ныло.

— Развяжите хоть теперь-то, — попросил он.

Слов его будто никто не расслышал.

Когда въехали в деревушку, рук своих Полипов уже не чувствовал. «Подполковник», посвечивая фонариком, завел его в какой-то затхлый подвал и только здесь, рывком повернув его к себе спиной, разрезал стягивающий запястья ремень. Когда руки палками повисли вдоль туловища, в плечах возникла боль, голова закружилась.

— Ну вот, жди пока тут, — произнес кривоплечий человек, устало зевнул и добавил, будто расставаясь с близким человеком: — Отдыхай. И я пойду спать.

В подвале ничего не было, кроме подстилки из перетертой соломы на полу. Это Полипов заметил, когда «подполковник» светил тут своим фонариком. Даже окна, кажется, не было. Во всяком случае, когда этот зловещий человек ушел, Полипов остался в чернильной темноте. Ни проблеска, ни звука — полнейшая тишина. «Так вот как... в могиле! Вот как в могиле!» — стучало без конца у него в голове.

Он закрыл глаза, увидел перед собой небо, каким видел его из оврага — черным, с белыми звездами. И сознание его потухло...

...Очнувшись в такой же темноте, лишь вверху, как знак продолжающейся где-то жизни, мерцало несколько слабеньких светлых полосок. Петр Петрович Полипов долго смотрел на них, пока не вспомнил, где он находится, что с ним произошло, и догадался, что эти полоски

света пробиваются в подвал сквозь вытяжную трубу.

В плечах больше не ныло, в сердце теперь не колело, хотелось только по большой и малой нужде. «Интересно, спал это я... уснул или потерял сознание. И что будет дальше?! Лахновский, Лахновский... Штандартенфюрер. Это, кажется, полковник у немцев. Почему же он штандартенфюрер?»

Полипов встал и, удивляясь немного не столько реальному уже представлению о случившемся, сколько своему наступившему вдруг спокойствию, стал двигаться вдоль стены, намереваясь постучать в дверь: должны же понимать они, что здесь живой человек. Дойдя до угла, он наткнулся на что-то, нагнулся, нащупал деревянную бадейку. Понюхал и убедился в предназначении этой посуды...

Затем он долго сидел в противоположном от параша углу, опять вспомнил, как оно все случилось, как шли по оврагу, потом ехали, как при въезде в деревушку их несколько раз останавливали какие-то люди, говорящие по-русски, но одетые в немецкую форму, и, узнав Кузина или как там он у них назывался, пропускали дальше. Вспомнил также о мелькнувшей было вчера мысли во что бы то ни стало бежать, если представится хоть один шанс из тысячи. Сейчас это ему уже представлялось безрассудством. Какой там шанс! Кривоплечий сразу бы прихлопнул его.

В темноту подвала вдруг просочилась какая-то музыка, тягуче-тоскливая, похоронная будто. Она была еле-еле слышна. Полипов решил, что это у него слуховые галлюцинации, и сердце опять больно пронзило: вчера он представлял себя заживо в могиле, а сегодня...

Он мотнул головой. Но музыка не прекращалась. Заунывные звуки все точили и точили что-то в груди, задевая там за самое больное. Он встал, снова притираясь к стене, пошел — где-то должна быть дверь. Нашел ее, приник ухом к влажным, заплесневелым доскам. Музыка слышалась теперь отчетливее.

— Уф! — Он вытер рукавом гимнастерки холодный пот, отошел, опять сел. Сердце медленно успокаивалось. Почудится же... А там просто хоронят кого-то. С музыкой...

«С музыкой. С музыкой... с музыкой...»

«Неужели я схожу с ума!» — опалило вдруг его, и Полипов, будучи не в силах встать, на четвереньках пополз к двери, заколотил в нее кулаками, яростно закричал:

— Откройте! Расстреляйте! Только откройте... Я схожу с ума! Я схожу...

Никто ему не открыл. За дверью не раздалось ни звука, ни шороха.

Обессилев от крика, он обмяк, растянулся

тут же у двери лицом вниз и так, дыша тяжело, с храпом, лежал долго.

Успокоившись, он перевернулся на спину, стал искать светлые полоски на потолке. Но никаких полосок там уже не было — видимо, опять наступила ночь. «Ага... — облегченно отметил он про себя, почувствовал голод, и вдруг ему стало и вовсе легко. — Все равно они скоро придут, не для того же привезли сюда, чтобы с голоду умерить в этом подвале. Лахновский... Жив, оказывается. Кто же он такой теперь? Как узнал, что я здесь? Что ему теперь от меня надо?»

Когда раздался щелк отпираемого замка и тьму подвала прорезал луч электрического фонаря, Полипов воспринял это с облегчением: наконец-то! Луч пошарил по стенам, по полу, осветил его, скрючившегося в углу.

— Живой? — раздался голос того же Кузина. — Пойдем!

Теперь он был в немецкой форме, но знаков различия Полипов не разглядел.

— Безобразие, — буркнул он, будто имел здесь какую-то власть. — Еще бы немножко — и задохнулся в этой дыре.

— Вы, большевики, живучие, — усмехнулся бывший «подполковник». — Особенно которые с дореволюционным стажем.

Когда они подходили к длинному бревенчатому зданию, в каких обычно размещаются сельские школы, навстречу попались трое патрульных с автоматами. Они не остановили их, лишь оглядели и, узнав кривоплечего, отдали честь. Потом, когда входили в это здание, у самых дверей их остановил часовой, а из-за угла одновременно вышли еще двое. Кривоплечий что-то сказал часовому вполголоса, тот услужливо отмахнул двери.

...Он сразу узнал его, Арнольда Михайловича Лахновского, хотя тот очень изменился: катастрофически постарел, поседел, стал будто еще меньше ростом, нос заострился. Глаза лишь, кажется, были прежними — они так же насмешливо поблескивали, как давным-давно.

Полипов был уверен, что увидит Лахновского в немецком мундире, но тот стоял перед ним, опираясь на трость, в какой-то расстегнутой коричневой поддевке; Полипов почему-то ждал, что Лахновский заговорит с ним на немецком языке, но тот вообще ничего не говорил, стоял перед ним и, склоняя маленькую голову то вправо, то влево, осматривал с головы до ног.

Комната была, кажется, богато обставлена, но Полипов в первую минуту ничего не замечал. Лишь потом, как из тумана, начали проступать какие-то гнутые кресла, тяжелые портьеры, закрывавшие окна, круглый, на растопы-

ренных ногах стол, покрытый толстой, с длинной бахромой скатертью.

— Ну, здравствуйте, уважаемый, — произнес Лахновский по-русски.

Полипов хотел ответить, но с испугом и изумлением почувствовал, что горло ему перехватило, как веревкой, а язык не повинуется. Он только что-то промычал, Лахновский усмехнулся и, обернувшись, сердито сказал Валентике:

— Через полтора часа зайдешь! В советской форме.

Валентик молча вышел. Лахновский подождал, пока за ним закроется дверь, опять оглядел с ног до головы Полипова, будто прикидывая, как же поступить с ним. В этом раздумье своем он даже устало вздохнул и произнес слова, которых меньше всего Полипов ожидал:

— Проголодался, понятно... Идем ужинать! — Шагнув к стене и оттолкнув скрытую портьерой дверь в смежную комнату. — Сюда. Чего стоишь? Иди!

Полипов повиновался. Шаркая отяжелевшими ногами, прошел мимо Лахновского, переступил невысокий порог.

Эта комната была поменьше, окна, как и в первой, плотно занавешены. Какая-то молодая женщина в ярко-синем, коротком, выше колен, халате, с накрашенными губами заканчивала накрывать стол.

— Садись, — сказал Лахновский Полипову, сам сел первый, расстегнув свой сюртук, взял салфетку, сунул конец за воротник льняной рубахи.

Женщина в халате открыла один из судков, разлила в тарелки суп. Судки, тарелки, хлебница, перечница, солонка — все было тонкого, дорогого, не советского фарфора.

— Ступай, Леокадия, — сказал женщине Лахновский. — Мы сами.

Она всхлипнула, пошла, на ходу достала платочек, прижала его к глазам.

— Партизаны шлепнули позавчера ее... хозяйка, — непонятно проговорил Лахновский, размешивая суп в тарелке. — Из Орла, от командования возвращался. Под самой деревней подстерегли, сволочи. Живьем хотели, видимо, взять... А он не дался, начал отстреливаться. Мы подоспели, да поздно... Сегодня похоронили.

«Ага, я слышал музыку», — хотел сказать Полипов, но не посмел.

— Потому тебе и пришлось... там побывать. Ну, ешь!

Ошеломленный всем случившимся, встречей с Лахновским, Полипов не произнес еще ни слова. Промолчал и сейчас. Ложка в его руке дрожала. Хлебнув несколько раз, он опять

вспомнил, как Валентик всадил нож в горло Березовскому, громко звякнув ложкой о тарелку и отложил ее, стал невидящими глазами смотреть куда-то в сторону.

Лахновский на это никак не отреагировал, продолжал есть. Чтобы не расплескать из ложки, он поддерживал ее кусочком хлеба.

Еще раз Полипов вздрогнул, когда Лахновский как-то неожиданно проговорил:

— Чего молчишь-то?

— Не могу... опомниться, — выдавил из себя Полипов.

— Не рад, хе-хе, встрече? Нехорошо, Петр Петрович...

Скрипучий смешок Лахновского, собственный голос и эти три обычных слова, которые он произнес с трудом, вывели Полипова из оцепенения, вернули его в реальность, чудовищную и непостижимую.

— Боже мой! Боже мой! — вздохнул он.

— Как Полина Сергеевна поживает? Супруга? Помню ее, хе-хе... Помню.

— Я думал, вас... вы...

— Ты думал, что меня уже нет в живых? Надеялся, что я подохо? — зловеще нахмурился Лахновский. — Ишь ты, гусь! Вон какой жирный! Отъелся на советских харчах!

И, будто вспомнив, что сам-то стал теперь худым и дряблым, подвинул к себе другой судок, выволок оттуда отварного цыпленка, брызгая на салфетку, прикрывавшую грудь, разорвал его, один кусок бросил на тарелку, другой принялся не спеша объедать.

Полипов, испытывая перед этим человеком непостижимый страх и одновременно чувствуя брезгливость к нему, отвернулся и опять стал смотреть в угол.

Покончив с цыпленком, Лахновский вытер салфеткой пожухлые губы, беззвучно пожевав ими, произнес:

— Н-ну-с? А я так, знаете, рад, Петр Петрович. Вот... смотрю на вас и вспоминаю прошлое. Сибирь, Сибирь! Великолепный край. Все думаю — как же там жизнь-то идет, а? И как вы там?

— Жена... о которой, как я понял, вы храните приятные воспоминания, переписывалась с вами до войны. И в письмах все, конечно, обо мне... И о жизни в Сибири...

— Да, конечно, конечно, — кивнул Лахновский.

— Где я нахожусь? И что вам теперь-то от меня надо? — прямо спросил Полипов.

— В деревне Шестоково. Здесь расположена одна из немецких разведывательных групп системы «Виддер». Слышали что-нибудь про «Виддер»?

Глаза Полипова сделались круглыми, ле-

вый уголок рта дернулся. Заметив это, Лахновский усмехнулся.

— Как понимаете, я сообщил вам тайну государственной важности. Но вы же — свой человек...

Уголок рта у Полипова еще раз дернулся, и он, чтобы скрыть это, чуть отвернулся. Но теперь почувствовал, как горят его уши, особенно почему-то правое, обращенное к этому проклятому Лахновскому. «Свой человек... Свой человек...» — долбило где-то в глубине сознания, вызывая раздражение и протест. Ему хотелось закричать: «Какой я вам свой?! Какой я вам свой?!» — но Полипов понимал, что не закричит, потому что это бесполезно, потому что этот Лахновский оболет его опять своей дружеской и дьявольской улыбкой и спросит, как когда-то, давным-давно: «Не кажется ли вам самому ваше поведение несколько смешноватым?»

Он, Петр Петрович Полипов, никогда не любил вспоминать о своем прошлом, старался не думать о нем. Но сейчас из темных глубин памяти сама собой всплыла та следственная камера при Томской городской жандармерии, хозяином которой был вот этот человек, открывший сейчас металлическую табакерку и закладывающий в черные ноздри табак. Тогда он был молод, вылощен, форменный его китель горел пуговицами. И он не нюхал табак, а курил. Вон той, правой рукой он обхватил его голову, а левой начал тыкать в глаз горячей папиросой, требуя ответить на один-единственный вопрос: «Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск?» И что же дальше получилось? Нет, нет, он, Петька Полипов, не хотел выдавать Антона Савельева, с которым они приехали в Томск за типографским оборудованием, чтобы наладить выпуск в Новониколаевске подпольной газеты. И он не выдал бы, если бы не Лиза, эта колченогая девчонка. Что она сейчас ему? Ничего, пустое место. А тогда? Вот ведь как бывает... Конечно, он понимал, что Лахновский подержал бы их с Антоном в тюрьме... ну, измывались бы над ними... И все равно выпустили бы за неимением улики. Но вдруг почудилось ему... Лахновский подсказал, что очень просто может он, Петька Полипов, получить девчонку с длинными, угольно-черными бровями, в больших зеленоватых глазах которой вечно жила какая-то таинственность. Вроде затмение какое-то нашло на него тогда. И вот:

— *Что я... должен... для этого сделать?*

— *Сказать, зачем вы приехали в Томск.*

— *Сколько... сколько лет дадите ему... Савельеву?*

— *Смотря по тому, с какой целью он приехал в Томск...*

Вон как ловко и умело вел разговор этот Лахновский. Уже не вы, а только Он! Смотри, значит, по тому, с какой целью Он приехал в Томск. Но это сейчас ему, Полипову, все ясно и понятно, как на ладони. Но тогда он не заметил этой тонкости в словах Лахновского и потребовал:

— *При одном условии — я вне подозрения.*

— *М-м... При одном условии и с нашей стороны... Мы сажаем вас на несколько месяцев в тюрьму... в камеру с политическими. Вы должны постоянно нас информировать об их разговорах, планах, связях с волей. Выйдя из тюрьмы, вы принимаете участие в работе вашей партийной организации, подробнейшим образом информируя...*

— *Довольно! Кончайте...*

Он, Петр Петрович Полипов, обливаясь потом, ясно и отчетливо вспомнил сейчас и все дальнейшее, увидел белый лист бумаги, который положил перед ним Лахновский, услышал даже его хруст.

— *Для начала несколько вопросов. Вожаки вашей городской подпольной организации РСДРП? Их фамилии, клички, явки? В Новониколаевске нелегально проживает бежавший с каторги некто Чуркин, настоящая фамилия которого Субботин. Его местонахождение?*

И еще дальше:

— *Мы сделаем так: я дам вам адрес и шифр, на этот адрес вы будете слать мне из Новониколаевска ваши донесения, подписываясь условным именем. Таким образом, ни одна живая душа, кроме меня, не будет знать о вашей... патриотической деятельности на благо России...*

И потом, как следствие, арест Чуркина-Субботина, многие провалы новониколаевской подпольной организации РСДРП, неоднократные аресты Антона Савельева. Его, Полипова, тяжкая жизнь, полная животного страха перед возможной каждой минутой разоблачением.

С началом войны родилась надежда, что уж теперь-то сгорит где-нибудь Лахновский, этот жуткий человек, ведь он стар, теперь должен быть и немощен, не выжить ему. И вот он — Лахновский, одряхлевший телом, но имеющий по-прежнему неограниченную власть над ним! И эту власть он показал, продемонстрировал... А сейчас сидит, положив обе руки на трость, смотрит на Полипова пристально, сузив глаза... Чего смотрит? Что хочет высмотреть в нем?

Полипов рукавом измятой гимнастерки отер взмокшее, распаренное лицо, прохрипел:

— *Довольно! Кончайте...*

Он и не заметил, что произнес те же слова, которые выдал из себя когда-то давным-давно в следственной камере при Томской городской жандармерии и которые только что

всплывали у него в памяти. Но мгновение спустя понял это, потому что Лахновский, не отрывая от его лица насмешливого взгляда, чуть скривил бесцветные губы и вкрадчиво, но без насмешки спросил:

— О давних и добрых наших отношениях, Петр Петрович, размышляете?

Это было уже слишком. Полипов резко вскочил. И чувствуя, как горло у него опять перехватило, торопливо выдал:

— Вы... что, дьявол? Дьявол, спрашиваю?

Лахновский молчал. Обе руки его так же лежали на трости. Он только пальцами верхней руки побарабанил по нижней.

Это Полипова вывело из себя окончательно. Он крутнулся, схватился побелевшими пальцами за спинку стула, на котором сидел, словно собиравшись обрушить его на Лахновского, и, задышавшись, прокричал:

— О добрых?! Вы... ты... Это — какое-то проклятье надо мной! Всю жизнь! Всю жизнь! За что? За что?

Лахновский все это терпеливо выслушал. Ни одна складка на его лице не шевельнулась. И лишь когда Полипов умолк, проговорил тихо:

— Успокойтесь, Петр Петрович. — Опираясь на свою трость, поднялся. — Я вас отпускаю. Пойдемте в ту комнату! Окна у нас закрыты, а там все же воздух побольше.

И, покачивая плечами, пошел от стола к дверям.

— Да, я тебя отпускаю, — опять перешел на «ты» Лахновский, уселся в кресло. Свою трость он снова поставил между ног и снова уложил на нее руки.

— Отпускаете... — Полипов остановился возле стола, застланного толстой, тяжелой скатертью с длинной бахромой. — Зачем тогда все это... — Полипов сделал неопределенное движение головой: не то кивнул куда-то, не то боднул воздух. — Зачем тогда меня этот Кузин ваш... При этом он человека убил.

— Человека... — Лахновский брезгливо шевельнул губами. — Эко событие. С тех пор, как на земле появились эти странные существа — люди, они истребляют друг друга. Иначе их расплодилось бы слишком много. Сейчас они убивают друг друга миллионами.

— Философ вы...

Лахновский пожал плечами, как бы говоря — не знаю, мол, и добавил:

— Истребление друг друга — дело для людей нормальное.

— Что-то подобное, кажется, поп Мальтус проповедовал.

— Он не дурак был, этот поп... как бы вы, коммунисты, против этого ни возражали. Да ты садись!

Полипов, однако, стоял. Лахновский глядел на него, не мигая, как удав на жертву. И, словно повинувшись этому взгляду, Полипов взял стул, придвинул его к столу и сел.

— Вот так, — удовлетворенно произнес Лахновский не то Полипову, не то отвечая каким-то своим мыслям. — Я не философ. Какой я философ? Но история подтвердила: когда людей на земле становится слишком много, порядка на ней с каждым годом меньше и меньше. Большим стадом пастуху трудно управлять. И чем больше стадо увеличивается, тем скорее выходит из повиновения.

Полипов сидел, опустив голову, но при этих словах приподнял ее.

— В высшей степени интересно... И кто же пастух этот?

— А тот... Кто пасет народы жезлом железным, как сказано в Библии. Господь наш.

Полипов успокаивался все больше. В какой-то момент, наступивший вскоре после слов Лахновского «Я вас отпускаю», Петру Петровичу вдруг показалось, будто все случившееся с ним за последние сутки произошло, собственно, не с ним, а с кем-то другим, а он был при этом лишь свидетелем.

— Вы что же, Арнольд Михайлович, в бога верите? — спросил он с едва заметной иронией.

Лахновский на это ничего не ответил, лишь качнул головой, но не утвердительно, а как-то неопределенно, будто не соглашаясь, но и не протестуя против иронии в голосе Полипова.

— Не верите вы, — сказал Полипов. — Ни тогда... в те давние годы, не верили, ни сейчас.

Лахновский опять качнул головой. И как-то горестно вздохнул.

— Если хотите отпустить, зачем притащили сюда? — еще раз прямо спросил Полипов.

— От начальника нашей абвергруппы Бергера потребовали человека для какого-то задания в русском тылу. Что это за задание, я не знаю. Но по всему видать, очень уж серьезное — из самого Берлина в Орел по поводу такого человека звонили, а из Орла к нам. Знаю только, что этот человек должен быть для русских абсолютно вне подозрения. Видно, для какой-то крупной диверсии или теракта он понадобился. Вот я и подумал, не подойдешь ли ты.

По мере того как Лахновский говорил это тихим, ровным голосом, спокойствие Полипова исчезало, улетучивалось, внутри у него все леденело. Холод, возникший сначала в груди, растекался вверх и вниз по всему телу, онемели ноги, руки и, кажется, язык.

— Это что... теракт? — все же выдал он.

— Террористический акт, — спокойно проговорил Лахновский. — Понадобилось, видимо,

какого-то крупного советского деятеля убрать. Раз в тылу, значит, не военного. А может, и военного.

Полипов был теперь бледен.

— Н-нет, — вымолвил он, засунул два пальца за грязный воротник, подергал его, не расстегивая. — Вы что?! На такое дело... я не гожусь. И не пошел бы никогда! Вы... ты — слышишь?!

Лахновский помолчал. Затем как-то сожалеюще вздохнул.

— Никогда! Слышишь?! — вскричал Полипов, поднялся.

— Слышу, не ори, — ответил Лахновский. — И — сядь!

Он чуть приподнял голову. Этого было достаточно, чтобы Полипов плюхнулся обратно на свое место. Уже сидя почувствовал, как дрожат его ноги, как судорога сводит икры.

В комнате с плотно занавешенными окнами стояла тишина, ни один звук не долетал снаружи. И эта тишина, молчание Лахновского, который снова полез за табакеркой, угнетающе давили на Полипова, воздуха ему не хватало, он задыхался.

— Не пойдешь... — Лахновский взял щепотку табаку. — А куда б ты делся? Да партизаны, говорю, прикончили Бергера... на твое счастье, когда он из Орла возвращался.

Лахновский со свистом втянул табак в ноздри, хотел чихнуть, закрыл было уже глаза в блаженстве, но словно передумал, зло поглядел на Полипова и стал прятать в карман табакерку. Покончив с этим, застыл в прежней позе.

Посидев так с минуту, по-старчески вздохнул:

— Да и я, Петр Петрович, теперь вижу, что не годишься. Потому и отпускаю тебя с миром. Живи и помогай нам, как прежде.

На лице Полипова отразилось недоумение.

— А я тебе одним примером это поясню, — усмехнулся Лахновский. — Вот ты насмерть затоптал нескольких коммунистических фанатиков... как их? Засухин, кажется, фамилия одного. А других забыл, давно Полина Сергеевна мне писала. Да не в фамилиях дело. Разве это не помощь? Сколько бы они вредных дел для нас наделали?!

Этот старик говорил возмутительные вещи, против которых вдруг запротестовало все существо Полипова, а в голове его заметалось: да, с одной стороны, так, он их... с помощью Алейникова... Знает ли этот проклятый Лахновский про Алейникова? Знает, конечно, разве Полина не написала! Но с другой стороны, все это намного сложнее. С другой-то стороны — при чем тут он? Алейников это! Ну да, при его, Полипова, желании, можно сказать даже — с его помощью. Но этого никто и никогда не докажет. Такое уж

время. Вон Кружилин, даже Субботин и-те не, осмелились бросить ему такое обвинение. А этот Лахновский... Наглец! Какой наглец!

Петр Петрович, кажется, забыл, где он находится, и, возмущенный, поднялся было, чтобы возразить ему. Но тут же напоролся на острые, неподвижные зрачки Лахновского и, вскочив, нелепо встал, безмолвный, одной рукой опираясь о стол, другой о спинку стула.

— Ну, оправдываться хочешь? — выждав, проговорил Лахновский. — Говори! А я послушаю.

Но говорить Полипову было нечего, оправдываться, собственно, не перед кем и не к чему. Постояв, он медленно и тяжело осел, стул под ним заскрипел.

— Вот видишь... — На лице Лахновского проступило что-то живое. — Как говорится у нас, у русских, против фактов не попрешь.

— Вы... вы не русский. Нет! — неожиданно для самого себя, желая в чем-то возразить Лахновскому, бросил Полипов.

Прикрыв было сморщенные веки, Лахновский быстро вскинул их, посмотрел на Полипова с недоумением. И промолвил с грустной усмешкой:

— А вы, Петр Петрович?

Полипов хотел ответить утвердительно. Но не ответил, снова второй раз за сегодняшний вечер вспомнил, как он бросал жене наполненные злобой и яростью слова, что он русский и ему ненавистна даже сама мысль, что русскую землю топчут иноземцы, что немцам никогда не победить России. И еще вспомнил, как Полина, слушая его, сперва насмешливо улыбалась, а потом на лице ее появилось недоумение, беспокойство.

Полипов ничего не сказал, а Лахновский и не требовал ответа на свой вопрос — он, кажется, тут же забыл о нем. Он, по-прежнему положив обе руки на трость, сидел неподвижно и смотрел в сторону, на закрытое ставнями и занавешенное тяжелой шторой окно. Потом глубоко вздохнул и произнес:

— Стар я, Петр Петрович... Вот что жалко. Умру скоро. Не увижу нашей победы.

— Какой? Немецкой?

Лахновский дернул веками, полоснул глазами Полипова.

— Нет... Гитлер, он дурак. Ах, боже мой, какой он идиот!

— Любопытно, — уронил Полипов, сдержанно усмехнувшись. — Объясните уж тогда, почему он...

Слова «дурак» и «идиот» Полипов произнести не решился.

— Что ж... я объясню, — после непродолжительного молчания сказал Лахновский. — До июня сорок первого года это была самая могу-

щественная сила в мире, способная перекроить мир. Страны падали перед ним, как трава под косой. Вся Европа стояла на коленях. Вся. Только Англия... Вы хорошо помните те события?

— Как же... газеты читал, — неопределенно ответил Полипов.

— Ага, — кивнул белой головой Лахновский. — Тогда знаете, что такое Дюнкерк. И вот представьте — по-моему, это не трудно представить, — что бы произошло, если бы тогда, в сороковом году, после разгрома французов и бегства англичан Гитлер переправил свои дивизии через Ла-Манш и напал на Англию? Сколько бы продержались англичане? Неделью, две? Ну?

— Не знаю, — сказал Полипов.

— «Не знаю», — буркнул недовольно Лахновский. — Очень бы недолго... Очень бы скоро немцы вошли в Лондон, как они входили в столицы всех европейских государств. Не было силы, которая могла бы их остановить. Не было, понимаете?! — визгливо воскликнул он.

— Да-да... пожалуй.

Лахновский будто удовлетворился этими словами, успокоился, только часто и торопливо дышал. Но потом и дыхание его стало ровнее и тише.

— Ну... вот. А теперь и подумайте... Сейчас Англия и Америка — союзники России. Второй фронт они пока не открывают, и я не знаю, откроют ли. Никто пока этого не знает. Но они, союзники России, помогают ей вооружением, продовольствием... Не знаю, чем еще. Подумайте, говорю, с кем была бы сейчас Америка, эта могущественная страна, если бы Англия была под властью Гитлера, воевала на его стороне. А, с кем? Не с Гитлером?

— Да, да, возможно... — Полипов вытер опять вдруг выступившую на лбу испарину. — Вполне возможно. Потому что... все это логично вы...

Лахновский ждал этих слов напряженно, как ждет подсудимый приговора, и, чтобы лучше расслышать, даже вытянул в сторону Полипова длинную жилетную шею.

— Именно, — произнес он удовлетворенно. — Именно — логично. Америка была бы на стороне Германии. И тогда бы... А теперь...

Лахновский низко уронил голову, коснулся лбом сложенных на трости рук и так застыл.

По-прежнему стояла глухая, гнетущая тишина. Над столом висела фарфоровая керосиновая лампа с абажуром, было слышно, как потрескивал за стеклом язычок пламени. «В лампе, видимо, не керосин, а бензин», — подумал Полипов.

— Невероятно, непостижимо... — простонал Лахновский, отрывая голову от сложенных на трости рук. — Как же мог Гитлер, опытный по-

литик, так чудовищно просчитаться? А? Ответьте!

— Я вам Гитлер, что ли? — обозленно сказал Полипов. — Как он мог? Он, видимо, боялся, что еще год-два — и Советский Союз станет ему не по зубам...

Произнеся все это, особенно слова «не по зубам», Полипов несколько смутился, даже испугался. «Черт его знает... оскорбится еще проклятый старик», — мелькнуло у него. Но Лахновский лишь бросил коротко:

— Ну?

— Вы же знаете... Мы стремительно развивали индустрию, оборонную промышленность. Гитлер же это понимал.

— Да, может быть. Может быть... — Лахновский вздохнул теперь глубоко. — Ну и что? Пусть год, пусть два... Зато вся мощь Англии и Америки была бы в распоряжении Гитлера. Теперь же, после Сталинграда... И вот сейчас на Курском направлении началось. Скоро нам из этого Шестокова придется, наверно, убираться... Вон партизаны обнагтели — под самой деревней шныряют. Бергера убили... Он, видимо, нужен был им живым... И я им нужен живым. Да, теперь жди нападения на самое Шестоково. Вот такие дела, такие дела, Петр Петрович...

Лахновский вдруг рывком выкинул из кресла свое тело, торопливо пошел, тыкая тростью в ковры, к противоположной стене, будто намереваясь с ходу проломить ее.

Но у самой стены стремительно повернулся, пошел, почти побежал назад.

— Вот такие дела, Петр Петрович! — повторил он, останавливаясь возле кресла. — Нет, Гитлеру этой войны не выиграть. А это значит... Это значит, что нам не выиграть вообще... в этом веке.

Помолчав, послушал зачем-то тишину. И в этой полнейшей тишине еще раз воскликнул:

— В этом веке!

Сел на старое место, нахохлился, будто его грубо и несправедливо обидели.

— Как это горько сознавать, Петр Петрович! Как горько умирать с этой мыслью!

Полипов, изумленный, ничего не мог сказать. Да Лахновский и не требовал этого.

За дверью, закрытой портьерой, послышался шум, какой-то скрип, напомнивший, что жизнь где-то там еще не кончилась, еще продолжается — жуткая и непонятная. Полипов повернул к двери голову. Портьера кольхнула, и появился Кузин-Валентик в форме подполковника советских войск.

— Герр штандартенфюрер... — начал было он, но Лахновский досадливо махнул рукой:

— Сейчас. Подождите там...

Полипов понял, что этот тип явился в связи с его дальнейшей судьбой, распоряжение о ко-

торой скоро последует. «Какова она теперь будет? И чем все кончится?» — думал он, чувствуя подступившую к горлу тошноту.

— Да, плохи дела у немцев, коль они решились на крайности... на физическое устранение кого-то из советского руководства. Может быть, самого главного руководителя... — произнес Лахновский.

Губы Полипова побелели и сами собой открылись.

— Не может быть... Не может...

— Ну, все может быть. Я, впрочем, не утврждаю. Так, догадки. Да не трясись! Твоя кандидатура, к счастью для тебя, отпала... в связи с гибелью Бергера. — Он насмешливо оглядел Полипова, который в своей грязной гимнастерке с помятыми погонами был жалок и непригляден. — Да если б и не отпала — не прошла бы. Вон какие молодцы имеются, — кивнул он на дверь, куда вышел Валентик. — Такие пойдут на все. На все! Ну что же, Петр Петрович...

Полипов, думая, что разговор с ним заканчивается, хотел было встать. Однако Лахновский жестом попросил сидеть. — Ну что же... Не удалось нам выиграть в этом веке, выиграем в следующем. Победа, говорит ваш Сталин, будет за нами. За Россией, то есть. Это верно, нынче — за Россией. Но окончательная победа останется за противоположным ей миром. То есть за нами.

В тихом скрипучем голосе не было сейчас ни злости, ни раздражения, отчего слова, вернее, заключенные в этих словах мысли, звучали в устах Лахновского вполне убедительно.

— Не ошибаетесь? — вырвалось у Полипова неволью, даже протестующе.

— Нет! — повысил голос Лахновский. — Вы что же думаете, Англия и Америка всегда будут с Россией? Нельзя примирить огонь и воду.

— Но идеи Ленина, коммунизма — они...

Полипов начал и осекся под холодным взглядом Лахновского.

— Ну? — зловеще выдал он. — Продолжай!

— Они... эти идеи... — Полипов был не рад, что начал говорить об этом. И в то же время он хотел яснее понять, на чем же все-таки держится эта фантазия Лахновского.

— Непобедимы?! — вскричал, как пролаля, Лахновский. — Это ты хотел сказать?! Об этом все время кричит вся ваша печать... Непобедимы, потому что верны, мол...

— Я хотел сказать... — перебил его Полипов. — Они, эти идеи, все же... привлекательны. Так сказать, для масс.

— Все же? Для масс?

Он выхватил из его сбивчивых фраз как раз

те слова, на которых Полипов не хотел бы останавливать его внимание. Но проклятый старик повторил именно их, и Полипов поморщился.

Лахновский заметил это, насмешливо шевельнул губами, опираясь на трость, медленно, будто с трудом разгибая высохшие суставы, поднялся и больше уж не садился до конца разговора.

— Слушай меня, Петр Петрович, внимательно. Во-первых, непобедимых идей нет. Идеи, всякие там теории, разные политические учения рождаются, на какое-то время признаются той или иной группой людей как единственно правильные, а потом стареют и умирают. Ничего вечного нет. И законов никаких вечных у людей нет, кроме одного — жить да жрать. Вот и все. А чтоб добиться этого, ради этого умные люди сочиняют всякие там идеи, приспособливают их для себя, чтоб достичь этой цели, одурачивают ими эти самые массы — глупую и жадную толпу двуногих зверей, чтобы заставить их работать на себя. А, не так?

Полипов молчал, плотно сжав губы.

— Молчишь? Там, у своих, где-нибудь на собрании ты бы сильно заколотился против таких слов. А здесь — что тебе сказать? Вот и молчишь. А я тебя, уважаемый, насквозь вижу. Идеи... Не одолей нас эта озверелая толпа тогда, ты бы сейчас совсем другие идеи проповедовал. Царю бы здравницу до хрипа кричал. Потому что это давало бы тебе жирный кусок. Но эта толпа сделала то, что называется революцией... Несмотря на наши с тобой усилия, все пошло прахом. За эти усилия и меня и тебя могли запросто раздавить, как колесо муравья давит. Но мы увернулись. Ты и я. Но я продолжал... я продолжал всеми возможными способами бороться. Потому и здесь, с немцами оказался. А ты, братец, приспособился к новым временам и порядкам. Ты спрашиваешь, верю ли я в бога. А сам ты веришь в коммунистические идеи? Не веришь! Ты просто приспособился к ним, стал делать вид, что веришь в них, борешься за них. Потому что именно это в новые времена только и могло дать тебе самый большой... и, насколько можно, самый жирный кусок. А, не так?

По-прежнему молчал Петр Петрович Полипов.

Лахновский крутанулся, торопливо подошел к окну, занавешенному плотной и тяжелой материей.

— Вот, это все — во-первых, — объявил он, вернувшись. — Но я тебя не осуждаю, нет... Жить каждому надо... А теперь — во-вторых. Коммунистические идеи, говоришь, привлекательны для толпы? К сожалению, да.

Лахновский умолк. Стоя на одном месте, он смотрел почему-то себе под ноги и тыкал тро-

стью в ковер. Полипов теперь увидел, что трость его остро заточена. Она протыкает ковер насквозь. Но ему и в голову не пришло, что Лахновский при желании пользуется ею как страшным оружием, он подумал, что трость заточена всего лишь для того, чтобы не скользила при ходьбе. Еще ему стало жалко дорогой ковер.

— К сожалению, да, — повторил Лахновский. — И я, Петр Петрович, думаю уже о том, о чем немногие, может быть, и думают сейчас. Что Гитлер проиграл войну, это теперь ясно. Но как она закончится, а? Как она закончится?

Он резко вскинул глаза на Полипова. Затем приподнял голову.

— В каком смысле? — отозвался Полипов на его безмолвный вопрос.

— Большевики вытеснят немцев, отбросят со своей территории. А дальше что? Границу они перейдут или нет? И если перейдут — где остановятся? Что станет с теми странами Европы, которые сейчас находятся под властью Гитлера и воюют на его стороне? Что станет с самой Германией? Со всей Европой?

— Кто ж... может это сказать, — промолвил Полипов.

— Сказать не может... А думать разве не надо? Разве не могут многие страны, подвластные сейчас Гитлеру, оказаться под пятой большевизма?

Не дожидаясь его ответа, да и не интересуясь им, Лахновский двинулся по комнате мимо Полипова, обошел вокруг стола.

— Тем более что идеи коммунизма пока привлекательны! — с раздражением ткнул он тростью в ковер, останавливаясь. — Вот ведь что может получиться, уважаемый.

Лахновский постоял еще, горестно сжав губы, затем качнулся, пошел в другую сторону, опять обошел вокруг стола, задержался напротив Полипова. Тот хотел было подняться, но старик снова жестом остановил его.

— Но, как говорят диалектики, все течет, все изменяется. Если даже случится такое с Европой... Не со всей, будем надеяться, в так называемые нейтральные страны большевики не сунутся. Если и случится такое — ну что ж, ну что ж... Победа наша несколько отдалится, только и всего. Но мы будем ежедневно, ежедневно работать над ней. Ах как жаль, Петр Петрович, что немного мне уж осталось жить! Как хочется работать, черт побери, ради великого и справедливого нашего дела!

Лахновский, умолкнув, внимательно посмотрел на Полипова, жалко и беспомощно сидевшего на стуле. Снова усмехнулся той снисходительной улыбкой, при которой эта снисходительность лишь прикрывала высокомерие и брезгливость.

— Не верите в нашу победу?

Полипов пожал плечами: не знаю, мол, что и думать.

— А вот жена ваша верит. На заре ее туманной юности я как-то беседовал с ней об этом. — Он несколько секунд что-то припоминал — в его старческих, потускневших глазах шевельнулся живой огонек и тут же потух. — Полина Сергеевна — замечательная женщина. У вас нет детей?

— Нет.

— Жаль. Очень жаль. Вы берегите жену.

— Спасибо за совет. Мне еще самому... Неизвестно, что еще со мной...

— Ну, останетесь живы, — убежденно сказал Лахновский. — В атаку вам не ходить.

— Прошли сутки, как я из редакции уехал. Меня уже потеряли. Если вы меня и отпустите...

— Отпустим, — подтвердил Лахновский. — К рассвету будете у своих.

— Как же я объясню... где был, почему отсутствовал? Мною же особысты сразу займутся.

— Ах, боже мой! — Лахновский приподнял трость и раздраженно ткнул ею в ковер. — Сегодня с утра оба фронта, ваш и наш, снова двинулись. Там такое творится! Кто заметит в этой суматохе, в месиве крови и смерти, что ты сутки отсутствовал? Сейчас Валентик переведет тебя где-нибудь за линию фронта... Обрадовался, гляжу? — заметил Лахновский. По губам его теперь змеилась ядовитая усмешка. — Вот ты лишний раз и демонстрируешь этот извечный закон, существующий в людском стаде, — жить, любой ценой выжить. Все вы скоты. И ты — не лучший и не худший из них. Живи!

Последние слова он выкрикнул со злостью, с завистью, круто повернулся, дошел до угла комнаты. Там постоял, будто рассматривая что-то. Резко обернулся, торопливо подошел, почти подбежал к Полипову.

— Да, проклятые коммунистические идеи пока привлекательны! И многих, к несчастью... к сожалению, они, эти идеи, делают фанатиками. Поэтому Гитлер терпит поражение. — Лахновский тяжело, с хрипом дышал. — На своей жизни я немало встречал таких фанатиков. Этого... как его — Антона Савельева помнишь?

— Как же, — вымолвил через силу Полипов.

— Ты выдавал, а я его сажал! Все вышес, скот, — каторжный труд, кандалы, пытки...

— Он... погиб. Нет его в живых, — вставил Полипов.

— Погиб?! Где же, когда?

— Больше года назад, жена мне писала. В Шантару, где я работал, эвакуировался оборонный завод. Там случился пожар. Этот Антон

Савельев... Он был директором этого завода. Цензура из писем все такое вымарывает. Но все же я понял, что завод взорвался бы, если б Антон Савельев что-то там не сделал. При этом и погиб.

— Вот-вот! А этот... Чуркин-Субботин? Главный новониколаевский большевик? Твоя жена писала мне до войны, что он был секретарем обкома...

— И сейчас... Живой еще.

— Ага, ага, живой... — Лахновский уже успокоился, ярость, бушевавшая у него внутри, утихла. — Живой... И ты живи, Петр Петрович. И своей жизнью, своей работой разрушай привлекательность коммунистических идей. Как и раньше...

У Полипова шевельнулись складки на лбу.

— Да, как раньше! — рассвирепел Лахновский. — Не изображай такого удивления!

Затем гнев его как-то сразу увял, утих, он, болтая тростью, принялся молча рассказывать взад и вперед по комнате. И примерно через минуту заговорил:

— Видишь ли, в чем дело, Петр Петрович... Мы сейчас расстанемся и, бог знает, свидимся ли когда. Вряд ли. Поэтому я скажу тебе все... что, конечно, считаю возможным. Может быть, что-то ты поймешь, а что-то пока и нет. Да и, в сущности, не важно, поймешь ты или нет. Все равно ты останешься таким, каков есть.

— Каков же я, позвольте спросить, в вашем понимании?

— Каков ты есть, таков и есть, — продолжал Лахновский негромко, не удостоив сейчас Полипова даже и взглядом. — Уж я-то тебя знаю. Но таким ты нам и нужен. Это я в тебе всегда ценил. Нет, что ли?

Только теперь Лахновский, приостановившись, поглядел на него. Но Полипов демонстративно отвернулся.

— Что ж, с моей точки зрения, произошло в мире после революции в России? — серьезно продолжал Лахновский. — Впрочем, не будем говорить обо всем мире, это слишком сложно. Возьмем одну Россию. Ну что ж, в так называемом народе произошел взрыв биологического бешенства...

Полипов взглянул теперь невольно на Лахновского.

— Да, — кивнул тот. — Я так считал тогда, в те годы, и сейчас считаю. Именно! Слепое биологическое бешенство, заложенное в каждом человекообразном, вырвалось наружу. И силы, которым определено всевышним держать в узде человеческое стадо, не выдержали, были сметены. Российские правители были безмозглые дураки, это давно очевидно. Надо было или держать это биологическое бешен-

ство народа в узде, в таких крепких сосудах, чтобы оно оттуда не выплеснулось и не разорвало сам сосуд, или, если это трудно или невозможно, давать отдушину, спускать потихоньку пар из котла... Ну, не знаю, какие-то подачки, что ли, бросать время от времени всем этим рабочим и крестьянам, всей вонючей дряни... Рабочий день, скажем, уменьшить, платить чуть побольше. Всякие развлечения обеспечить. Чего римляне требовали от своих правителей? Хлеба и зрелищ! Но власть имущие в России этого дать не сумели, не додумались до этого. И прошел по России смерч, который все смел на своем пути. Так?

Полипов вздрогнул от вопроса, упавшего на него, как камень.

— Что ж... все действительно было сметено, — промолвил он.

— Да, все. И мы в этой пустыне... на этих обломках пытались после смерти Ленина, этого главного фанатика... не знаю, как его еще назвать... Маркс, Ленин... Да, это были гениальные люди. Я признаю! — Лахновский опять стал наполняться гневом и, задыхаясь, принялся все быстрее бегать по глухой, занавешенной тяжелыми полотнищами комнате. — Я признаю... Но их гениальность в одном: они нашли способ выпустить из народа его биологическое бешенство на волю! Да, после смерти Ленина мы принялись строить... закладывать основы нового, справедливого... и необходимого нам государства и общества. И мы многое уже сделали...

— А кто это — мы? — Полипов осмелился задать вопрос, который давно сверлил мозг.

Лахновский рывком обернулся к Полипову, на дряблых щеках, на подбородке у него полыхали розовые пятна.

— Мы? Кто — мы? — переспросил Лахновский. — Мы — это мы... Вы называете нас до сих пор троцкистами.

Полипов сперва смотрел на Лахновского с недоумением. Тот тоже не отрывал от Полипова воспаленного взгляда.

Через несколько секунд Полипов как-то недоверчиво и растерянно улыбнулся. В водянистых глазах Лахновского устрещающе шевельнулись темные точки — зрачки его будто вспыхнули черным пламенем, увеличились в несколько раз и тут же снова стали прежними. И усмешка на круглых щеках Полипова истаяла, испарилась мгновенно, брови беспокойно задергались.

— Вот так, — удовлетворенно произнес Лахновский. — И ты напрасно... Это была грозная сила! Вы много болтаете о троцкизме, но не знаете, не представляете, какая это была сила... И какое возмездие ждало Россию!

Дойдя до окна, он постоял там, как недавно в углу, лицом почти уткнувшись в портьеру. Будто мальчишка, которого жестоко и несправедливо обидели и он теперь плакал беззвучно.

— Но ваш... не твой, а ваш, я говорю; проклятый фанатизм 'одолеет и эту силу, — проговорил он хрипло, не оборачиваясь. А потом обернулся, дважды или трижды переступив. — И запомни, Петр Петрович, это вам, всей России, всей вашей стране никогда не простится!

По-прежнему стояла в комнате глухая тишина, и, едва умолкал голос Лахновского, было слышно потрескивание керосиновой лампы.

— Мы многое успели сделать, Петр Петрович. Промышленность Советского Союза не набрала той мощи, на которую рассчитывали его правители...

Полипов шевельнулся. Лахновский мгновенно сорвался с места, стремительно, как молодой, подбежал к нему.

— Ты... не веришь мне?! Не веришь? — истерично прокричал Лахновский.

— Почему же... — мотнул головой Полипов.

Лахновский поджал губы скобкой.

— Да, мы терпим поражение сейчас... Мы, Петр Петрович, сделали многое, но не все... недостаточно для нашей победы. Ничего. Борьба да-алеко-о не окончена! наших людей еще много в России. А за ее пределами еще больше. Ты даже не представляешь, какие есть силы, какая мощь... Только действовать теперь будем не спеша. С дальним и верным прицелом.

Он, говоря это, смотрел на Полипова как-то странно, будто ожидая возражения, готовый при первых же звуках его голоса обрушиться на него.

— Я много думал над будущим, Петр Петрович, — неожиданно усмехнулся Лахновский мягко и как-то мирно, добродушно. — Конечно, теперешнее поколение, впитавшее в себя весь фанатизм так называемого марксизма-ленинизма; нам не сломить. Пробовали — не получилось. Да, пробовали — не получилось, — повторил он раздумчиво. И в который раз оглядев Полипова с головы до ног, скривил губы. — Немало, немало до войны было в России, во всем советском государстве слишком уж ретивых сверхреволюционеров, немало было таких карьеристов и шкурников, как ты... На различных участках, на самых различных должностях, больших и малых. Кто сознательно, а кто бессознательно, но такие сверхреволюционеры и такие лжекоммунисты, как ты, помогали нам разлагать коммунистическую идеологию, опошлять ее в глазах народа, в сознании самых оголтелых, но не очень грамотных ее приверженцев. А некоторые из таких... и ты вот,

к примеру, способствовали еще и дискредитации, а иногда и гибели наиболее ярых коммунистов... Они летели со своих постов, оказывались в тюрьмах. Они умирали от разрыва сердца, или их расстреливали...

По широкому лбу Полипова снова катились капли пота, но он не решался стереть их, боялся даже шевельнуться.

— Да-а, — вздохнул Лахновский обессиленно и тоскливо, глядя на его взмокший лоб. — Всем этим мы умело пользовались... Но всего этого было мало. Мало...

Ничего не выражающие глаза Лахновского, упершиеся в Полипова, тускнели все больше, мертвели, и тому казалось, что они застынут сейчас навечно, и Лахновский, стояв еще секунду-другую столбом, повалится вбок.

Но Лахновский не упал, даже не качнулся, безжизненные глаза его дрогнули, зрачки засветились черными точками.

— Да-а, — извлек из себя слабый звук Лахновский. — Но мир, Петр Петрович, в конечном счете очень прост. Очень прост...

Только теперь Полипов осмелился поднять руку и оттереть пот со лба, со щек. Лахновский кивнул, будто одобрил это.

— Придет день — война закончится, — продолжал он. — Видимо, советские войска все же перейдут свою границу, вступят в Германию, займут Берлин. И страшно подумать, что будет с Европой. Но... вот говорят, нет худа без добра. Это так. Но и добра без худа нету. Самые могущественные страны мира — Америка и Англия — разве позволят коммунистической идеологии беспрепятственно расползтись по всей Европе? А? Разве позволят потерять Европу? А?

Полипов дернулся, будто хотел встать, вскочить. Но не встал, а только промолвил невнятно что-то.

— Что?! — яростно прокричал Лахновский.

— Я говорю, сделают, конечно, все, чтоб не позволить.

— Дурак! — взревел старик, метнулся опять к портьеру и, дойдя до нее, стремительно обернулся. — Дурак ты, но... правильно, не позволят! Хотя что-то... какие-то страны, мы, возможно, потеряем... Америка и Англия не всегда будут на стороне России. Почему же они сейчас на ее стороне? Видимо, боятся, что, если падет Россия, Англию Гитлер проглотит, как хохол галушку. Ну, а тогда с Америкой разговор будет крутой. И не устоять ей, американцы какие вояки? Пьянствовать да с бабами развратничать — это умеют. А воевать? Не-ет. И океан их не загородит. Вот почему они покуда с Россией. Но падет Германия — и они очнутся! Очнутся, Петр Пет-

рович! Другого обстоятельства быть не может. И не будет!

Потом Лахновский долго стоял неподвижно, будто прислушивался к чему-то тревожно. Полипов, обеспокоенный, тоже напряг слух, но в мертвой тишине, царящей в комнате, не уловил даже малейшего звука.

— Да, после войны мы будем действовать не спеша, с дальним и верным прицелом, — вернулся к прежней мысли Лахновский. — Все очень просто в мире, говорю, все очень просто. Нынешнее поколение не сломить... Что ж, мы возьмемся за следующее. Понимаешь, Петр Петрович?

Полипов хотел сказать — нет, но лишь безмолвно мотнул головой.

— Ах, Петр Петрович, дорогой ты мой человек! — неожиданно тепло, по-отечески промолвил Лахновский. — Все в мире, я же говорил, имеет обыкновение стареть. Дома, деревья, люди... Видишь, как мы постарели с тобой. Это закон, абсолютный закон природы. Сама земля стареет. Но она вечна. А люди умирают, на смену им приходят другие. В течение нескольких десятков лет одно поколение сменяется другим. Это-то хоть в состоянии понять?

— Ну и что же что сменяются?

Лахновский недовольно поморщился от такой непонятливости и терпеливо продолжал ему растолковывать, как маленькому:

— Я ж тебе и объясняю... В этом веке нам уже не победить. Нынешнее поколение людей в России слишком фанатичное. До оголтелости. Войны обычно ослабляли любой народ, потому что помимо физического истребления значительной части народа вырывали его духовные корни, растапывали и уничтожали самые главные основы его нравственности. Сжигая книги, уничтожая памятники истории, устраивая конюшни в музеях и храмах... Такую же цель преследует и Гитлер. Но ваш этот советский народ какой-то особый и непонятный... И в результате войны он не слабеет, а становится сильнее, его фанатизм и вера в победу не уменьшаются, а все увеличиваются. Значит, надо действовать нам другим путем. Помнишь, конечно, Ленин сказал когда-то — мы пойдем другим путем. Что ж, хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем братья за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее!

— Ну, допустим, — невольно произнес Полипов, испуганный и ошеломленный. — Только как это сделать?

— Как сделать... Как сделать... — проворчал Лахновский. Ярость его, мгновенно возникающая, так же мгновенно и утихала, словно уходила куда-то, как вода сквозь сито. Так случилось и на этот раз, и перед Полиповым стоял опять безобидный будто, беспомощный, одряхлевший старик, усталое опирающийся на свою трость. — Да, не легко это сделать, Петр Петрович... А главное — не так скоро... невозможно быстро достичь этого. Десятки и десятки лет пройдут. Вот что жалко.

Полипов приподнял голову. Лахновский поймал его взгляд и, словно зацепив чем-то, долго не отпуская.

Так они, глядя друг на друга, какое-то время безмолвствовали. Один стоял, другой сидел, но оба словно превратились в окаменевшие изваяния.

— Что? — промолвил наконец Лахновский. — Думаешь, откуда у этого чертова Лахновского такой фанатизм? И зачем ему? Подохнет ведь скоро, а вот, мол...

— Н-нет...

— Не ври, думаешь! — обрезал его Лахновский. — И это хорошо. Сам видишь — у них есть фанатики, и у нас есть. Еще какие есть! Намного яростнее и непримиримее, чем я. Знай это! Запомни! Моя жизнь кончается. Ну что же, другие будут продолжать наше дело. И рано или поздно они построят в России и во всех ваших советских республиках совершенно новый мир. Это случится тогда, когда все люди или, по крайней мере, большинство из них станут похожими на тебя... Ведь ты, Петр Петрович, не станешь же... не будешь с оружием в руках отстаивать старый, коммунистический мир?

— Теория хороша, — усмехнулся Полипов, начав смелеть. — А как, еще раз спрашиваю, это сделать вам? У партии... коммунистов гигантский идеологический, пропагандистский аппарат. Он что, бездействовать будет? Сотни и тысячи газет и журналов. Радио... Кино. Литература. Все это вы берете в расчет?

— Берем, — кивнул Лахновский.

— Советский Союз экономически был перед войной слабее Германии. Но пресса, идеологический аппарат сделали главное: воспитали, разожгли до предела то, что вы называете фанатизмом, а другими словами — патриотизм, гордость за свой народ, за его прошлое и настоящее, привили небывалую веру в партию большевиков... И в конечном счете — веру в победу, — говорил Полипов, сам удивляясь тому, что говорит. Но, начав, остановиться почему-то не мог, чувствовал, что те-

перь ему необходимо до конца высказать свою мысль. — И вы видите — народ захлебывается в этой своей гордости, в преданности и патриотизме, в вере и любви... Этим объясняются все победы на фронте, все дела в тылу. Солдаты, словно осатанелые, идут в бой, не задумываясь о возможной своей гибели! На заводах, на фабриках люди по двадцать часов в сутки стоят у станков! И женщины стоят, и дети! В селе люди живут на картошке, на крапиве — все, до последнего килограмма мяса, до последнего литра молока, до последнего зерна отдают фронту. Все, даже самые дряхлые, беспомощные старики и старухи, выползли сейчас в поле, дергают сорняки на посевах. Вот как их воспитали! И это... все это вы хотите поломать, уничтожить, выветрить?

— Это, — кивнул Лахновский, выслушав его не перебивая.

— Ну, знаете...

— Именно это, Петр Петрович, — спокойно повторил Лахновский. — Ты не веришь, что это возможно, и не надо. Считаю меня безумным философом или еще кем... Я не увижу плодов этой нашей работы, но ты еще, возможно, станешь свидетелем...

Лахновский, зажав трость под мышкой, опять вынул табакерку, раскрыл ее, забил одну ноздрю, потом другую табаком.

— Газеты, журналы, радио, кино... все это у большевиков, конечно, есть. А у нас — еще больше. Вся пресса остального мира, все идеологические средства фактически в нашем распоряжении.

— Народов России это не коснется! — почти крикнул Полипов.

— Сейчас трудно все это представить... тебе. Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался... Окончится война, все как-то утрясется, устроится... Мы найдем своих единомышленников... своих союзников и помощников! — срываясь, выкрикнул Лахновский.

Полипов не испытывал теперь беспокойства, да и вообще все это философствование Лахновского не принимал всерьез, не верил в его слова. И, не желая этого, все же сказал:

— Да сколько вы их там найдете?

— Достаточно!

— И все равно это будет капля в море! — из какого-то упрямства возразил Полипов.

— И даже не то слово — найдем... Их воспитают! Их наделают столько, сколько надо! И вот тогда, вот потом со всех сторон, снаружи и изнутри, наши приступят к разложению... сейчас, конечно, крепкого, монолитного, как любят повторять ваши правители, общества. Общими усилиями будут низведены все

ваши исторические авторитеты, все ваши национальные философы, писатели, художники, все духовные идола, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся, — так учил, так это умел делать Троцкий. Льва Толстого он, например, задолго до революции называл в своих статьях замшелой каменной глыбой. Знаешь?

— Не читал... Да мне это и безразлично.

— Вот-вот! — оживился еще больше Лахновский. — И когда таких, кому безразлично, будет много, — дело делается быстро.

Горло у Лахновского перехватило, он, задыхаясь, начал кашлять — часто, непрерывно, сильно дергая при этом головой, вытягивая шею, словно гусь.

Откашлявшись, вытер платком глаза.

— Вот так, уважаемый, — произнес он голосом уже не гневным, но каким-то высокопарным. — Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголок занавеса, и ты увидел только крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания... Конечно, для этого придется много поработать.

Петр Петрович Полипов не знал, что когда-то, давным-давно, укрываясь в Новониколаевске от возможного возмездия за свою деятельность, Лахновский подобные бредовые идеи развивал перед его будущей женой. Он не знал и знать не мог, что за все долгие годы, прошедшие после этого, в оцепеневшем от злобы и ненависти мозгу Лахновского ничего нового не родилось. Оглушенный и раздавленный всем услышанным, Полипов изумленно глядел на Лахновского, стоящего неподалеку от него в какой-то странной позе: одной рукой тот опирался на трость, другой — на спинку кресла, ноги его будто не держали, и он, полусогнувшись, как бы висел между тростью и креслом, тяжело задумавшись о чем-то... Петр Петрович был поражен нарисованной ему апокалиптической картиной.

— Да-а... Ловко, — растянуто произнес он после длительного молчания.

— Что? — резко воскликнул, будто очнувшись от забытья, Лахновский.

— Планы ваши, конечно, решительные. Только вам их не осуществить никогда, — мотнул головой Полипов.

Лахновский еще раз встряхнулся, выпрямился. Проговорил торопливо:

— Тебе этого не понять, не понять... Да бог с тобой. Не всем дано.

Лахновский ковыльнул к двери, толкнул ее, крикнул:

— Где там ты? Эй...

Он обернулся. Следом за ним вошел Валентик.

— Вот он тебя отведет за линию фронта. Как привел, так и отведет. Оставит там где-нибудь... А я устал. Ступай!

Полипов поднялся, постоял, глядя на Лахновского, не зная, надо или не надо ему что-то говорить.

И Лахновский, уперев в него свои зрачки, плавающие, как поплавки, в водянистых глазах, тоже молчал. Потом губы его раскрылись, обозначив темную щелку рта.

— Живи как можно дольше, Петр Петрович, — усмехнулся Лахновский. — А служи как можно выше. Чем выше, тем лучше для нас...

Это было последнее, что Полипов услышал от Лахновского.

В ту самую ночь, когда Валентик вел уставшего и вконец измотанного Полипова на советскую сторону по знакомому уже оврагу, километрах в полтора южнее его переходила линию фронта небольшая группа Алейникова. Кроме него, в группу входили Иван Савельев, Гриша Еременко, Ольга Королева, которую Алейников, зная, что она жила в Шестокове, попросил быть проводницей, и два сержанта-подрывника, окончившие недавно спецшколу. Группа двигалась вдоль глухой балки, тоже заросшей кустарником. Ночное небо, раскаленное за длинный июльский день, окончательно не остыло еще, дышало теплом. Все, кроме Ольки, несли в вещевых мешках по нескольку комплектов батарей — питание для партизанских раций.

Ольке Алейников не разрешил взять ни одной батареи, у нее не было и вещмешка. Одетая в мужские дмотканые штаны и старый пиджак, повязанная платком, туго затянутым под подбородком, она шагала впереди, время от времени оборачивалась, отыскивая глазами шагающего за ней Ивана Савельева, и, будто успокоившись, что он не отстал, шла дальше.

С Иваном Савельевым Ольга познакомилась всего несколько часов назад. Вернее, даже не она с ним, а он с ней. Алейников собрал их всех, коротко, ничего не конкретизируя пока, сказал, что в тыл их поведет вот она, Оля Королева, и приказал до вечера всем спать.

Едва Алейников назвал ее имя и фамилию, этот пожилой солдат, сидевший как-то отрешенно, вроде бы мучившийся тем, что предстояло идти во вражеский тыл, медленно и устало поднял тяжелую голову, поглядел на

нее с угрюмым и даже, как ей показалось, зловещим любопытством. «Зачем этого типа берет с собой Яков Николаевич?» — подумала она. Но раз берет, значит, берет, решение это обсуждению не подлежит.

Вечером в дверь комнатухи при штабе, где она отдыхала, кто-то стукнул негромко.

— Сейчас, — откликнулась она и через минуту, уже одетая в дорогу, вышла в темный коридорчик.

— Пора, дочка. Все уже ждут во дворе, — услышала она глуховатый голос, узнала «этого типа» по фамилии Савельев, как назвал его Алейников днем, знакомя с остальными.

— Вы?!

— Я... Я, понимаешь, дядя Семкин.

— Какой дядя? Чей?

— Сержанта Савельева. Танкиста. Он мне говорил о тебе.

Она еще помолчала в недоумении.

— Под Лукашевкой мы стояли...

— Ой! — испуганно воскликнула Ольга и быстро закрыла рот ладошкой. Потом, отступив в полутьму, враждебно спросила оттуда: — Ну и что?

— Ничего...

Она повернулась и пошла к выходу.

На расшатанной, побитой осколками полуторке они, уже в темноте, доехали до окраины небольшой деревушки, здесь их ждали армейские разведчики. Трое молодых и неразговорчивых солдат минут сорок вели их лугом, потом берегом речки, каким-то редковатым леском. Наконец спустились в неглубокую балку, замусоренную обрывками бумаги, жестяными банками, деревянными ящичками с нерусскими наклейками.

— Все. Уже у фрицев, — сказал один из разведчиков. — Счастливо. Балка эта длинная, еще километра полтора. Как кончится, слева будет лес, справа поле. Лес обогнете с южной стороны — подойдете к деревне Жуковка. Немцев там позавчера не было, а сейчас — черт их знает! Сейчас их погнали, может какая-то ихняя часть и в Жуковке оказаться. Там глядите. — И повернулся к Ольке: — Деду Сереге — поклон.

— Передам, — сказала девушка.

И вот они идут вдоль балки, которая все не кончается. Ведет их уже Ольга Королева.

Темнота стояла густая и зловещая. И тишина кругом — враждебная. Иван все это понимал сознанием, отлично зная, что тишина в любую секунду может взорваться ревом автоматов, черную темноту могут вспороть огненные языки. Но в душе ни страха, ни даже

хотя бы ощущения опасности не было. В душе с той секунды, когда Алейников сообщил ему о Федоре, образовалась какая-то пустота, там все будто онемело, все тело потеряло чувствительность, мозг перестал воспринимать реальность окружающего. В голове билась одна-единственная мысль: «Федор с немцами! Служит им... Как же так? Как же так?!» Все это было столь чудовищно и нелепо, столь не постижимо разумом и не объяснимо словами, что Иван даже и не вспомнил пока, — ведь никто другой, а именно он не так-то уж и давно беспощадно бросил прямо в лицо Федору: *«Не все легко в жизни объяснить... Тогда партизанил, верно. Только сдается мне: случись сейчас возможность для тебя, ты бы сейчас против боролся».*

Иван шагал среди ночи за Григорием Еременко, замечал беспокойные взгляды девчушки, замотанной платком. Но ему казалось, что взгляды эти она бросает не на него и что вообще не он, Иван, шагает сейчас куда-то во мраке, а кто-то другой. Он же, настоящий Иван Савельев, остался где-то там, в дыму, в огне, в грохоте жутких боев, в том мире, где находились Семка, Дедюхин, Вахромеев, Алифанов, что он живет и вечно будет жить за той чертой, за которой еще не было этого страшного известия о Федоре.

— Не отставай, Иван Силантьевич, — слышался сзади голос Алейникова, заставляя его все-таки вернуться к реальности. — Скоро придем.

— Ага, — произнес Иван, оглянувшись и вздохнул.

— Устал?

— Нет. Ничего.

И заметил, как Оля снова поглядела на него.

Балка наконец кончилась, они вышли к опушке леса, о котором говорили им армейские разведчики. Обогнув этот лес, долго стояли на его краю, вслушиваясь, вглядываясь в темноту. Затем Оля сказала:

— Кажется, тихо в деревне. Лежите тут. Я к деду Сереге схожу, спрошу у него...

Где она была, эта деревня, Иван в темноте не видел. Он снял рюкзак, положил на него автомат, опустился на землю. То же сделали и остальные.

Алейников в сторонке посоветовался о чем-то с Ольгой, затем она исчезла во мраке, а он подошел к Ивану, сел спиной к дереву.

— Курить подождать, — предупредил он. — Всем можно вздремнуть. Раньше чем через час она не вернется.

В безмолвии прошло с полчаса. Иван лежал и сквозь ветки глядел на тихие звезды в вышине. Они как-то успокаивали, заставляли

вспомнить почему-то тот день, когда он позапрошлым летом шагал в Михайловку, возвращаясь из тюрьмы, громылавшее небо над головой, зашумевшую сзади грозу, тугой пыльный вал, который ливень гнал перед собой. Он будто снова увидел, как, прорываясь через этот тугой и пыльный ветряной вал, бежит к нему Агата, жена, почувствовал, как ее маленькое, нетяжелое тело упало ему на руки и, теплое, забилося в них... Потом сразу возникли перед ним глаза худой большеглазой девочки лет пяти — его дочери, которую он никогда еще не видел. Она взмахнула ресничками, отступила к стене, спрятав за спину тряпичную куклу... И опять без всякого перерыва — серые глаза и крутой лоб тринадцатилетнего сына Володьки. Шагнув через порог, он, с кнутом в руках, тоже прижался к стене, тоже глядел испуганно и недоуменно...

Жена и дети где-то живут сейчас под этим небом, ждут его, и он, назло всем смертям, назло проклятой немчуре, назло Федору вернется к ним живой и невредимый! Ах, Федька, сволота слюнявая! Ну — расплатишься!

Иван пошевелился и поднялся, сел.

— Жалеешь, Иван Силантьевич, что сюда... с нами пошел? — спросил негромко Алейников вдруг. — Смотрю я на тебя — маешься.

— Закурить бы все же, а? Мочи никакой нет.

— Ну закури, — нехотя разрешил Алейников. — Только осторожно. Черт его знает.

Иван свернул сигарку, лег животом на землю, головой к вещевому мешку, сразу же плотно зажав огонь ладонями. Лежа так, быстро высадил всю самокрутку.

— Чудно, — сказал он, вдавив окурок в землю. — Сколь время в аду и грохоте я... А вот — тишина. Будто и нету войны.

— Это мы перешли линию фронта на тихом участке. Сегодня утром и тут начнется.

Алейников привстал, чутко прислушался к темноте. Затем поглядел на фосфоресцирующие стрелки часов.

— Скоро должна вернуться Королева... — Сел на прежнее место. — Сейчас, Иван, судя по всему, тут разгорится битва такая... Немцы во что бы то ни стало снова хотят взять Курск. Гитлер, как показывают пленные, считает сражение на Курском выступе решающим для всей войны.

— Выходит, в самом жутком пекле мы окажемся? — после некоторого молчания произнес Иван.

— Уже оказались. Страшно?

— Да что ж... Я обвык.

— А я вот не могу, — неожиданно признался Алейников и, почувствовав на себе удивленный взгляд Ивана, продолжал так же не-

громко: — Я, Иван Силантьевич, ничего не боюсь. Тоже в разных бывал переплетах... на воде и на суше. Я в Крыму воевал, на Кубани. По тылам немцев не раз ходил. А вот не могу привыкнуть к войне. Старею, что ли? В молодости, в гражданскую такого чувства не было.

— Ну да, — как-то неопределенно произнес Иван.

— Вот сидим мы тут, на своей земле. И опасаемся ее... отовсюду ждем опасности. Разве к этому можно привыкнуть?

Иван долго осмысливал эти слова.

— Пожалуй, нельзя, если так... Только я скажу — и не надо. Не надо привыкать, ежели в этом смысле.

— В этом, Иван Силантьевич, — кивнул Алейников.

Короткая июльская ночь вот-вот уже начнет с востока подтаивать, а Оля Королева все не возвращалась. Она должна была узнать у деда Сереги, где сейчас находится партизанский отряд Кондрата Баландина, бывшего председателя жуковского колхоза. В зависимости от этого Алейникову предстояло принять решение — двигаться дальше или где-то укрываться на день.

Он опять встал, начал вглядываться в темноту.

— Как бы не оплошала. Вдруг в Жуковке немцы?

— Девка, видать, неглупая, — успокоил Иван Алейникова. — Ты-то ее давно знаешь?

— Не очень. Всю оккупацию разведчицей была у партизан.

— Вон что! Чего же она, как старуха, в платок мотается?

— Голову себе попортила кислотой. Чтоб немцы не опоганили.

Иван долго-долго теперь молчал. И наконец произнес со вздохом:

— Чего только люди за войну эту не терпят...

— Порой диву только даешься — в такую сторону заломит! В ту войну — тебя, в эту — Федора, брата твоего родного.

— Война, конечно, войной, да и окромя причина для этого всегда бывает, — сказал Иван не для оправдания себя или тем более Федора, а чтобы уяснить что-то, какую-то мысль, вроде и ясную ему, да не до конца.

— Это само собой, — согласился Алейников. — Кого по глупости, кого по тупости...

— Он что же, Федька, добровольно к немцам ушел или через плен?

— Этого не знаю. А если через плен — разве не мог добровольно? Да и в этом разве дело?

— Ну да, — произнес Иван согласно. Подумал о чем-то, усмехнулся: — Встреча если

выйдет сейчас с ним — в глаза, сволочуге, погляжу. И скажу: маялись мы с тобой, Федька, обон в жизни. Да показало время — в разные стороны. Не поймет только...

— Пойме-ет! Он не глупый, — произнес Алейников. — Что же, ежели возьмем живым его — скажи... — И через паузу продолжал: — А насчет разных сторон — верно ты, Иван Силантьевич, в точку... Вот встретил я тут недавно одного, который тоже, кажется, мается. В ту сторону, как ты. Знаешь кого? Зубова-то, царского полковника-карателя, помнишь?

— Ну? — промолвил Иван. — Сводила меня судьба потом и с сыном его...

— Сына его я тут и встретил.

— Петра Зубова?

— Именно. В штрафной роте у Кошкина. Сиди. Чего вскочил?

Иван, приподнявшийся было, осел, громко задышал.

— А с ним и родственника твоего через Анну Кафтанову — Макара. Родного сына Миханла Лукича Кафтанова.

Осмысливая это известие, Иван помолчал с полминуты, потом сказал:

— Дела... Ну и что?

— Долго я говорил с ним. С Макаром не пришлось, а этот сам на разговор вышел. Что же, скажу тебе... ежели и не понял я его судьбу, то почувствовал — не умер, пробуждается в нем человек. Мелькнула было даже мысль, не взять ли его с собой в Шестоково. И, в общем, жаль, если в том бою, о котором и ты рассказывал, он погиб. Уцелели тогда немногие. А Макар вот уцелел, если интересно тебе...

Иван лишь молча усмехнулся и потом стал глядеть в темноту.

— Погиб если Зубов, так в ту пору, когда и не надо бы уже...

— Да, бывает, — встрепенулся наконец Иван. — А я вот что хочу, Яков Николаевич, спросить... Ты говоришь, Кружилину о нас с Семкой сообщил, в Шантару. А про Федьку? А? Алейников ответил не сразу.

— Не писал я ничего про Федора.

Иван облегченно вздохнул.

— И не надо, а? Яков Николаевич! — почти шепотом попросил Иван. — Никуда не надо бы... Ведь что будет с Анной? С ее детишками?

— Да, что будет? — вздохнул и Яков. — Не сладко им в жизни, наверно, будет. Но не от меня это зависит, сообщать куда или не сообщать. Мне это и не положено.

— В чем детишки виноваты? Андрейка, младший ихний, на фронт бегал. Семка-то как воевал — я видел.

— С Семеном, сам говорил, еще и не ясно, убит он или...

— Теперь, я уже надеюсь, что убитый, — почти простонал Иван. — Ах, война... Проклятая война, что она делает!

Выговорившись, они теперь оба сидели недвижимо. И теперь уже ничего не нарушало тишину звездной июльской ночи. Не нарушало до тех пор, пока где-то неподалеку в зарослях не пискнула первая проснувшаяся птица.

Она подала голос и умолкла. Иван, будто ожидавший этого звука, пошевелил плечами, сбрасывая окаменелость, поднял руку и провел ладонью по лицу.

— Да-а... — И зачем-то спросил: — А ты, Яков, досель одинокий?

— Когда же мне было жениться? И на ком?

— Ну, на ком? Ты же не в окопах воюешь...

— Тихо! — прошептал Алейников, в течение всего разговора чутко прислушивавшийся к темноте, к ночному пространству. — Кажется, возвращается. Слышишь?

Иван, сколько ни вслушивался, не мог различить в тишине ни одного шороха.

— Ни черта...

— Идет кто-то, — Алейников поднялся. — Давай буди всех!

Люди тотчас подхватывались, едва Иван дотрагивался до них, и в ответ на шепот, что кто-то приближается к ним, молча и привычно снимали с предохранителей автоматы.

Алейников стоял возле дерева, слившись со стволом.

Сбоку опять подала голос зорьянка, ей откликнулась другая. Иван, затаившийся вместе с другими в зарослях, сквозь ветки увидел, что восточный край неба чуть тронулся синевой.

— Она, — негромко произнес Алейников, снимая у всех напряжение.

Фигура девушки появилась из мрака раньше, чем ожидал Иван, и потому неожиданно. Появилась неслышно, будто плыла по воздуху, не касаясь земли, — под ногами ее хоть бы сучок треснул. «А Яков все равно расслышал. Ишь, специалист!» — подумал он восхищенно об Алейникове.

— Отряд там, в поповских лесах, километрах в семи от Шестокова, — сообщила Королева. — Я думаю, надо идти. Тут пустыри по дороге, пока развиднеет, мы их пройдем. Да и немцев в Жуковке нет. А там все леса и леса...

— Взять вещевые мешки! — приказал Алейников. — Устала?

— Нет. Дед Серега меня молоком напоил. Живая его корова, оказывается. Всю войну ее в лесу держит, неподалеку, за деревней, — сообщила она, повернувшись к Ивану. — Дед этот — смека-алистый!

Это «смека-алистый» она произнесла по-детски восторженно, поправила платок, ту же затащила его под подбородком.

— На днях партизаны пытались Бергера живым взять. Из Орла он, что ли, возвращался.

— Бергера?! Ну? — воскликнул Алейников нетерпеливо.

— Не получилось что-то там. Убили его в перестрелке, документы, которые были при нем, все забрали...

— Вот как... Ну, тогда действительно поторопимся.

— Пошли, — сказала Королева.

И все двинулись в прежнем порядке — сперва Олька, за ней Гриша Еременко, дальше Иван, Алейников и остальные.

Синеющий край неба остался у них справа.

Поповскими эти леса назывались потому, что в двадцатых годах в них долго укрывалась банда, возглавляемая попом шестоковской церквушки Захарием Баландиным, который был старшим братом председателя жуковского колхоза, а теперь командира партизанского отряда Кондрата Баландина, человека грузного, заросшего жестким поседевшим волосом. Фанатичный поп в первый же день установления Советской власти предал ее публично анафеме, а заодно проклял и своего брата, который только что вернулся с фронта и был назначен председателем сельского Совета. Когда Кондрат в окружении безоружных сельчан явился в церковь и потребовал прекратить контрреволюционную агитацию, Захарий выхватил из-под ряссы револьвер и в упор выстрелил в брата. Пуля глубоко пропахала ему правую щеку, а поп, воспользовавшись замешательством, ринулся из церкви, в дверях обернулся и еще раз выстрелил, убив наповал одного из мужиков. С револьвером в руке, распугивая встречаемых, он, махая полами ряссы, как крыльями, черной птицей пронесся вдоль улицы, угрожая оружием, остановил бричку-одноколку, вскочил в нее, схватил вожжи и, стоя в бричке, принялся нахлестывать лошадь.

Затем по окрестным деревням он сколотил банду из таких же фанатиков, как сам, и, укрываясь в мрачном, болотистом лесу, долго бесчинствовал по всей округе. Он жег несколько раз коммуны, трижды посланные им люди стреляли в Кондрата Баландина, но, к счастью, неудачно. Кондрат, вооружив чем было возможно шестоковских мужиков, с помощью хиленьких сил милиции тоже не раз пытался банду уничтожить. Но хитрый поп был всегда настороже, врасплох застигнуть себя не позволял, и каждый раз его люди уходили в глубь лесов, за болота.

Лишь в двадцать шестом году с помощью регулярной части Красной Армии банду удалось разгромить. Сам Захарий ни живым, ни мертвым в руки не попался. Отстреливаясь, он пятился в глубь болот, но где-то оступился с тропы и захлебнулся, утонул в трясине.

Все это рассказала Ивану Оляка Королева, когда они, разыскав отряд, сидели под вечер у потухающего костра, над которым висел котелок с остывающим чаем. Рассказала в ответ на его вопрос: отчего командир партизан зарос, как страшилище, бритвы, что ли, в отряде нет?

— А бритва есть. И парикмахеры свои в отряде имеются, — закончила она свой рассказ. — Только полщeki у Кондрата Маркеловича нету — тем выстрелом кусок мяса ему с лица сорвало.

Оляка, не спавшая всю предыдущую ночь и весь день, усталости, казалось, не испытывала, глаза ее поблескивали сухо и строго.

— Везде оно примерно одинаково прискотекало, — задумчиво сказал Иван, выслушав ее рассказ. — И у нас в Сибири новая жизнь так же круто замешивалась. На смертях да на крови.

При этих словах Оляка медленно, как будто с трудом, повернула к Ивану замотанную платком голову, приподняла ее, одновременно обнажив худую, слабенькую шею. В холодных глазах ее плеснулась боль, такая явственная и пронзительная, что, казалось, она сейчас застонет.

— На крови, на смертях замешивалась — ладно, — шевельнула она губами. И каждое слово причиняло ей, видимо, еще более нестерпимые страдания, аж глаза, до этого сухие, вдруг повлажнели. — Замешивалась — ладно. А почему... почему она и продолжается так же? Все на тех же смертях? На той же человеческой крови?!

Глаза ее наполнились слезами. И по мере того как это происходило, боль в них исчезала, смывалась, она глядела на Ивана все тоскливее и беспомощнее.

И вдруг слезы хлынули обильными ручьями, она глотнула судорожно воздуха и, захлебнувшись им, задохнулась, упала, уткнулась головой в его колени, худые и острые плечи ее затряслись.

В первое мгновение Иван растерялся. Он вообще с того момента, когда девушка, выйдя из землянки, где Алейников и партизанские командиры совещались о чем-то, вдруг подошла и села к костерку, чувствовал себя скованно, а теперь и совсем не знал, что делать.

— Ну, это ты зря, плакать, — произнес он первое, что пришло на ум, взял ее за вздрагивающие плечи. — Война же... эвон какая.

Потому и кровь... и смерть. Будет, дочка, слышь?! Не надо.

Она оторвалась от его колен, сперва ладоными, по-детски, вытерла слезы. Потом достала из кармана платочек.

— Не могу я больше, дядя Ваня... — всхлипывая, произнесла она, вдруг назвав его так. — Сил у меня больше нет никаких.

— Да что ж... Понять можно.

— Нет, нельзя... — И она опять зарыдала, ткнувшись лбом ему в грудь.

— Ну-ну... Будет. Ей-богу.

Платок у Оляки сдвинулся. Иван заметил безобразный рубец на ее щеке, в глазах его поблуждали изумление и боль. Но сказать он ничего не успел: из землянки вышли Алейников, командир отряда Кондрат Баландин, какой-то парень в облезлой кожаной куртке, с ярко-рыжей копной волос, и еще несколько человек. Алейников, увидев Ивана и всхлипывающую Оляку, сказал что-то Баландину, и тот со всеми отошел в сторону, а Яков шагнул к костру.

— Что такое? — спросил он обеспокоенно, еще на ходу. — Что случилось?

— Да вот, разговариваем, — ответил Иван. — Ничего, так это... Устала она.

— Я ж приказал спать.

— И я ей тоже говорю...

— Иди спать, Оля!

— Я сейчас, Яков Николаевич, — сказала она, затыгивая платок.

— Отведи ее, Иван Силантьевич, вон в ту палатку, — распорядился Алейников и пошел. Шагов через десять оглянулся, показал Ивану в сторону облившей под дождем палатки, разбитой под тяжелыми еловыми лапами, — веди, мол, чего сидите? — и ушел куда-то вслед за партизанами.

— Пойдем. — Иван начал подниматься.

— Сейчас. Ты погоди, дядя Ваня, — она положила ему руку на колено. — Это ничего, что я вас так называю?

— Да что ж... Называй.

Оляка привычным движением, которое Иван видел уже не раз, поправила платок на голове, поглядела в ту сторону, куда ушел Алейников.

— Спи... А сам когда будет спать? — проговорила девушка. Голос ее был уже успокоенный. — Ночью сам хочет разведать все подступы к Шестокову. Этот, рыжий, его поведет. Это Степка Метальников, шпион Бергера в этом отряде.

— Как это — шпион? — не понял Иван.

— Ну, они заслали его к Баландину. Вступи, мол, в партизаны, а нам все докладывай. А он парень оказался честный... Ну и порешили: время от времени он будет являться в ихнюю абвергруппу со всякими ложными извест-

тиями. А уж у них что выведает — немедленно в отряд сведения, а отсюда Алейникову... Не раз Степка от верной гибели отряд спасал. Он да шестоковский староста Подкорытов.

— И староста... тоже? — воскликнул Иван.

— А что так удивляешься? У нас тут кругом такие люди!

Вечер был тихим и душным, разопревшая под дневным солнцем еловая хвоя густо пропитала воздух пахучим смолистым настоем, настолько, что в нем вязли, казалось, комары — их было до удивления мало, и они, обессиленные и вялые, не могли высоко подниматься над землей.

Олька долго сидела неподвижно, слушала бульканье ручья, протекавшего метрах в десяти.

— Вы что же, раз ты про меня знаешь... в одной части, что ли, с Семеном? — негромко спросила она.

— Да вот с самого начала вместе воюем... воевали.

Он почувствовал, как Олька, не меняя позы, вздрогнула при последнем слове. Даже не вздрогнула — просто качнулась еле заметно ее обмотанная платком голова, и она медленно стала поворачиваться к нему.

И, когда повернулась, в глазах ее он увидел безмолвный мучительный крик.

— Убит? — скорее догадался по движению ее губ, чем расслышал, Иван.

И в несколько секунд он пережил множество странных, доселе не знакомых ему состояний. Что ей ответить, этой, видать по всему, доброй и славной девчужке? Убит? Но он и сам этого не знает. Не убит? И в этом не уверен. Может, в таком случае сказать — убит? Чтоб раз и навсегда знала она это, забыла о нем для собственного спокойствия, и если... если он, Семка, чудом все же объявится на земле, — для спокойствия его самого, его жены Наташки и родившейся у них дочки. В конце концов кто ему эта Олька? Случайно встретились на жутких дорогах войны, что-то под влиянием минуты у них там произошло, ничего серьезного, ничего такого, что имеет какое-то значение для обоих... А вдруг имеет? Вон как полыхают, горят ее глаза. И кроме того, это будет ложь. Одно слово — и жизнь этой живой души пойдет, потечет по какому-то другому пути. По другому пути... А кто имеет право взять на себя такую ответственность? Никто, никому не положено.

— Убит?! — еще раз услышал он умоляющий хрип, смявший, смешавший все его лихорадочные рассуждения и одновременно заставивший его подумать об их ненужности.

— Не знаю, Ольга, — сказал Иван, прижимая к вискам ладони.

— Знаешь! — воскликнула она. И властно потребовала: — Рассказывай! Все говори!

Иван еще помолчал и стал рассказывать с подробностями обо всем, что произошло недавно там, на высоте 162,4, как рассказывал недавно Алейникову. А девушка его ни разу не перебила, не задала ни одного вопроса.

Когда он кончил, зола под котелком была холодной, костерок давно угас, испепелив все угли, до последнего. И день почти угас, оставив над кромкой леса еще светлое пока пространство, которое меркло. Стало прохладнее. Исчезли редкие комары, затихли голоса партизан, временами доносящиеся с поляны, за ручьем. Все кругом изменилось, лишь ручеек, как и прежде, негромко побулькивал, и Олька, прислушиваясь к его говорку, неожиданно спросила:

— Правда, хорошо?

— Что?

— Ручеек звенит...

Иван ей не ответил. Ему было обидно, что Олька не задала ни одного вопроса, ничего не переспросила. Зачем тогда требовала рассказать ей все?

— Мне рассказывали, что дядя Кондрат тогда за братом своим, попом, до самого конца гнался, обоймы четыре в него расстрелял, а тот все увертывался, пока в трясину не угодил. А ты, дядя Иван, за своим погонисься послезавтра?

— Ты... знаешь?! — вымолвил он.

— Да все знают. Алейников еще перед выходом всем нам сказал. А сейчас, — она кивнула на землянку, — сейчас всех предупредил, конечно, чтобы его да начальника шестоковского гарнизона Лахновского живьем взять.

Иван думал, что о Федоре, кроме него да Алейникова, никто пока не знает. Но, понимая, что рано или поздно это станет известным, морщился от предчувствия неизбежно приближающегося такого момента. А оказывалось...

— Ну что ж... Оно и хорошо, — произнес он, испытывая облегчение. — А погонюсь не погонюсь — тебе что?

Она подняла на него глаза, совершенно мертвые и холодные, как остывшая под котелком зола. Иван почему-то думал, что в них стоит по-прежнему невыносимая боль и страдание, а в них ничего не было.

— А я хочу, дядя Ваня, вместе с тобой... вместе со всеми туда.

— Не надо бы тебе... — невольно произнес он.

Уголки ее губ дрогнули и опустились вниз, она усмехнулась усмешкой тяжелой и страшной в какой-то своей жестокости.

— Ты, дядя Ваня, за меня не бойся. Я уже не живая. Давно... Алейников знает.

Иван смотрел на нее со все нарастающей тревогой. А она еще раз так же усмехнулась.

— Чего он знает? — вымолвил Иван.

— Я все время вижу перед собой глаза мамы... День и ночь. День и ночь, — не обращая внимания на его слова, продолжала она. — Понятно? И все время голос ее во мне звучит: «Дочка, бросай! Бросай!..» И я бросила.

— Что? — спросил он. И, уже спросив, ощутил, как возникает в нем предчувствие, что он, прошедший в жизни все круги ада, испытывавший все мыслимое и немислимое, узнает сейчас нечто такое, отчего остановится в жилах кровь.

— Гранату. В маму.

Иван, будто пытаясь вытрясти больной и невыносимый гул из головы, тряхнул ею.

— Ты что... говоришь?!

— Бросила... — повторила Олька, задохнулась, дернула шеей, проглотила тяжкий комок. — Они, трое немцев, насильовали ее... на полу.

Кровь в жилах Ивана действительно оставилась, в груди похолодело, там, где было сердце, возникла и росла, росла черная пустота.

Не в силах ничего сказать, он стал медленно подниматься. И Олька, будто была с ним соединена чем-то, тоже начала подниматься одновременно.

А поднявшись, они некоторое время стояли недвижимо. Иван, ничего теперь даже и не понимая, не соображая, глядел на девушку мутными, невидящими глазами, а она, сложив руки под грудь, склонив голову немного набок, будто по-прежнему прислушивалась напряженно к неумолчному плеску ручейка.

— Но это не самое страшное, ее глаза, — донеслось до него. — А самое страшное в другом... Если бы мама не закричала, чтобы я... я все равно бы бросила. Все равно...

Голос ее был тих, слаб, она говорила почти шепотом. Но звон ручья, отчетливо печатающийся в сознании, совсем не заглушал его.

Проговорив это, она устало обронила руки, повернулась и пошла. И Савельев Иван повернулся вместе с ней, но остался на месте. Стоял и глядел на удаляющуюся Ольку до тех пор, пока она не скрылась в палатке.

Алейников и Степан Метальников, опасаясь немецких постов, на значительном расстоянии обошли ночью вокруг Шестокова и в лагерь вернулись уже при ярком свете солнца, которое в июле вставало рано, освещая истерзанную войной, истоптанную и оскверненную врагом землю. Всю ночь Яков был хмур и нераз-

говорчив, объяснения Метальникова о характере местности выслушивал тоже молча, не задавая никаких вопросов. Только когда они выбрались из кустов на песчаную дорогу, убегающую к западной стороне Шестокова, и когда Метальников сказал, что завтрашней ночью он, согласно обусловленному с Бергером сроку, должен с очередным донесением выйти именно на эту дорогу, лишь в километре правее от этого места, где они стоят, Алейников спросил:

— А дальше что обычно бывает?

— Они или забирают у меня составленное особым шифром донесение и отправляют обратно, или ведут на беседу и инструктаж к самому Бергеру.

— Но теперь Бергера нет, — раздраженно проговорил вполголоса Алейников. — Ты, их агент в отряде, не сообщил заранее о запланированной партизанами акции против него. И что в авергруппе теперь по этому поводу думают?

Степан лишь пожал плечами.

Этот же вопрос Алейников задал, вернувшись, Баландину. Яков, позавтракав, только что вылез из-за стола и, собираясь наконец поспать, снял гимнастерку, брюки, сел на топчан.

— Ответа у них может быть два-три, — сказал Баландин, допивая чай из алюминиевой кружки. — Первое — не мог заранее узнать о нашем плане. Второе — не сумел, ну, не имел возможности, времени сообщить об этом. Тоже ведь ему надо отлучиться из отряда незаметно, а мы не лопухи. Шестоково не близко.

— А третье?

— Третье — все сильнее думают, чей он агент: их или наш?

— Вот это скорей всего, — сказал находившийся тут же Метальников. — Лахновский давно этим мучается. Последний раз, когда я ходил в Шестоково, часа три мытарил. И чуть не запутал, сволочь. Потом свою трость приставил напротив сердца — чуешь, шипит, что ждет тебя, ежели что? Полсекунды — и готово. В любом случае наши люди живьем тебя ко мне приволокут...

— Поторопились вы с Бергером, — поморщился Алейников. — Сейчас они насторожились.

— Связаться с вами не имели возможности: питание для рации кончилось. — Баландин отставил кружку. — А тут такое известие староста Подкорытов через Степана передал: Бергер в Орел уехал, вот-вот должен возвращаться. Упускать такой момент? Двое суток проклятого сторожили. Живьем думали...

— Ну ладно, ладно... — раздумчиво произнес Яков.

— Думаю я все ж таки твердо, Яков Николаевич, что именно третье... — промолвил Метальников. — Им непонятно только одно... одно смущает, я полагаю: откуда могло мне стать известно, что Бергер уехал в Орел? А это, я говорил, Леокадия Шипова Подкорытову сказала, а тот немедля мне... Но Лахновский — змей, он докопается до концов... ежели уже не докопался. Тогда старику сразу крышка.

— Сперва мы не поверили, — усмехнулся Баландин. — Леокадия эта, проститутка-то, с чего бы вдруг? Провокация, думаем... Но Фатьян Подкорытов сильно уверил его, что она, сколько ни чудно, правду сказала... И решили посторожить Бергера.

— Да-а, оно бывает так: чем ни чуднее, тем поразительнее, — как-то непонятно для всех произнес Алейников, зевая от усталости. — Но так или иначе, а о тебе, Метальников, они сейчас голову сильно ломают. Если старика Подкорытова взяли в оборот, мог или не мог он признаться?

— Нет, Яков Николаевич, — качнул головой Баландин. — Это черт, а не старик. Он еще смолоду кнутом и огнем испытанный.

— Как? — встрепенулся Алейников. — Ну-ка расскажи!

— Не то в двадцать четвертом, не то в пятом... точно, в пятом. Братец мой Захарий в какой-то раз налетел на Жуковку. Эх, было дело, пощелкал он нас, паразит! И меня в правую икру подстрелил, — сверкнул черными глазами Баландин. — Подкорытов Фотя — он тогда в Жуковке жил, тамошний и уроженец, — когда уже из кольца-то и выскользнуть нельзя было, на виду у бандитов уволок меня к себе во двор и сунул... ну куда ты думаешь? В собачью будку. Пес у него был огромный, волкодав, да не с человека же. Как же, говорю, умещусь? Лезь, орет, и пихает меня головой вперед. Ну, я сейчас раздобрел, а тогда щуплый был. Голова, плечи и зад в дырку пролезли, а ноги торчат. Он, Фатьян, велел мне на спину лечь, загнул мне одну ногу, вдавил в дырку — упирайся, говорит, под крышу будки, да не сильно, не высади переднюю стенку. И другую, раненую, тем же макарком. Бездетный он был, Подкорытов, с женой вдвоем жили. Она выскочила из избы, завывала. «Не распуская слюни, — закричал он ей, — беги задами куда хошь, и я как-нибудь затаюсь...» Едва-едва управился со мной, как слышу: топот копытный, головорезы Захария на подворье врываются, пес залаял на них бешено. Грохнуло сразу два-три выстрела — собака завизжала предсмертно. «Чем же пес виноват?» — послышался голос Фатьяна. Не успел он убежать, значит. Минуты какой-то и не хватило. Все, думаю, конец ему.

Баландин налил из чайника остывший чай и отхлебнул. Алейников перестал зевать. И Метальников слушал удивленно, широко раскрыв по-калмыцки узкие глаза.

— Ну и... а дальше? — спросил он.

— Дальше — чего ж? Я лежу так... как таракан сдохший, на спине с согнутыми лапами. Колени в подбородок упираются, а ступни в переднюю стенку конуры, под крышу. И помру, думаю, зазорно. Все равно ж увидят, если кто на собачий лаз взгляд бросит. Али кровь из ноги вытечет стружкой из конуры. Ну, я не знал, что мертвый пес, на счастье, возле дырки прямо лежал, маленько закрывал ее. И кровь песья землю вокруг конуры обрызгала... Не знал, а делать нечего, лежу. Наган, правда, не выпустил из руки, сжимаю. Совсем-то зазря, думаю, не дамся... Шум на дворе, крики, плети свищут, Фатьян орет. Потом, слышу, сам братец подскочил к дому, заматерился. «Что, — кричит, — вы его плетками по двору, как щенка, гоняете?» Это Фатьяна, значит. «Ему, — орет, — задницу не плетями, а огоньком погреть надо, поджарить чуток, чтоб не воняла. Ну, куда спрятал Кондрашку? Убежал через огород? Не ври, подстреленный он, не убежать ему. Ну-ка, подвесить его кренделем на веревку! И огоньку под задницу...»

Партизанский лагерь жил обычной утренней жизнью. Сквозь небольшие оконца землянки было видно, как несколько человек, вооруженных советскими и немецкими автоматами, с ножами на поясах, гуськом ушли в лес — сменить ночные посты, расставленные в необходимых местах на различных расстояниях от лагеря. Проехала куда-то телега, груженная туго набитыми мешками, ящиками, меж которых обрубком торчал ствол станкового пулемета. Широкая в плечах, грудастая баба, босая, с мокрым подолом, развешивала на веревках, натянутых между деревьев, только что выстиранное в речке белье — мужские подштанники, нательные рубахи, гимнастерки... К ней подошла Оля с полотенцем в руках. Голова ее, как обычно, была туго обмотана светлым платком. Она что-то спросила у женщины, улыбнулась, положила полотенце на траву, стала помогать развешивать белье.

Алейников пристально глядел через оконце на Ольку. Когда та приподнималась на носки в солдатских сапогах и вытягивала руки, чтобы забросить белье на веревку, отчетливо обозначалась, обрисовывалась ее худенькая, слабенькая, еще почти детская фигурка, и в глазах у Якова мелькала какая-то грусть. Командир партизанского отряда заметил это и невольно тоже глянул в оконце. Яков чуть смутился, тотчас проговорил:

— И чем же все кончилось?

— Чем... Руки-ноги Подкорытову схватили веревками, концы перебросили через веревку, подвесили крючком в воротах, а снизу огонь развели. Любимое веселье Захария, любил так людей пытать, не одного сказнил. «Я не до смерти, — говорил он, — казню, только жир с мягкого места вытапливаю, чтоб в сортир потом легче коммунарам ходить было». Огня не много клал, чтоб тело не сразу обугливалось. А когда все до костей выгорало, огонь приказывал убирать. В жестоких мучениях умирали потом его жертвы... Чего только не приходится перенести человеку на этой земле, — после некоторого молчания хрипло произнес Баландин. — И подумать жутко. Подкорытова жгут, а подо мной горит, чувствую, еще жарче. Как вытерпеть? Будь что будет, решаю, смерть, конечно, будет, но сил больше нету соображать, что они с человеком делают. Высажу сейчас, думаю, ногами переднюю стенку собачьей будки... Только бы суметь на ноги вскочить, в наганае еще три или четыре патрона. Напряжся — и как даванул...

Баландин будто проглотил что-то тяжелое, отвалился на спинку стула, так, что она затрещала, замотал обросшим лицом, словно пытаясь освободить шею из тугого воротника старрой, побелевшей от солнца гимнастерки.

— И что? — негромко спросил Метальников.

— Ничего... В глазах лишь потемнело. В тесной будке и без того темно, а тут черные круги какие-то пошли. Тело все прорезало болью — икра-то у меня развороченная пулей была. Вот, мелькнула мысль, оттого и не хватило силы будку разломать, переднюю стенку высадить. Крепкая оказалась... А дело было даже и не в том, что крепкая, ноги у меня в таком положении затекли уж, не послушались. А в мозгу больнее, чем в теле, закрутилось: из-за меня ж человек лютой смертью гибнет. Из-за меня! Крикнуть надо — оставьте его, вот он я, тут! И, рассказывал Подкорытов, закричал я. Я-то ничего не помню, мне чудилось, что я думаю лишь об этом, а он говорит — нет, я слышал, кричал ты из будки.

— А бандиты не расслышали, что ли?

— Не до того им уж было. Из Шестокова милиционеры прискакали. Как налетел Захарий, мы туда конного послали. Телефонов тогда не было, мы — конного... Там близко, три версты всего.

— Ну ладно, Подкорытов, будем считать, не признаётся... — проговорил Алейников. — А эта, как ее? Леокадия Шипова?

— Эта, конечно, ежели начнут ее трясти... Но Подкорытов, я верю, смолчит, — еще раз заверил Баландин. — Смерти он не боится, пожил, говорит, слава богу, а оставлять сир-

тами на этом свете некого. Жена его до войны еще скончалась, детей у него не было. От него ничего не добьются.

— Ладно, — махнул рукой Алейников, как бы подводя итог разговору. — Даже лучше, если б признался, что сообщил Степану... Шелется у меня в мозгу один план. До двух часов я и ты, Метальников, поспим. Днем обговорим и уточним все в деталях. А пока весь отряд разбить на четыре группы! Две — по сорок человек, остальные — по пятнадцать. Маловато силенок, да что поделаешь. После обеда уложить спать. На закате выступаем.

План Алейникова был прост. Он основывался на том обстоятельстве, что линия фронта неумолимо приближалась и в связи с этим Лахновский, безусловно ошеломленный к тому же нападением среди ясного дня на Бергера и его гибелью, ждет теперь неминуемого удара партизан и на само Шестоково. И этот удар, думает он, скорее всего будет нанесен нынешней ночью с запада. Почему нынешней ночью и с запада?

Интуиция Алейникову подсказывала: Лахновский давно взял в оборот всех, кому было известно о поездке Бергера в Орел, а значит, прежде всего Леокадию Шипову и Подкорытова. Признаются они или нет, что сообщили о поездке Бергера — она Подкорытову, а тот Метальникову, — все равно Метальников теперь для Лахновского ясен. Но, рассуждал Алейников, Лахновский продумал и следующее: Метальников и командир партизанского отряда Баландин тоже не лыком шиты, тоже понимают, что Метальников теперь, видимо, разоблачен, и на сегодняшнюю встречу, понятно, являться ему нельзя. А если все же явится, то с одной целью: скрытно следующие за ним партизаны должны захватить человека Лахновского, пришедшего на встречу с Метальниковым, под угрозой смерти заставить его подвести к постам, бесшумно уничтожить их и, приблизившись таким образом скрытно к Шестокову, именно с этой стороны (с другой о приближении партизан сообщили бы секреты) напасть на его гарнизон. Иной цели явка Метальникова означать теперь не могла. И он явится, ибо другой такой возможности обмануть бдительность Лахновского просто у партизан уже не будет и абвергруппа, по мере приближения фронта, сможет эвакуироваться в более глубокий тыл. А этого партизаны допустить не должны.

Далее, Алейников был уверен, что, рассуждая так, Лахновский давно привел свою «армию» в повышенную боевую готовность, рассредоточил ее в наиболее удобных для партизанского нападения на Шестоково местах и какую-то часть безусловно выдвинул к месту встречи с Метальниковым. Вся эта ситуация не

сложилась бы, проследуй Бергер спокойно из Орла в свое логово, Лахновский не всполошился бы, но начальник «Абвергруппы 101» был убит, и это резко меняло все дело. Алейников понимал, что головорезы Лахновского нападут на партизан первыми, как только обнаружат их. А это ему и было нужно, на это он и рассчитывал. Но нападут они на одну из четырех групп, возглавляемую Баландиным. А тому важно будет, завязав бой, отступить за южную сторону леса, в болотистую пойму речушки, изгибающуюся здесь кренделем, откуда вроде бы не было возможности выбраться, увлечь за собой врага, но там во что бы то ни стало остановить бандитов с тем, чтобы они, имея надежду уничтожить загнанных в мешок партизан, вызвали подкрепление. Лахновский пошлет его немедленно. И лишь только прибывшее подкрепление соединится со своими и вступит в бой, вторая группа партизан, тоже в сорок человек, скрывавшаяся до этой поры в лесу с северной стороны, ударит по фашистам с тыла. И уже не партизаны, а немцы окажутся в мешке. А далее, как говорится, дело техники.

Алейников полагал, что основная часть «армии» Лахновского будет брошена в этот бой, в самом Шестокове останется какая-то незначительная команда и немногочисленный немецкий гарнизон. Третья и четвертая группы партизан, общей численностью в тридцать человек, по сигналу — две зеленые, одна красная ракета — должны броситься в Шестоково с севера и юга, смять посты, если они попадутся на пути, ворваться в село, уничтожить или взять в плен всех, кто там окажется, захватить штаб «Абвергруппы 101» и штаб Лахновского, принять все меры к тому, чтобы ни одна папка с документами, ни одна бумажка из находящихся там столов или шкафов не была уничтожена...

Вечером, когда партизаны ужинали, этот план был детально обсужден с Баландиным, с его заместителями, с командирами взводов. Он был принят за основу. Было лишь условлено, что, если к Метальникову на встречу никто не придет, группе, возглавляемой Баландиным, надлежит двигаться по дороге в сторону Шестокова до тех пор, пока ее не обнаружат. А по обнаружении бой все равно завяжется, и далее предстоит действовать по плану — отступить к речной пойме.

Выйдя из землянки на воздух, Алейников поглядел на вечернее небо, на заходившие по нему тяжелые тучи и сказал Баландину:

— Вот увидишь, половина «армии» Лахновского нас будет ждать в лесу у места встречи Метальникова с абверовцем. Все будет, как я рассчитывал.

Так оно и случилось.

С заходом солнца партизаны, кто в чем — в измятых пиджаках, в гимнастерках, в темных грубых рубахах, вооруженные советскими и немецкими автоматами, с запасными патронными рожками и дисками, с гранатами на ремнях, выстроились на поляне перед выходом четырьмя небольшими колоннами и, в ожидании команды, спокойно переговаривались, что-то рассказывали друг другу, похихатывали беспечно, будто собирались не на смертный бой, а на веселое развлечение. Иван, впервые видевший партизан, второй день оглядывал их с интересом и любопытством и никак не мог себе представить, что этот народ умеет стрелять и бросать гранаты, что эти люди наводят ужас на немцев. Ему казалось, будто бородатые мужики и безбородые молодые парни никакие не партизаны, а обыкновенные колхозники, собравшиеся у конторы перед выходом на работу, и только по недоразумению у них за плечами не вилы и грабли, а настоящее боевое оружие.

Из землянки вышли Алейников, Баландин, Метальников и еще несколько человек, тоже все вооруженные автоматами. Разговор и смех в колоннах сразу стих, над поляной установилась тишина. В безмолвии раздалась негромкие команды, и через минуту три группы покинули лагерь, двинулись в лесной сумрак, каждая своим путем, а четвертая задержалась, потому что Алейников, собиравшийся уже подать команду, вдруг увидел Ольку, стоявшую на левом фланге в первом ряду возле Ивана. На плече у нее, как и у других, висел автомат.

— Королева! Я приказал тебе остаться здесь.

— Еще чего?! И не подумаю, — ответила она, глядя в сторону.

— Оля, ты свое дело выполнила, привела нас... — каким-то странно-беспомощным, умоляющим голосом произнес Алейников.

— Я свое дело, Яков Николаевич, никогда до конца не выполню, — ответила она, не поворачивая головы.

Иван понимал, о чем она говорит. Понимали это, кажется, и все остальные. Из строя кто-то глухо сказал:

— Да пушай идет Олька...

Алейников будто только этого и ждал, вздохнул.

Разведав ночью и утром местность, Алейников вел партизан уверенно, будто знал все эти лесные чащобы с детства, и за два с лишним часа ни разу не оглянулся. И шагавшая следом за ним Олька ни разу не взглянула назад, на Ивана. Прошлой ночью она все оглядывалась, а теперь шла, нагнув голову, будто боясь споткнуться.

Цепочка партизан пересекала опушки и поляны, обходила мочажины и болотца, скрывалась в редковатом ельнике и вновь бесшумно двигалась по открытому пространству. Алейников, смотря по местности, шел то быстрее, то медленнее, в такт шагам покачивались во мраке его острые, худые плечи, обтянутые заносенной, выстиранной Ольхой гимнастеркой.

...Она днем, никого не спрашивая, зашла в землянку, где он спал, взяла со стула гимнастерку и брюки, направилась к ручью. Там, погрузившись в невеселые и неясные думы о Федоре, сидел Иван. Думать о нем он уже устал и не хотел, но мысли, тупые и тяжелые, помимо воли ворочались в голове. Не мысли даже, а просто вопросы, которые он задавал себе уже тысячу раз и на которые не было ответа: «Ах, Федор, Федька, как же так?.. Зачем же так? Что же теперь будет с Анной?»

Олька с гимнастеркой и брюками в одной руке, с куском черного мыла в другой подошла, поздоровалась, положила мыло на траву, отстегнула от гимнастерки погоны, затем выложила на землю из карманов содержимое — смятую пачку папирос, расческу, носовой платок, коробку спичек, — скинула сапоги, засучила штаны и шагнула в ручей.

Она стирала, стоя в ручье боком к Ивану, засученные штанины делали ее похожей на мальчишку.

Выстирав и гимнастерку, и брюки, и носовой платок, развесив все это под жарким солнцем на ветках кустарника, взяла расческу Алейникова, зачем-то оглядела ее со всех сторон и положила обратно на траву.

— Дядя Вань... — проговорила она задумчиво. — Ты давно Якова Николаевича знаешь?

— Давно, — усмехнулся тот.

— Он хороший человек?

Иван медленно, будто боясь чего-то, повернул голову к девушке, взглянул на нее. Она сидела как-то боком, поджав под себя ноги, правой рукой опиралась о землю, а левой чертила пальцем по траве, сосредоточенно думала о чем-то.

— Зачем тебе? — спросил он негромко.

Она долго не разжимала губ. И Иван молчал.

— Он... предложил мне стать его дочерью.

— Дочерью?! — невольно вырвалось у Ивана.

— Да. А что? — девушка, взглянув на него, шевельнула бровями. — По всем правилам, говорит, оформлю.

— Ты ж... ты ж не маленькая. Маленьких удочеряют. Усыновляют. А ты...

В глазах у Ольки полыхнул не то гнев, не то протест, лицо сделалось злым и холодным.

— А что я? Ну, что я?! — проговорила она с непонятной враждебностью. — Я тебя спросила, а ты ответь, если можешь.

Иван почувствовал, как больно сосет, сдавливает ему сердце. Как ответить на ее вопрос — простой, бесхитростный в общем-то вопрос для нее? И такой неожиданный для него?

— Я... не знаю... Не могу пока ответить.

— Почему? — спросила она тогда в упор. — Вы ж земляки. Яков Николаевич еще там сказал мне. В штабе, перед выходом.

«Почему...» Чтобы объяснить это «почему», надо ей рассказать обо всей его горькой жизни, в которой Алейников сыграл свою роль. А что она поймет в его судьбе и в роли Алейникова в ней? Да, может, и не надо, чтобы понимала, не нужно, чтобы задумалась об этом. Своя-то судьба у нее вон какая опаленная, обугленная до черноты, зачем еще ей добавлять мучительные раздумья об этой безжалостной и жестокой жизни на земле, а значит — новые страдания?

Она по-своему расценила его молчание и отчужденно произнесла:

— И что бы вы ни думали, как бы ни считали — это ваше дело. А я-то знаю — он добрый и хороший. Он только очень одинок и потому кажется злым, нелюдимым. Он мне рассказывал, что сын у него утонул, а жена ушла... оставила его.

— Это, конечно, бывает, — промолвил Иван.

— У вас-то все хорошо в жизни. Вас жена не бросала! — еще злее полоснула она его зрачками.

— Не бросала. И у меня — все хорошо в жизни, — горько усмехнулся он. Но она не поняла и не могла понять этой горечи. Она стремительно вскочила на колени.

— Зачем вы меня злите?!

— Я вовсе не со зла... — проговорил он. — Успокойся.

Девушка будто сразу поверила его словам, вняла его просьбе. Она опустилась на землю и вздохнула.

— Я была бы ему хорошей дочерью, дядя Ваня, — произнесла она прежним голосом, глядя куда-то за ручей, в заросли тальника и пахучей смородины. — Да, в самом деле, я ведь не маленькая. И скоро... скоро у самой дочь будет. Или сын...

Иван не сразу понял, о чем она говорит. А когда смысл сказанного прояснился в сознании, он, качнувшись, шагнул к ней, остановился возле и стал смотреть на нее сверху вниз.

Олька еще посидела неподвижно, затем, будто повинясь его безмолвному требованию, подняла вверх лицо. Так, глядя на него, она поднялась и, не мигая, все продолжала смотреть презрительно и гордо.

— От него... от Семки? — прошевелил Иван склеившимися губами.

— А кроме него, у меня никого не было... Он был первый. И может, последний.

— Понятно...

— Ну и уходи отсюда, если понятно, — сказала она грубо. — Мне свою кофточку постирать надо. А насчет намерения Якова Николаевича я еще подумаю...

...Шагая теперь вслед за Ольгой, Иван, с жалостью оглядывая ее хрупкую фигурку, чувствовал, как она незащищена и беспомощна в этом мире, чувствовал к ней что-то отцовское. Он понимал теперь и Алейникова, признание Ольги вдруг осветило Ивану с какой-то совершенно новой стороны, раньше и не проглядываемой вовсе, не только весь жизненный путь этого человека, но и его душу. Душа эта, как считали многие, да и он, Иван, была нелюдима и мрачна, а характер безжалостен и жесток. Но ведь жизненный путь его был не прост и не легок, этот путь всегда, каждый день, каждый час пролегал сквозь ту громажающую огнем и железом жизнь, будь хоть война, хоть мирное время. В жизни всякого человека разобратся нелегко, даже в самой простенькой и благополучной жизни, а ему судьба выпала быть в самом центре людских коловращений, в самом пекле безжалостных ошибок добра и зла, любви и ненависти, правды и лжи.

Понял теперь Иван и Ольгу, почувствовал, как ей хотелось обыкновенного человеческого тепла, понял теперь, почему ее желанию не мог не уступить Семен, не мог на него не откликнуться, забыв на мгновение о жене и маленькой своей дочери. И хотя ни самому Семену, ни кому бы то ни было вообще на земле не объяснить, что он ни в чем не виноват перед женой и людьми, Иван знал теперь твердо — действительно не виновен.

Так думал Иван, шагая вслед за Алейниковым и Ольгой по ночному лесу.

Погода с наступлением сумерек начала портиться, небо плотно закрывало тучами, чернота в лесу сгущалась, все более ограничивая видимость. Дождя пока не было, но ветерок все крепче мотал верхушки деревьев, лес наполнился нескончаемым тоскливым гулом.

Иван понимал, что шагов партизан теперь не слышно — их заглушал ветер и шорох деревьев, с расстояния в двадцать метров людей уже не видно — их скрывала ночная темень, и все это успокаивало, рождало чувство безопасности. Но о чем бы он ни думал, что бы ни чувствовал, в мозг, в сердце раскаленным гвоздем вбивалось: «Ах, Федор, Федор!» И от этой гнетущей боли, он понимал, нельзя избавиться, гвоздь этот вошел глубоко и врос намертво...

А Федор Силантьевич Савельев в этот момент, уставший от последних бессонных ночей, сидел в кабинете Лахновского. Веки его были налиты каменной тяжестью, глаза закрывались, в голове тупо шумело, она сама собой клонилась вниз. Боясь заснуть и свалиться со стула, Федор вскидывал ее, одновременно вздрагивая, обводил помутневшим взором комнату, каждый раз натыкался на бумажный портрет Гитлера в черной раме. Круглые, холодные глаза этого человека были устремлены в пространство, мимо Федора, мимо находящихся в этом же кабинете Лахновского и Валентика, мимо всего живого на земле, будто он замечал в этом пространстве какие-то высшие, конечные истины, непонятные и недоступные для других.

Федор, с тех пор как оказался у немцев, видел множество портретов этого человека, больших и малых, на бумаге и на холстах, на значках и в книжках. Портреты были разные, одинаковым был на них лишь этот взгляд, вызывающий у Федора холодок в груди. Но сейчас впервые он ощущал не холодок, а тошноту, а от этого еще больше хотелось спать, хотелось куда-то провалиться — к черту, под землю, во мрак, чтобы никогда не выбраться оттуда, чтобы не видеть больше ни этого портрета, ни высохшего от злобы на весь мир Лахновского с его тростью, которой он вчера раскроил череп бывшей своей любовнице Леонадии Шиповой, а потом, когда она, уже мертвая, рухнула, в бессильной, дьявольской злобе несколько раз воткнул в нее трость, ни толстозадых, с рыжими волосатыми руками немцев, ни своих подчиненных — весь этот сброд, всех этих подонков рода человеческого, жадных до водки и до бабьего тела, но жалких и трусливых в бою, — никого. И себя чтобы больше не видеть, не вспоминать тот прошлогодний хмурый осенний день, когда в лагере для военнопленных под Пятигорском, дав слово служить немцам, он, сбросив изодранную в лохмотья, изопревшую солдатскую гимнастерку, натянул на себя пахнущее незнакомым, чужим запахом белье, грубые суконные брюки, короткую куртку. Но, как назло, он хорошо помнит эту минуту, этот час и вообще весь тот сумрачный, промозглый день... Лахновский метался по кабинету от стены к стене, на короткое время останавливался у окошка, сквозь синее стекло всматривался во мрак, резко оборачивался, подбегал к столу, на котором стоял полевой телефон, впивался в него глазами. Рука, сжимавшая трость, при этом дрожала; казалось, он сейчас размахнется, обрушит свою трость на телефонную трубку, как обрушил вчера на косматую голову Шиповой. Но он этого не делал, садился в стоящее сбоку от стола старое, расшатанное

кресло и, положив обе ладони на трость, угрюмо и обиженно сжимал губы. Посидев так с полминуты, вскакивал и начинал все сначала: подбегал к окну, к телефону, садился...

С наблюдательной вышки, построенной на крыше единственного в Шестокове двухэтажного кирпичного здания, в котором до войны находился магазин, должны были немедленно позвонить, если увидят над лесом, в том месте, где должен был выйти на связь агент Метальников, сигнал о помощи — две красные ракеты. Этого-то сигнала и ждал Лахновский, боясь его...

Звонок раздался неожиданно, заставив всех вздрогнуть. Лахновский трясущейся рукой схватил трубку.

— У аппарата... — хрипло и торопливо сказал он. Потом перешел на немецкий: — Nein, Herr Meisner, bis jetzt gab es kein Signal¹.

Бросил трубку и отбежал к окну.

Оберштурмфюрер Майснер был заместителем Бергера и теперь, до назначения нового начальника, являлся полновластным хозяином абвергруппы. Как и все, он тоже не спал в эту суматошную и тревожную ночь. Впрочем, не только в эту. Со дня убийства партизанами начальника абвергруппы в Шестокове началась суматошная жизнь. Посты вокруг деревни были усилены многократно и выдвинуты далеко вперед; командирам взводов, в том числе Федору Савельеву, вменялось каждые полчаса проверять их, всех солдат приказано держать в полной боевой готовности, без оружия запрещалось даже посещение отхожих мест.

Оберштурмфюрер Майснер, всегда неразговорчивый, высокомерный и наглый, любивший распекать и поучать руководителей отделов, следователей, инструкторов и прочих сотрудников абвергруппы, позволявший себе даже то, чего и Бергер не позволял — в начальственном тоне разговаривать с Лахновским, — в одно мгновение стал совершенно другим человеком. Надменность и высокомерие вдруг обсыпались с него, как шелуха, в глазах заплескался испуг, зрачки забегали, и вообще весь он как-то осунулся и поминутно ежился, будто за воротом у него торчал кусок льда.

— Господин штандартенфюрер! — заискивающе обратился он по несколько раз за день к Лахновскому. — Солдаты вашей армии в случае нападения партизан, я надеюсь...

— И я надеюсь, — отмахивался Лахновский, напуганный не меньше его.

— Неужели они осмелятся?

— Они?! Они — это полбеды, господин оберштурмфюрер. А вот если противник прорвет фронт...

— Но... — Майснер бледнел, на тщательно выбритых щеках его выступала испарина, он тыкал в них скомканным платком. — Но это значит... в этом случае абвергруппу следует спешно передислоцировать дальше в тыл.

— На этот счет у вас есть начальство. Звоните в Орел.

— Да, но если... не противник прорвет нашу оборону, а наши доблестные войска опрокинут русских? Как мой звонок будет расценен? Моя карьера...

— Боже, какой, оказывается, болван! — сказал Лахновский уже по-русски Федору, когда тот случайно стал свидетелем одного из таких разговоров.

Все это было давно, несколько дней назад. ...Стоя у окна, Лахновский, повесив трость на локоть, достал табакерку, нервно забил ноздри табачной пылью. Затем резко обернулся.

— Сигнала пока нет, — повторил он. — Дьявольщина! Что же там происходит?

— Ничего. Просто этот ваш Метальников не являлся, — проговорил Федор и мотнул головой, стряхивая сон.

— Не может быть! — воскликнул сердито Лахновский. — Или я ничего не стою! Это единственный шанс у них подобраться сейчас к Шестокову незаметно. Единственный. И они это понимают.

Лахновский вдруг сам схватил трубку, крутанул ручку телефона.

— Садовского мне, живо! — прохрипел он. И секунды четыре, уныло сторбившись, ждал соединения. — Садовский? Ну, что там Подкорытов? — Не признался? Потерял сознание. Очнется — продолжайте допрос.

Бросил трубку и снова заходил по кабинету.

— Удивительно! Просто непостижимо. Есть боль... муки, которых человек не может, не в состоянии вытерпеть. А Подкорытов молчит. Старик же, и сил-то вроде нет...

— Сил... — усмехнулся Валентик, посмотрел на горящую керосиновую лампу, стоящую на специальной подставке у стены, прижмурился и по-кошачьи чихнул.

Лахновский выдернул из кармана жилетки скользкие желтые часы, глянул на них.

— Пора. Марш проверять посты!

Савельев и Валентик встали, пошли к дверям. Обойдя секреты, расставленные вокруг Шестокова, они обязаны были снова вернуться сюда, в этот кабинет, и лично доложить Лахновскому, что все в порядке. Такое правило было введено им трое суток назад, и все эти трое суток Федор не сомкнул глаз, хотя ему в помощь и был дан этот Валентик. Да и сам Лахновский не спал. Он вообще, кажется, не ложился с самого пятого июля, когда за Орлом ожили обе линии фронта и началось сражение. В послед-

¹ Нет, господин Майснер, пока сигнала нет.

ние же дни, особенно после гибели Бергера, он будто сдурел, метался по Шестокову, как крыса, почуявшая беду, держал всех в полной боевой готовности, установил новую систему постов, без конца допрашивал арестованных старосту Подкорытова и Лику Шипову, по несколько раз на дню звонил и лично ходил к Майснеру, требуя, чтобы тот испрашил разрешение у своего начальника об эвакуации абвергруппы дальше в тыл. Но Майснер, смертельно напуганный всем случившимся, твердил одно и то же:

— Это будет расценено как слабость духа. И моя карьера...

— Ваша карьера?! — в конце концов взорвался Лахновский, подпрыгивая вокруг стола, на котором стоял телефон. — Если оторвут голову, нечем о карьере будет думать! Нет, я не забываюсь. Это вы... вы потеряли всякое чувство реальности!

И с грохотом бросил тяжелую трубку полевого телефона.

Все эти дни после гибели Бергера Лахновский каждую минуту ждал нападения партизан.

— Вот увидите, именно сегодня, — сказал он утром Федору. В последние месяцы он оказывал ему непонятное благоволение. — Ах, Савельев! Ты человек твердый, и я тебе верю. А Метальников — партизанский шпион. Предчувствие меня не обманывает. Я бы давно его пристрелил, если бы не этот тупица Бергер.

Федор никогда не видел Метальникова, никогда до этого даже не слышал о нем. Всякого рода агентов и тайных сотрудников в абвергруппе было множество, они появлялись и исчезали, их тут в специальной школе обучали, а потом некоторых почему-то расстреливали. Во всю эту жуткую кухню Федор не вникал и вникнуть не мог. Он просто занимался тем, что ему было вменено в обязанности: охранял со своим взводом штаб Лахновского и его лично. Сейчас Федор и его люди, оставаясь сами невидимыми, круглосуточно держали под наблюдением все въезды и выезды из деревни, все тропки и возможные подходы, выпускали и выпускали из Шестокова людей, знавших установленный на тот день и час пароль. Несколько дней назад он выпустил этого Валентика, одетого в форму советского подполковника. Когда тот вернулся, Федор не видел, а недавно ночью опять выпустил его с каким-то человеком, лица которого не рассмотрел, да и не пытался рассмотреть, даже не подошел близко к телеге, в которой они ехали. Человек, кажется, тоже был в форме советского офицера, в повозке он сидел сгорбившись, чуть не выше головы подняв широкие и жирные плечи. Иногда Федору приказывали взять двух-трех солдат из его взвода, отвести за деревню какого-нибудь человека, изнуренного допросами и пытками, заставить его вы-

рыть могилу или, если тот не был в состоянии это сделать, вырыть самим и расстрелять. Федор выполнял и это, не глядя в лицо обреченному, не спрашивая у того ни фамилии, ни имени, не интересуясь, за какие грехи человек приговорен к смерти. Он действовал, как автомат, каждый день был пьян и боялся лишь одного — когда-нибудь протрезветь.

«Что же дальше?» — подумал Федор, выйдя от Лахновского. Валентик, кивнув зачем-то ему, будто уходил навсегда, скрылся во мраке, а Федор остановился посреди улицы, достал из внутреннего кармана немецкого френча плоскую фляжку, отхлебнул. Спирт был теплый, но он привык его пить таким и, как всегда, проглотил легко, точно воду. «Что же дальше? Вон как заматался Лахновский! Значит, спасения нет. Значит, скоро придут и сюда советские войска. Значит, смерть...»

Федор сделал несколько шагов вдоль темной улицы, глянул на небо. Вверху был тот же мрак — ни проблеска, ни звездочки. Небо еще с вечера обложило толстыми, тяжелыми тучами. «Посты... как будто спасут теперь какие-то посты! И эти окопы, которые нарыли вокруг Шестокова...» — усмехнулся он, проходя мимо развалин сожженного прошлым летом, во время неожиданного налета партизан, огромного коровника, превращенного Лахновским в казарму для своих солдат. Солдаты, помнится, роптали — казарма в коровнике?! — но все другие пригодные для этого помещения были заняты службами абвергруппы и немецким гарнизоном. Лахновский приказал вывезти отсюда лаваз, обрызгать известкой всю землю вокруг, засыпать ее песком, настелить в помещении новые полы и побелить стены — получилось ничего. Нынче пожарище густо заросло крапивой и конопляником. Федор, на секунду приостановившись, вдруг негромко и тяжело простонал, махнул рукой и шагнул в крапиву. Подойдя к обгорелой стене бывшей казармы, он еще глотнул из фляжки, сел на землю, зажал голову руками и так замер.

Даже спирт сегодня не брал, в мозг все колотило и колотило: «Что же дальше? Что дальше?!»

Смерти он теперь не боялся, давно уже искал ее, шел ей навстречу. Но она почему-то сворачивала прочь, обходила его. Даже Лахновский, застав его в постели с Леокадией, не проткнул его своей тростью, чего Федор ожидал с каким-то безразличием и даже возникшим в душе облегчением. Смерти он испугался один раз, в ноябре прошлого года, там, под Пятигорском, когда оборванный, окровавленный, избитый плетью и прикладами стоял на краю рва, вырытого в каменной почве им же самим вместе с другими пленными красноармейцами.

«Один раз... Да, один раз стоило испугаться смерти... — Что-то острое и горячее заворочалось в больном мозгу Федора. — И вст... И вот...»

Он выдернул из кармана фляжку, трясущимися пальцами отвинтил крышку, сделал еще несколько жадных глотков.

«Как же это все получилось? Как получилось?!»

У обгорелой стены было душно, не спирт, а запах конопляника, густой и приторный, туманил ему мозг, проникал куда-то до печенок, до сердца, вызывая отвратительную тошноту. Надо было идти проверять посты, но от одной этой мысли тошнота наваливалась еще больше. Федор боялся идти в лес, в темень. Но не темени или какой-то опасности боялся. Ему казалось, если он увидит сейчас любого солдата из «армии» Лахновского, с ним что-то произойдет. Скорее всего он выдернет из кобуры пистолет и с нечеловеческим сладострастием разрядит его прямо в лицо того человека...

Неожиданно в голове Федора что-то зазвело, будто колокольчики запели неподалеку, все приближаясь. И сквозь этот звон пробилась, пришла к нему вдруг мысль: а что, если пройти сейчас по всем секретам и, сжав зубы, перекосить всех из автомата? Затем явиться в кабинет Лахновского, подойти к нему вплотную, схватить одной рукой за воротник, другой — вдавить парабеллум в хилую грудь его и нажать спусковой крючок. Затем... Затем выволочь его наружу, бросить труп в телегу... в мотоцикл — возле штаба абвергруппы всегда стоит несколько мотоциклов. И рвануть куда-нибудь туда, откуда фронт приближается. И сказать потом, как Ванька когда-то, давно, в гражданскую... Как Ванька, сказать: вот вам атаман наш... только мертвый. Вот сам я. Что хотите со мной... К стенке так к стенке. Только скорее дайте. Так примерно он сказал тогда, и Анна, сидящая на телеге, страшная, неживая, вдруг встрепенулась, сорвалась с телеги, закричала: «Вы сперва разберитесь, вы сперва разберитесь!..»

Федор, вздрогнув, очнулся от своих мыслей. «Какой Иван? Какой Лахновский? Кто это ему позволит с трупом выскочить на улицу, взять мотоцикл? В первые же секунды прошьют из автоматов, решето сделают. И разве прорвешься через линию фронта... или к партизанам? Свои же посты... Чушь все это. Бред. И какая Анна? Где она, Анна?»

Он мотнул тяжелой головой, окончательно приходя в себя. Затем поглядел на небо. Но не увидя там ни звездочки, ни проблеска.

Выпитый спирт совсем не оказывал никакого действия, совсем не чувствовался. И удушающий запах конопли теперь не беспокоил. «При-

терпелся, что ли?» — мелькнуло у Федора. В голове была непривычная пустота и ясность. Ощущая это, он думал лишь, что у него и в мыслях никогда не было перейти на службу к немцам, но произошло именно это, совершилось все быстро и просто в пасмурный ноябрьский день, числа шестого, кажется, как раз под праздник...

Федор плотно закрыл глаза, словно боялся, что густая темень разверзнется мгновенно ослепляющим светом и в этом свете явится ему такое, что люди видят один раз в жизни, перед своим концом. Он всегда закрывал глаза, когда его мысли, лихорадочно пометавшись, неизбежно подводили его к этому рву, вырытому километрах в десяти от Пятигорска в жесткой, каменной земле обреченными людьми, уже, собственно, мертвецами, среди которых был и он, Федор Савельев. Закрывал, намертво стискивал челюсти — аж зубы крошились, — и это помогало ему не думать о том жутком и страшном, что произошло там, под Пятигорском, возле рва, неимоверным усилием воли он заставлял себя думать о другом. О чем угодно, но только о другом.

Вот и сейчас. Откуда-то из бездонных глубин мрака возник жаркий и пыльный летний день, длинный состав из двух- и четырехосных товарных вагонов, толпа воющих баб и ребятишек. Где-то там, в этой толпе, был Семка, уезжающий на фронт, то ли его сын, то ли не его. Да нет, чего там — его, Федор это всегда знал, по обличью видел, но изводил Анну своим подозрением от обиды на весь мир, который пошел куда-то не туда, от обиды на Анну, которая досталась ему уже тогда, когда была не нужна, да к тому же кем-то до него испробованная. Семка уходил добровольцем, но Федору было безразлично, как он уходил — добровольно или по призыву, он был, как и два других сына, Димка и Андрейка, как все люди, чужой ему, провожать он его не хотел. Но в последнюю минуту пошел зачем-то на станцию, потолкался среди плачущих женщин, которые цеплялись за мужей, сыновей и братьев, будто хотели оттащить их от поезда, собиравшегося отвезти мужчин на войну, может быть, на смерть, и неожиданно как-то очутился перед Семеном.

— *Не думал, что ты придешь,* — сказал тот удивленно, отстранив от себя заплаканную Наталью, растерянную девчонку, на которой недавно женился.

— *Я знаю,* — ответил ему Федор. — *Потому и не хотел.*

— *Зачем же пришел? Я бы не обиделся.*

— *Не знаю. Может, зависть пригнала.*

— *Что?! — Семкины брови вскинулись.*

И все другие, стоящие вокруг Семена, удив-

ленно шевельнулись. Это Федор помнит ясно и отчетливо, как и весь этот короткий разговор, почему-то тоже глубоко врезавшийся ему в память. Кто-то, Иван, кажется, брат, ну да, Ванька, тоже уезжавший на фронт, даже подошел вплотную почти, недоверчиво, пряча насмешку, спросил:

— *Погоди-погоди... Какая зависть? Что на войну не берут?*

Но Федор эту насмешку расслышал, почувствовал, как что-то в нем вскипело внутри едкое и злое. Но он задавил в себе эту злость, усмехнулся лишь таяко и холодно и ответил не только Ивану — всем им, сказал несколько слов, будто кирпич к кирпичу положил:

— *Нет. Это бы и я мог, коли захотел... В крайнем случае — как Инютин Кирьян... Вообще... Но вам этого не понять...*

Да, так он им сказал тогда, повернулся и пошел, не заботясь, как они поняли его слова и что о нем думают.

На фронт, по примеру Инютина Кирьяна, Федор не побежал. После проводов Семена он дня три или четыре пролежал дома. Анна что-то говорила ему, о чем-то просила, плакала — он отмахивался.

А потом встал, побрился, пошел в МТС к начальнику политотдела Голованову.

— Вот что... снимайте бронь, — заявил он ему, даже не поздоровавшись. — Я на фронт лучше пойду.

— Погоди, Федор Силантьевич, — сказал Голованов, несколько удивленный. — Приближается уборка. Зимой ты взял обязательство убрать сцепом из трех комбайнов две с половиной тысячи гектаров.

— Другие уберут. Вон на курсах девок сколько научили! И трактористок и комбайнерок. Я на работу больше не выйду.

— Как это не выйдешь?

— А так. Я все сказал...

И Федор пошел из кабинета.

— Стой! — вскрикнул Голованов, встал, опираясь на костыль. И заговорил, дергаясь, багровея лицом: — Ты что вытворяешь?! Мы тут с ремонтом пурхаемся, а ты с неделю нос в МТС не показывал. Теперь заявляешь...

— Болел я, — вяло сказал Федор.

Голованов, помнитса, прихрамывая, подошел к Федору, оглядел его с ног до головы.

— Ну что оглядываешь? — раздраженно воскликнул Федор. — Я не продаюсь, не примеряюсь... А я вам больше не работник.

Голованов еще помолчал, думая о чем-то. Потом сказал:

— Давно уж не работник, мы видим... Так я и не могу понять, что с тобой такое произошло.

— На фронт, сказано, хочу.

— Все хотят, да ведут себя по-человечьи. Вот сын твой, Семен...

— Ты им не тыкай мне в морду! Он — сам по себе, я сам...

И еще помолчал начальник политотдела МТС, видимо, пытаясь понять смысл его слов.

— Держать мы тебя не будем, Федор, обойдемся с уборкой как-нибудь и без тебя.

— Вот и обходитесь, — неприязненно бросил Федор.

— Но пока суть да дело, на работу выходи. А то вместо фронта суд тебе выйдет.

— Пугаешь?

— Цацкаться с тобой, что ли, будем?! — опять вскипел Голованов. Лицо его стало совсем черным, страшным. — Война, люди хлещутся до полусмерти, а он... Отправляйся в мастерскую да гляди у меня!

Федор смог сообразить тогда, что предупреждение Голованова было нешуточным, прямо из его кабинета ушел в мастерскую. И вообще не выходил почти из МТС, пока продолжалось это «суть да дело», как высказался начальник политотдела. Продолжалось оно не долго, в конце июля Федор получил повестку. Провожали его Анна да Андрейка с Димкой. Дети были испуганы. Анна не плакала, ничего не говорила. Федора это смертельно, до тошноты озлобляло, но он тоже ничего не говорил, в голову ему, как в медный лист, долбило со звоном: «Ну и черт с вами, оставайтесь! Оставайтесь!» Лишь стоя уже в проеме вагонной двери, он спросил сверху:

— В Михайловку к Назарову в колхоз теперь, значит, переедешь?

— Куда же еще? Туда.

— Ну возвращайся. Хороший был уголок земли. Был, да сплыл.

Анна, помнитса, запрокинула изумленные, сверкающие глаза. Федор толком не разглядел тогда, но, кажется, были в них, в ее глазах, все-таки слезы.

Через неделю Федор находился уже за Волгой, рыл учебные окопы, ходил в ночные учебные атаки, ползал по-пластунски и дырявил мишени, на которых был изображен силуэт немецкого солдата в каске. Такая жизнь продолжалась больше двух месяцев. Потом всю дивизию, в которой он служил, погрузили в теплушки и повезли куда-то. По составу сразу же разнесся слух — на Кавказ. На Кавказе Федор никогда не был, с любопытством оглядывал места, по которым медленно тащился поезд, но долго ничего особенного не видел — степи, лощины, невысокие каменистые холмы. Уж нет-нет да и начинали виднеться вдали черные громадины гор...

Разгрузились ночью где-то под городом Нальчик, на пыльном полустанке, где возле единственного длинного барака росло несколько чахлах деревьев, поротно двинулись прочь по каменистой дороге. Камни хрустели под ногами, непривычно едкая пыль лезла в рот и ноздри, въедалась в глаза. К рассвету заняли окопы, отрытые, выдолбленные ранее оборонявшимися здесь войсками чуть ли не в сплошном камне в полный рост. Всем было объяснено, что в нескольких десятках метров вдоль реки, которая называется Баксан, расположены немецкие окопы, что фашисты могут в любую минуту начать наступление и что оборонять позиции приказано до последнего дыхания.

Только теперь Федор почувствовал, что ведь он на войне, на самой настоящей войне, где могут в любую минуту убить, и только теперь с каким-то пронзительным удивлением подумал: как же это и зачем он здесь очутился? Непостижимым образом повторялось прежнее: тогда, в гражданскую, не хотел ведь он воевать ни за красных, ни за белых и мог, наверное, как-то отлежаться в глухом углу, а очутился в партизанском отряде; сейчас мог до конца войны — должна же она когда-то кончиться! — просидеть на брони, такого комбайнера, как он, на фронт бы не отправили, скосил бы он нынче эти две с половиной тысячи гектаров, как обещал, и гремело бы его имя по всему району, по всей области, а вместо этого оказался вот тут, вблизи от немецких окопов, из которых тянет незнакомым, кислым запахом, откуда грозит ему смерть. А ради чего, собственно, должен он умирать?

Но смерть беспощадно и неумолимо дыхла ему в лицо из немецких автоматов не здесь, не в каменистых окопах под Нальчиком, а на краю вырытого им самим глубокого рва где-то за Пятигорском. Здесь же Федору пришлось пережить только жуткую бомбежку, первую и последнюю в его жизни. Немецкие самолеты появились неожиданно из-за высокой каменной хребтины, тянувшейся справа по горизонту, бомбы посыпались густо, как зерна из руки сеяльщика, земля вспухла от взрывов, окуталась дымом и пылью. Федор упал, вместе с другими повалился на дно окопа, над которым плотно стелились черно-белые космы и со скрипом, казалось, терлись друг о дружку. Еще Федор ощущал, как тяжело вздрагивает от бесконечных взрывов земля, слышал или ему чудилось, что слышит, как свистят над окопом осколки горячего бомбового железа и камней. Несмотря на адский грохот, на забившие глотку пыль и дым, Федор чувствовал себя в безопасности, он лежал на боку, косил глазами вверх, на непроглядную кипящую муть и подумал вдруг: хорошо, что окопы такие глубо-

кие, хорошо, что они выдолблены чуть ли не в сплошном граните...

Это и была там, под Нальчиком, последняя его мысль, вспомнил сейчас Федор. Мутная полоска света над головой вдруг ярко мигнула, как лезвием, чиркнула по глазам и потухла, вся земля куда-то провалилась, и вместе с ней провалился Федор...

О том, что бомба угодила прямо в окопную щель, что она упала где-то недалеко, в нескольких метрах от него, Федор догадался на другой день утром, когда он в грязной, лопнувшей на спине гимнастерке, обрызганной чьей-то кровью, брел в толпе пленных красноармейцев, а сбоку толпы шагали немцы-конвоиры. На шее у каждого висел автомат, на голове у каждого была каска с короткими рожками, точь-в-точь как на мишенях, в которые он палил на учебных занятиях под Сызранью.

Двое немцев в таких же касках некоторое время назад стали приближаться к нему из неясной мути, из качающегося тумана. «Интересно, откуда здесь мишени? — подумал Федор. — Почему они двигаются?» Тогда он, только что очнувшийся, не мог сообразить, что взрывом его выбросило из окопа, что всю ночь он пролежал на краю бомбовой воронки, свесив в нее ноги, без сознания, не видя и не слыша кипевшего здесь боя. «Мишени» прошли было мимо, но что-то одну из них привлекло, «мишень» вернулась, наклонилась над ним. Федор невольно прикрыл глаза, испуганно подумав, что сделал это поздно, догадавшись уже, что это не мишени, а настоящие немцы.

— Er atmet, er lebt doch, — услышал он чужую речь. — Aufstehen! ¹

Федор не понимал, что они говорят.

Потом в закрытых его глазах метнулось оранжевое пламя, и Федор скорее догадался, чем почувствовал, что немец пнул его сапогом в голову.

И он, все чувствуя, как колотится в последних, лихорадочных усилиях сердце, вытянул ноги из воронки, упер колени и ладони в шершавую землю, оторвал от нее тело, стал подниматься.

Полусогнутый, с опущенными руками, Федор какое-то время стоял неподвижно, тупо глядя на немцев, которые все еще плавали, покачивались перед ним, как в тумане. Правда, туман немножко поредел, и Федор заметил, что немцы рассматривают его беззлобно, с любопытством и удивлением.

— Oh, der russische Bär! ² — сказал один из них с улыбкой.

— Ja, ja, ³ — откликнулся другой.

¹ Он дышит, живой. Встать!

² О, русский медведь!

³ Да, да.

Тогда Федор не знал ни одного немецкого слова и не понимал, о чем они говорили.

Потом этот другой, который сказал «Ja, ja», угрюмый и коротконогий, сплюнул на землю и резко мотнул автоматом. Федор догадался, что ему приказывают повернуться. И он повернулся, вытянулся, свел на спине лопатки, ожидая автоматной очереди, которая сейчас прошьет его. Одновременно в голове мелькнуло: «Что им убить человека? Это как плюнуть... как плюнуть».

Так Федор, вытянувшись, сведя до соприкосновения друг с другом лопатки, стоял, ожидая смерти. Но смерть беспощадно и неумолимо дыхла ему в лицо из немецких автоматов не здесь...

«Не здесь... — чуть не вслух повторил Федор. — Да. Не там...» Он тяжело вздохнул, поглядел на предрассветное уже небо и полез было за новой сигаретой, когда над Шестоковым неожиданно и визгливо завывла сирена. «Вот оно! Сигнал!» — мелькнуло у него в мозгу тревожно и одновременно как-то отрезвляюще, он сунул пачку обратно, в карман, вскочил и побежал к казарме...

Возле каменного здания бывшего магазина было столпотворение. Солдаты «армии» Лахновского с автоматами в руках, с гранатами на поясе выбегали из казармы, но не строились повзводно, как всегда бывало при тревогах, а в полумраке сбивались, как овцы, в кучи, меж которых сновали взводные командиры. Светя фарам, из переулка вывернулись два грузовика. Две кучи солдат кинулись к ним, толкая друг друга, сердито переругиваясь и матюкаясь, полезли в кузова.

— Где третий? Где третья машина?! — зло кричал Лахновский, выбегая из казармы.

— Сейчас Лардугин... Сейчас он, — умоляюще произнес один из шоферов, приоткрыв дверцу кабины. — Не заводится у него... Аккумулятор меняет.

— Расстреляю подлеца! — затрясся Лахновский.

— Да вон, едет! — крикнул шофер.

Третья машина, мотая на рытвинах снопами света, бьющего из фар, неслась к казарме.

— Все равно расстреляю после боя! — рявкнул Лахновский прямо в лицо подбежавшему Федору, будто заверяя его в этом. — Ну! Что? Что?

— Все в порядке, — ответил Федор. — Все тихо.

— Тихо — да! Тихо — да?! — раздраженно и недоверчиво прокричал Лахновский, нервно дернул высохшей головой в сторону Валентика, сидящего у стенки казармы, где было место

для курения, и пообещал злорадно: — Будет вам сейчас тихо!

Из-за угла казармы выбежал Майснер, за ним тощий и какой-то желтый, как старая селедка, начальник немецкого гарнизона Кугель. Лахновский метнулся им навстречу, начал что-то говорить, размахивая руками. Кугель стоял перед ним вытянувшись. Затем повернулся и побежал назад. Майснер, сняв фуражку, обтирал платком лысину и, будто тоже получив приказание, пошел прочь.

Федор шагнул к казарме, сел рядом с Валентиком, закурил, спичку бросил в бочку с водой.

— Знаете, что на фронте? — негромко спросил Валентик.

Федор с опаской, даже со страхом относился к этому человеку, недавно появившемуся в Шестокове. Удивило и поразило Федора даже не то, что он, объявившись, начал в открытую пьянствовать и развратничать с Леокадией, нисколько не боясь гнева Бергера. У Федора противно защемило сердце, когда Валентик, узнав, что Лахновский раскрыл Шиповой череп тростью, с кривой ухмылкой произнес: «Зря поторопился. Поручили бы мне с ней заняться, она бы через час у меня, как миленькая, заговорила и во всем призналась».

Федор никогда не вступал с этим кривоплечим человеком в разговоры и сейчас лишь неопределенно пожал плечами.

— Наше наступление, кажется, задохнулось, не получилось. Большевики рвутся к Орлу, — произнес Валентик.

Федору хотелось сказать: «Это и дураку ясно, что к Орлу, а не от Орла», но не осмелился.

— Ничего, отгонят, — промолвил он.

— Да, отгонят, — вздохнул Валентик не согласнo, насмешливо, и Федор, чувствуя провокацию, промолчал.

— Чего же не опровергаешь? — спросил Валентик жестко.

— Вот что, хороший такой... — повернулся к нему Федор. — Пошел бы ты в...

И поднялся.

— О-о! — протянул Валентик даже удовлетворенно, тоже встал, положил тяжелую, как камень, руку ему на плечо, стал давить вниз.

Рука была тяжелой, но Федор чувствовал — не сильной. Валентик этому не только не прижать его к лавке, но даже не пошатнуть. И если бы сейчас развернуться и звездануть Валентика в грудь, она бы только хрястнула, сам бы он вмазался в стену и осел по ней на землю уже мертвый. И желание такое возникло у Федора, но он не сделал этого, покорно сел.

— Откуда же ты родом, Федор Силантьевич? — спросил Валентик таким тоном, будто ничего и не произошло.

— А откуда... куда тебя только что послал.

— Грубиян ты, — усмехнулся добродушно Валентик. — Невоспитанный человек. А я личное дело твое смотрел. Интересное...

Федор повернулся, полоснул его взглядом, но ничего пока не говорил.

— Путал ты, путал там... в своей автобиографии.

— Ничего не путал. Чего там запутанного?

— До войны... не в Шантаре ты жил? Деревня такая есть в Сибири.

В автобиографии, которую Федор составил еще в Пятигорске, давая подписку служить немцам, он ни словом не обмолвился о Шантаре, смешал правду с вымыслом. Зачем он это сделал — Федор ни тогда, ни сейчас объяснить не мог. О последствиях его измены для Анны, в случае чего, он не беспокоился, о детях даже не подумал. А вот взял да и насочинял черт-те что. Все это Федор помнил. И поэтому сейчас, при упоминании Шантары, невольно дернулся, вскочил. И только потом понял, что выдал себя с головой.

— Тебе что? — тяжело выдохнул он. — Какое дело?

— Сядь ты, — тихо попросил Валентик.

Грузовики, набитые солдатами, с ревом трогались с места один за другим. Из подвального этажа казармы выбежал Садовский, что-то сказал штандартенфюреру и юркнул обратно. «Если не прикончил, то сейчас прикончит Подкорытова», — машинально отметил Федор, лихорадочно размышляя — откуда же о Шантаре знает этот кривоплечий человек, откуда?

Грузовики с солдатами уехали — Лахновский, выходит, оказался прав: где-то за Шестоковым шел бой с партизанами, и вот потребовалось подкрепление. И это отметил Федор попутно и даже усмехнулся невесело: «Все, как змей, чует». Три взвода по двадцать пять человек в каждом еще с вечера были отправлены к месту выхода на связь с Метальниковым, три были брошены им на помощь, в Шестоково осталось теперь из всей «армии» Лахновского сорок девять человек, включая специальный взвод охраны, Федора, Валентика и самого Лахновского. Да еще немецкий гарнизон из пятнадцати солдат, Майснер, Кугель и человек двенадцать из штаба абвергруппы, если считать и шифровальщика, и радиста, и повара. Всего около восьмидесяти человек. Это тоже была сила немалая, способная защититься, если какая-то группа партизан, как предполагал Лахновский, вздумает напасть одновременно и на деревню.

Все это мелькало в мозгу Федора, не заслоня главной мысли: откуда же Валентик знает о Шантаре? Еще он подумал, глядя, как суетится на площади перед казармой Лахновский, выстраивая оставшихся солдат своей «армии», как пробежал куда-то толстобрюхий немецкий повар Отто, неумело держа обеими руками карабин, подумал, что выставленные на подступах к Шестокову секреты он сейчас ведь не проверил, а к ним, возможно, подбираются уже партизаны; может быть, постовые уже бесшумно сняты... Да нет, успокоил Федор самого себя, партизаны не могут снять постовых так легко: на всех тропях, на всех более или менее удобных и возможных участках подхода к Шестокову натянута тщательно замаскированная проволока, тронь любую — загремят подвешенные недалеко от постовых склянки и банки, разбудят их, если и задремали. Систему эту, не очень и хитроумную, но надежную, придумал сам Бергер. Бывало, что зверь какой-нибудь, лисица или волк натыкались на проволоку — и тотчас постовые принимали особые меры предосторожности, сообщали об этом в караульное помещение, которое находилось рядом с казармой в старом деревянном доме. Но такое случалось редко, зверье отсюда ушло. И кроме того, секреты нынче выставлены усиленные. И Валентик вот только что проверил все три поста на западной окраине. Хотя черт его знает, все может случиться, Федор сам когда-то был партизаном и понимал, что для людей, воюющих в тылу противника, нет ничего невозможного.

— Какое тебе дело, где я до войны жил?! — еще раз повторил Федор, усмехаясь.

— Из любопытства я, Савельев, из любопытства, — тоже усмехнулся Валентик. Говорил он вполголоса, отчего слова его приобретали зловещий оттенок. — Такая у меня профессия.

— У всех у нас теперь... профессия, — зло сказал Федор, согнулся, упер локти в колени и опустил голову.

— Ну, у меня она такая всегда была... с Алейниковым вашим даже вместе пришлось поработать. Не так давно было.

Несколько секунд после этих слов Федор еще находился в прежней согнутой позе, затем стал поднимать голову, медленно разогнулся.

Валентик глядел на Федора в упор, не мигая. В слабых отсветах начинающегося где-то утра зрочки его остро блестели.

— С каким... таким «нашим»? С каким еще Алейниковым?!

— С Яковом Николаевичем.

— Слушай, ты... — прорычал Федор яростно. — Чего тебе от меня надо? Чего?

— Он тут, неподалеку... Прифронтовой оперативной группой НКВД командует, — буд-то и не заметив ярости Федора, продолжал Валентик. И ухмыльнулся: — Я у него был начальником школы подрывников и разведчиков, пока... Лопух он, ваш Алейников.

— Ошибаешься, друг хороший! — неожиданно бросил Федор, как-то враз понявший, что терять ему нечего, что все давно потеряно и что в биографии своей он напутал и напетлял когда-то зря, напрасно, делать это было не к чему. — Ошибаешься! Он тебе еще загнет салазки!

— Осмелел?! — повысил голос Валентик. — Не рано ли?

Лахновский, проводив машины, нырнул в нижний этаж казармы, где пытали Подкорытова. На площади теперь никого не было. Керсиновый фонарь над входом в казарму тускло освещал небольшое пространство; пробивающийся сквозь тучи рассвет поглощал сумрак, разжигал и без того слабенький свет этого фонаря.

— Он тебе... обо мне рассказал? — спросил Федор угрюмо.

— Беседовали мы иногда, — неопределенно уронил Валентик.

По выработавшейся издавна привычке он старался не говорить больше того, чем требовалось в определенной ситуации, ничего не разъяснять и не болтать, понимая, что лишнее слово, лишняя информация могут обернуться рано или поздно нежелательно для кого-то, в том числе и для него самого. Сколько раз он жестоко убеждался в этом. Тогда, у железнодорожного переезда, не пойдя он с немцами, не поболтай так беспечно с ними о пустяках — не услышала бы его, не обратила внимания, а значит, не узнала бы потом его эта проклятая Ольга Королева, разведчица Алейникова, и все было бы в порядке. Он мог остаться в спецгруппе Алейникова, делал бы свое дело, которое высоко ценил Бергер. Не для Бергера, не для паршивой этой Германии старался, как и Лахновский, Алексей Валентик. Но Лахновский уже трухлявый пень, для чего ему жизнь? А он, Алексей Валентик, еще поживет! Жизнь еще может распахнуться ему во всю ширь. Только надо быть осторожным и предусмотрительным.

— И чего же он такого про меня тебе наговорил? — спросил Федор, зло растерев жесткой подошвой немецкого сапога окурки. — Какие сказки?

— В гражданскую войну партизанил ты, говорил, отчаянно.

Промолвив это, Валентик опять стал смотреть на Федора в упор с презрением, пронизывая холодными зрачками насквозь, точно Лахнов-

ский своей тростью. И Федор с тоскливой обреченностью подумал, что спасения от этого человека нет и не будет, что Лахновский со своей тростью, кажется, просто щенок против Валентика. Только что Федор был равнодушен ко всему на свете, в том числе и к собственной смерти, с облегчением даже ждал ее, а теперь вдруг в затылке и висках похолодело, в сознании уныло заворочалось, заскребло, больно отдавая во всей голове: неужели смерть? Неужели смерть — и все потухнет? Все останется здесь: земля, травы, эти вот серые предутренние облака, Анфиска... Вот эта фляжка со спиртом останется, кто-то, живой и невредимый, будет из нее пить, а его, Федора, не будет! Его не станет — раз и навсегда. Он сгинет, а на земле, над его прахом будет светить солнце и плескаться звездное море, будут греметь грозы и мести снежные метели.

— Зачем, сволочь, я тебе понадобился? Зачем?! — прохрипел он.

— Не знаю... Да и не нужен ты мне пока. Потом, может быть... — вяло проговорил Валентик.

— Когда — потом? Что — потом? — вскрикнул Федор.

— Не знаю, — еще раз протянул Валентик и вздохнул. И продолжал так же тихо и раздумчиво, будто не замечал теперь возбужденного состояния Федора: — Советские войска снова приближаются. Под Харьковом тоже черт-те что творится. Да и вообще, судя по всему... Даже этот подонок Лахновский считает, что Сталинград — только цветочки... Заметался, как крыса, почуявшая беду.

Валентик неожиданно дернулся, в одну секунду преобразился и, схватив Федора за плечи, остервенело затряс его.

— Ты понимаешь?! Понимаешь?! Видел, как мечутся крысы в огне?! Ну не-ет... Я не замечусь. Я буду драться до последнего! До последнего! Как свирепый пес! Как дикий зверь!

В утреннем полумраке глаза Валентика горели действительно каким-то звериным, зеленоватым огнем.

— Отцепись... ты! — прокричал Федору в лицо, стараясь сбросить его руки со своих плеч. — Не Лахновский, а ты... полные штаны уж наклал.

Когда Федор оттолкнул от себя Валентика, тот опять же мгновенно успокоился и прежним голосом проговорил:

— Я — нет. Но такие люди, как ты, Федор Силантьевич, скоро мне понадобятся... Ну, пойдем, что ли, снова посты проверим.

Говоря это, он устало приподнялся. И в это время где-то на южной стороне Шестокова

серое утреннее небо прочертили две ракеты. Валентик резко крутанулся, будто его ударили током, и замер: вслед за зелеными ракетами взвилась одна красная, тишину глухо прострочила длинная и далекая автоматная очередь — затем впереводку застучали короткие. На вышке, устроенной на крыше казармы, заглушая стрельбу, взвывала сирена, из подвала пульей выскочил Лахновский, на мгновение остановился как вкопанный. Из казармы начали выбегать солдаты. Командиры двух оставшихся в Шестокове взводов, Кривопятко и Поляков, вытянулись перед Лахновским, но тот молчал, точно лишился языка. Валентик тоже бросился к Лахновскому, а Федор продолжал сидеть, прислонившись спиной к стене, будто суматоха его не касалась. Кривопятко и Поляков, оба из уголовников, неразлучные «корешки», освобожденные из какой-то тюрьмы, считались особо надежными людьми, потому Лахновский всячески благоволил им, в дело пускал в последнюю очередь или в особо важных случаях.

Наконец сирена перестала реветь. На площади перед казармой, залитой теперь синим предутренним сумраком, опять появились долговязый Майснер и неповоротливый Кугель. «И для вас ночка ныне выпала!» — злорадно усмехнулся Федор. Мелькнул выскочивший из подвала Садовский, исчез в толпе.

И вдруг Федор с удивлением отметил: никаких автоматных очередей не было слышно. Но едва подумал об этом, где-то за спиной, казалось, сразу же за казармой, воздух вспороли беспорядочные выстрелы. «Ага, это уже с севера. Значит, с двух сторон партизаны ударили», — отметил Федор.

Лахновский наконец очнулся от столбняка, отдал какие-то приказания. Люди, сгрудившиеся в беспорядке на площади, прижимая к животам автоматы, побежали в разные стороны, площадь быстро пустела. Исчезли и Кугель, и Майснер, и Валентик. Перед казармой остались лишь Лахновский да несколько человек из его, Федора, взвода охраны, отдохавшие до заступления на посты.

— Где ваш командир? Где лейтенант Савельев? — дергая головой, кричал на них Лахновский.

— Я здесь, — подал голос Федор.

— Ты — здесь?! — взревел Лахновский и ринулся к нему. В это время воздух сотрясли совсем уже недалекие гранатные разрывы. Лахновский на мгновение остановился, глянул почему-то не вправо, где за домами на окраине шел бой, а на небо. Затем кивнул на открытую дверь пустой казармы: — За мной, живо!

Федор, знаком приказав своим подчиненным оставаться на месте, шагнул вслед за Лахновским.

В пустой казарме, как всегда, пахло чем-то едким и вонючим. Федор никогда не мог определить чем. Видимо, это был смешанный запах табачного дыма, водки, грязи и человеческого пота. Лахновский сел за длинный засаленный дощатый стол, за которым солдаты его «армии» пьянствовали, играли в кости и карты, положил на стол худые, высохшие ладони. Пальцы его, похожие на скрюченные и засохшие фасолевые стручки, дрожали, и он убрал руки со стола. А затем и вообще встал, резко, торопливо. Лахновский был смят, раздавлен охватившим его страхом и никак не мог скрыть этого.

— Вот так, Федор... э-э... Силантьевич, — заговорил он и, чтобы как-то унять волнение, полез за табакеркой. Тяжелая серебряная коробочка не раскрывалась, не было уже у него для этого, видимо, сил, он, охваченный великим отчаянием, швырнул вдруг табакерку куда-то под деревянные нары, заваленные вонючим тряпьем. — К черту! Слушай меня, как на духу... Партизаны нас перехитрили, я это сейчас понял окончательно... Почти всех солдат выманили туда... — он боднул головой в светлое все больше окно. — Дорогу назад заткнули, как пробкой. И какой-то частью своих сил ударили на Шестоково. С двух сторон. Может, с третьей ударят. Они знают, сколько у нас солдат. Метальников, Подкорытов... И черт его знает, кто у них тут! Все знают! Все рассчитали. Это конец, Савельев...

Лахновский подергал головой, сел на табурет, поставил трость между ног, сложил на нее ладони, стал слушать автоматные очереди и гранатные разрывы, которые доносились все отчетливее. В такой позе Федор видел Лахновского часто.

— Нет, кажется, с двух сторон они ударили — с севера и с юга... Но это не важно... Все равно через несколько минут они будут здесь, — проговорил Лахновский. И как-то странно спросил: — Хочешь погибнуть?

Спросил, будто рюмку водки предложил.

— Зачем... — пошевелил Федор бледными и сухими губами.

— Вот-вот, это я давно заметил... хоть и хорохорился ты одно время. Когда с Леокадией тебя застал, помнишь? Что, думаю, такое с Федором? Это меня и остановило.

— Смерти каждый боится, — сказал Федор протестующе, чтобы в чем-то оправдать себя.

— Ладно. Время зря теряем, — вскочил Лахновский. — Пошли к речке, на запад. В случае чего твои ребята прикроют, задержат их. А ты меня береги. Убережешь, вырвемся — не оставлю в беде. Со мной не пропадешь, Савельев... Я что-нибудь придумаю. Документы какие, если хочешь, — и обратнo, к своим.

Лахновский говорил торопливо, проглатывая слова. Руки его дрожали, глаза, губы тоже дрожали, с губ летели в лицо Федору мелкие капельки слюны, он брезгливо морщился, но понимал отчетливо все то, что говорил Лахновский, ясно сознавая, что говорит он ложь, что он, Федор, пропадет теперь, хоть с Лахновским, хоть без Лахновского, кроме того, Лахновский, конечно, обманет, но выбирать ему не из чего, он давно уже пропал, собственно. И все-таки в каком-то краю сознания жила упрямо надежда на что-то, непонятно даже на что. И он прервал его грубо, раздраженно:

— Ладно... Все мне ясно. Каждая секунда дорога. Пошли!

Лахновский покорно повернулся, шагнул из помещения.

Утро разгорелось росное и парное.

Грозивший ночью дождь так и не пошел, начавшийся было ветерок утих, вместе с проблесками нового дня откуда-то накатился не поутреннему теплый воздух, листья и травы вспотели, на низких местах, в лощинах, закурились туманы, задымила речушка, обтекавшая Шестоково с запада. Речушка была тихая и мелкая, в самых глубоких местах по колено, но она безмолвно текла в этих краях много веков и за долгую свою жизнь промыла широко и глубокое русло. По длинным отлогим склонам ее берегов росли древние редкие сосны, земля под ними покрылась густым разнотравьем. «Трава, — уныло думал Федор, — до войны, конечно, выкашивалась шестоковскими мужиками, а теперь второй вон или третий год стоит некошенная, пропадает зря». И вообще эта речонка чем-то напоминала ему Громотушку, хотя не была похожа на нее ни нравом, ни обликом, сердце больно и противно защемило, еще больше стал ему противен Лахновский, торопливо хромающий впереди. Полы его пальто от росы намокли, отяжелели, он по-бабьи задрал их, держа в кулаке, а другой рукой на ходу часто тыкал в землю тростью. Сапоги были облеплены травяными метелками, всяким мусором, грудь его с хрипом вздымалась, по дряблым, разопревшим щечкам ручьями тек пот.

Они быстро уходили вдоль этой речушки, метрах в трехстах нырявшей в темный зев леса, — впереди Лахновский, за ним Федор, а затем кучей двигались полторы дюжины солдат из взвода Федора. Справа и слева, где-то совсем недалеко, влажный воздух пропарывали автоматные очереди, Лахновский из стороны в сторону испуганно мотал распаренным лицом и хрипел: «А, черт... Проклятье!» —

и, все сильнее припадая на раненую ногу, старался идти быстро.

Партизан они увидели неожиданно, слева от себя, за речушкой. Вынырнув из леса, партизаны, стреляя на ходу, бежали к ним по отлогому косоугору. Было партизан, кажется, немало, всего несколько человек, но кто мог сказать, сколько их еще в лесу.

— Савельев... слева! Не видишь? — прохрипел Лахновский, не останавливаясь.

— Безбаев, Кикин, Стручков! Вот ты и ты! — ткнул Федор дулом немецкого автомата еще в двоих. — Остановить партизан! Не пускать за речку!

— Слушаемся! — ответил толстый, краснолицый Безбаев, злой и безжалостный человек, добровольно сдавшийся в плен в первый же день войны где-то в Белоруссии. — Айда все за мной! За речка!

Разбрызгивая воду, эти пятеро кинулись через речушку на противоположный берег, причем один из них, едва достигнув его, был убит. Оглянувшись, Федор увидел, как его солдат, уже, видимо, мертвый, столбом стоял на травянистом берегу и повалился назад, в реку, с сильным всплеском упал в нее спиной. «Счастливчик», — мелькнуло у Федора в мозгу. И в это мгновение он опять услышал:

— Федор! Савельев, черт...

Лахновский, широко разевая рот и жадно втягивая черной дырой воздух, тыкал рукой вправо и чуть вперед. Там по склону косоугора тоже росли редкие деревья, между ними, перебегая от ствола к стволу и отстреливаясь, мелькали какие-то люди. Но это были не партизаны: огрызаясь автоматными очередями, какая-то группа шестоковского гарнизона пятилась к речушке. Партизан там еще не было видно.

— Савельев, надо помочь им, надо помочь! — прохрипел Лахновский. — Займите же оборону! И быстрее, черт возьми...

Федор понял, что значит это «и быстрее, черт возьми...». Партизаны, наступавшие справа, могли отрезать их от густого леса впереди, который все еще был метрах в двухстах. Лахновский, теряя от быстрой ходьбы последние силы, хотел во что бы то ни стало остановить партизан, во всяком случае задержать их, чтобы успеть проскочить к лесу.

— Харченко! Возьми с собой четырех человек! — И Федор мотнул автоматом в сторону. — Давай, живо!

Харченко, молчаливый и старательный мужик, не спеша выбрал себе четырех человек, перекрестился и трусцой побегал вперед, забирая вправо, навстречу все усиливающемуся автоматному огню. Очереди хлестали слева, где ранее посланные Савельевым пытались за-

держат наседающих партизан, трещали справа, куда побежал во главе небольшой группы Харченко, свистели над головами Савельева и Лахновского, никого пока не задев.

— Сколько же... Сколько же с нами осталось? — вырвалось из черного рта Лахновского. Говоря это, он чуть повернулся на ходу к Федору.

— Сколько? Считай! Восемь... Со мной да с тобой десять человек.

— Ага, скорей... Силантьич! Сил нет, кончатся... — Он дышал, как загнанная лошадь. — Если упаду, не бросай, прикажи этим — подсобить мне! Они молодые... Нам только бы до леса! До леса...

Говоря это, Лахновский, за ним Савельев и восемь человек из его взвода обогнули невысокий курганчик, густо поросший кустами. И здесь, справа от себя, увидели несколько человек, скатывающихся по косогору к берегу. Они посылали короткие очереди, группами по два-три человека сбегали немного вниз, падали в траву, стреляли, прикрывая от наседающих партизан следующих двух-трех солдат. Несколько человек лежали уже на самом берегу, остервенело паля куда-то вверх.

— Да сколько... сколько же их там, проклятых! — проскулил тоскливо и обреченно Лахновский, прибавляя ходу.

В это время сверху к лежащим на берегу скатился еще один, бросил разъяренный взгляд на Лахновского, упал в траву, прицеливаясь из автомата. Лахновский, узнав Валентика, невольно остановился, скорее, может, за тем, чтобы передохнуть. И задал тот же вопрос:

— Сколько... Сколько их?

— Неизвестно. — Валентик приподнялся, лицо его было грязным и потным, рукава немецкого, как у Федора, мундира засучены, оголенные руки мокрые, в грязных потеках, на ремне болтались две длинные немецкие гранаты. — Неизвестно...

Потом он, не остерегаясь пуль, разогнулся в полный рост, закричал на людей, сопровождающих Лахновского:

— А вы что? Не видите... — он кивнул в сторону отступающих. — Савельев, приказывай своим! Или отдай их мне!

— Не ори, прикажу, — сказал Федор, не спеша огляделся, увидел сбегающего с косогора Харченко. — Я тебе сколько мог послал на помощь. А этим, когда надо, тогда и прикажу.

Кругом стоял непрерывный автоматный треск, голосов почти не было слышно. Валентик выдохнул прямо в лицо Лахновскому:

— Шкуру спасаешь, господин штандартенфюрер? Сволочь...

— Послушайте... Не смей! — взвизгнул Лахновский, дернув из земли по привычке трость.

— А я вырву твою шпагу вот... — нешуточно прохрипел Валентик. — Шашлыки я тоже умею нанизывать.

— Господи, зачем... так? — крутя головой и после каждого слова глотая воздух, проговорил Лахновский. — Берите всех! Пусть прикроют... И отступают все туда... к лесу. Организованно. Иначе всем... Командуйте!

— Вы — полковник, — едко усмехнулся Валентик, ладонью размазывая грязь по лицу. — Вы и командуйте!

— Ах, бросьте, — отмахнулся Лахновский. — Савельев!

И ни на что больше не обращая внимания, прикрываясь росшими вдоль берега кустами, побежал к лесу.

Лахновский бежал, мелко семеня ногами, опять шумно, с хрипом дыша. Федор шагал крупно, совсем не торопясь, но поспевая за Лахновским. Они шли теперь по берегу речушки вдвоем. Сзади что-то кричал, командует, Валентик, трещали автоматные очереди. Стрельба то прекращалась, то поднималась вспухнувшей волной. Но Федору все это было как-то безразлично. Все, что происходило только что в Шестокове, а потом здесь, в пойме этой небольшой речушки, его словно не касалось. Впервые увидев на левом берегу замелькавших меж деревьев партизан, Федор не испугался и даже не удивился этому. И потом, поглядывая то влево, то вправо, откуда тоже появились партизаны и погнались к реке Валентика с кучкой солдат «армии» Лахновского, он как бы не воспринимал всерьез, что идет смертельный бой, все думал и думал почему-то, что высокую, давно не кошенную траву по берегам речушки и нынче никто не выкосит, сейчас ее истопчут, всю перепутают. А жалко, хорошая трава.

Сзади стрельба и крики не отдалялись, ползли следом за ним и Лахновским. Значит, Валентик, огрызаясь, отступал со своими солдатами к лесу «организованно», как просил Лахновский. Но и это Федору было безразлично. Вот и темная стена деревьев почти рядом, видимо, они все-таки выскользнут теперь живыми и невредимыми из лап смерти, а за чем? Что впереди-то?

Автомат, из которого Федор сегодня не сделал ни единого выстрела, тяжело болтался на шее. Савельев снял его, накинуд ремень на плечо, автомат бросил за спину. Равнодушно прислушиваясь к очередям за спиной, достал опять фляжку со спиртом, глотнул на ходу. Пряча ее в карман, подумал: «Валентик этот — что за тип такой? Про Алейникова

Якова знает... И про меня, сволочь. Значит, не врет про Яшку...»

И в этот момент из леса навстречу им загрещали выстрелы, почему-то одиночные.

— Проклятье! — воскликнул Лахновский, схватился за плечо, пошел этим плечом вперед все быстрее и быстрее, пригибаясь при этом все ниже и ниже, и наконец, взмахнув тростью, упал в траву, застонал: — Я ранен! Савельев, я ранен...

Федор, сдернув с плеча автомат, тоже упал в траву. Меж густых деревьев впереди совсем близко мелькнули две или три фигуры. Федор полоснул по ним.

— Я ранен, помоги мне...

— Не скули! — это проговорил уже Валентик, подбежавший сзади и ткнувшийся на землю между Федором и Лахновским. — Кажется, крышка.

Теперь стрельба шла со всех сторон и не одиночными выстрелами — очередями. Федор тоже стрелял неизвестно куда — просто в ту сторону, где впервые увидел людей за деревьями. Стрелял и Валентик, по-собачьи оскалив зубы. Потом приподнял голову, покрутил ею, осматриваясь.

— Савельев... Там, слева, овражек вроде какой-то. Давай за мной. Может быть, еще повезет... Только бы до леса добраться!

— А если я не хочу?

— Ну — пропадай, — усмехнулся Валентик. — Ты видишь — они со всех сторон. Сейчас сомнут!

И он, плотно, как змея, прижимаясь к земле, пополз в сторону. Федор, помедлив немного, пополз следом.

— А я, а я?! — захрипел Лахновский и, царапая одной рукой землю, тоже попытался ползти. — Савельев, не бросай меня! Расстреляю подлеца!

Эта угроза была здесь смешной, но Федор подождал, пока Лахновский доскребся до него. Потом подхватил его под мышки и, упираясь носками сапог в мягкую, затравеневшую землю, пополз дальше, волоча стонущего Лахновского. Левое плечо его было окровавлено, но не сильно, кровь уже перестала течь.

Овражек был недалеко, Федор и Лахновский кулями свалились в него. И уже на дне Лахновский, закусив от боли иссохшие свои губы, простонал:

— Нельзя было осторожнее?!

Там, на поляне перед лесом, яростно шел бой, кажется, приближаясь сюда, к овражку.

— Теряем время! — прохрипел Валентик, поджидавший их уже здесь. — Пошли! Быстро!

— Одну минуту! Ужасная боль! — умоляюще попросил Лахновский. Старческое лицо его действительно было искажено от страда-

ний, вдоль морщин катились крупные капли пота. — Сейчас она должна пройти. Одну минуту...

— Это слишком долго, господин штандартенфюрер, — сквозь зубы выдавил Валентик. — А у меня есть мгновенное средство.

Говоря это, Валентик лягнул затвором автомата, направил его в сторону Лахновского. У того мгновенно выпучились глаза, отвалилась челюсть. Забыв про боль, он, опираясь на здоровую руку, мотнулся, стремительно пополз задом к отвесной стене овражка. Прижавшись к ней спиной, обрел наконец речь, закричал, выставляя вперед свою трость, которую он все-таки не выронил, когда Федор волок его в овраг, и которой словно хотел теперь прикрыться.

— Вы... что?! Капитан... Савельев, он меня убьет! Савельев!

Валентик, опять оскалив зубы, как недавно, нажал на спуск, с какой-то яростью прошил короткой очередью хилую грудь Лахновского. Глаза его, по-прежнему широко открытые, вздернулись кверху, в небо, трость выпала из руки. А еще через секунду его тело с куском земли, отставшей от края овражка, упало на дно его.

Все произошло в несколько секунд, Федор не успел Валентика помешать, да, кажется, и не хотел мешать, несмотря на умоляющий вопль Лахновского. Теперь же он спросил:

— Зачем ты это сделал?

— На всякий случай. — И Валентик с усмешкой кивнул наверх. — Живьем попался бы если... А это ни к чему. Слишком много знал. Да и вообще... бесполезен теперь. Пошли!

Овражек был молодой еще и неглубокий, метра в полтора. Валентик и Федор, скрючившись, побежали в ту сторону, где в утреннем, все более светлеющем небе торчали вершушки сосен.

С каждым шагом овражек все более мелел, а вскоре кончился, всего в нескольких десятках метров от спасительного леса. Выскочив из него, Валентик и Федор, как звери, огляделись и увидели картину, для себя малоутешительную. По всей опушке торчали черные старые пни, за каждым почти укрывались партизаны, поливая огнем залежных в траве, на голом месте, солдат шестоковского гарнизона. Те заняли круговую оборону, потому что сзади напирала та группа партизан, которая выгнала самого Валентика с его людьми к речке.

Видя, что овражек предательски вывел их в самое пекло, Валентик лишь глухо простонал и, опять пригнувшись, хотя это теперь было бесполезно, кинулся вправо, где лес был ближе всего.

— Товарищ майор! Валентик! Валентик!! — прорезался сквозь автоматную трескотню пронзительно-истощный женский голос, и Федор, бежавший следом за Валентиком, подумал: «Он же не майор, а капитан». Но в следующую секунду сообразил, что это кричат не Валентика, а кому-то другому, крутанул головой в ту сторону, откуда, как ему показалось, донесся голос, и увидел девочку лет восемнадцати — двадцати. Она была в штанах, голова туго замотана платком. Стоя на коленях возле пня и поставив на него локоть, она раз за разом стреляла из черного пистолета в Валентика. «Ах ты сучка!» — почему-то именно на эту девочку взъярился Федор, остановился, приподнял автомат и дал по ней очередь. Он видел, как от пня полетели щепки и пошла пыль — пень был гнилой, видел, как из рук девочки вылетел пистолет, сама она опрокинулась на бок, покатилась в сторону, но тут же вскочила на четвереньки, затем во весь рост, побежала куда-то... «Надо же, в пистолет попал, а не в нее!» — с удивлением отметил Федор, чувствуя одновременно облегчение от того, что не убил девочку.

Пока он стрелял в нее, а потом наблюдал, как она упала, вскочила и побежала, прошли всего какие-то секунды. Но за эти мгновения Валентик почти достиг леса — он, по-прежнему пригнувшись, бежал к нему крупными скачками, а сбоку палил в него короткими очередями, вскидывая автомат на ходу, какой-то партизан в расстегнутом ватнике, в армейской пилотке и после каждой очереди кричал:

— Стой! Стой, сволочь! Не уйдешь! Теперь не уйдешь!

Голос, искаженный яростью, все равно был знакомым, страшно знакомым, но Федор не узнавал его, а лица на бегу разглядеть не мог. Он только заметил на этом человеке синие офицерские брюки и сапоги и, догнав Валентика, подумал, что это и есть тот майор, которому только что кричала девочка, и даже не удивился, откуда среди местных партизан офицер Красной Армии, не было для этого времени. Федор преодолел пространство, отделяющее его от Валентика, быстро, ни одна из сотен пуль, свистевших вокруг, не задела его. Зато этот майор, опять полоснув из автомата, достал-таки Валентика, пуля вскользь задела его шею, из нее струей брызнула кровь.

— А-а, черт! — простонал Валентик, схватившись за шею. Кровь потекла у него между пальцев. — Стреляй же, идиот!

Это Валентик приказывал ему, Федору. И Савельев, прячась за деревом, послушно начал поливать огнем пространство перед собой, не видя даже, есть ли перед ним партизаны.

Партизаны перед ними, видимо, были, потому что Валентик (Федор видел его краем глаза) отстегнул от ремня окровавленными пальцами обе гранаты, чуть помедлил и бросил их одну за другой. Взрывы раздались не громкие, но земли и пыли поднялось в воздух много. Стрельба на какое-то мгновение заглохла, и Федор расслышал, как та девочка, у которой он выбил пистолет, прокричала:

— Товарищ майор! Шестоково, кажется, горит!

— Вижу, Оля! — донесся знакомый голос майора. — Ах, черт, надо скорее туда... Логунов! Живьем их взять, предателей! Ты, Королева, со мной, не отставай! Логунов, ты понял? По возможности — живьем!

— Ну, это еще как получится! — прохрипел Валентик. Он и Федор не стали ждать, пока рассеется пыль от гранатных разрывов, оттолкнулись от деревьев, за которыми укрывались от осколков, и, путаясь в крепкой лесной траве ногами, побежали меж деревьев. — Это Королева привела их в Шестоково...

— Кого — их? — спросил на бегу Федор.

— Ты что, совсем мозги пропил? По голосу не узнал? Это же Алейников в меня стрелял... Я ж тебе говорил — здесь он, недалеко.

Савельев, будто наткнувшись на одно из деревьев, остановился посередине небольшой прогалины. «Алейников... действительно его голос!»

Сердце Федора часто и гулко стучало, но не от быстрого бега, не от усталости. «Его! Его, его...»

Валентик, пробежав еще несколько шагов, остановился.

— Ты что?! — повернулся он к Федору. Кровь из его шеи все еще сочилась, стекая на правое, вздернутое кверху плечо. — Ты что? Сдаться хочешь?

Где-то неподалеку потрескивали редкие теперь выстрелы. Там, на опушке, добивали, кажется, последних подчиненных Федора и Валентика. Но это не имело теперь для Федора никакого значения. Никакого значения не имели ни окровавленная шея, ни плечо Валентика, ни его голос. А вот слова имели. Слова имели: «Алейников... Алейников!»

— Нет, мне нельзя сдаваться... — сказал он.

Но потрясение, которое испытал Федор Силантьевич Савельев при имени Алейникова, было сегодня не последним. Буквально через несколько минут ему предстояло еще одно, самое тяжелое и страшное, которым и закончится на сорок восьмом году существования его жизнь, здесь, в лесу, под старинным русским городом Орлом, — жизнь нелегкая, путаная, не нужная ни ему самому, ни жене его

Анне, ни детям, ни земле, на которой он родился. А пока еще по жилам его текла теплая, как у всех людей, кровь, он стоял, не обращая внимания на затихающие неподалеку выстрелы, на свирепую и нетерпеливо дышащего Валентика, на восходящее где-то за деревьями древнее и вечно молодое, щедрое солнце.

— Мне нельзя сдаваться, — тупо повторил Федор. — Потому что я... идиот, как ты сказал... Да я и без тебя это знаю, без тебя...

Он не договорил. Утренний, пронизанный первыми лучами солнца воздух громко и безжалостно распорол злая автоматная очередь. Федор поднял глаза, увидел, как трясется автомат в руках Валентика. Отстреливаясь от кого-то длинными очередями, он пятился мимо деревьев в синюю лесную глубь. Савельев поглядел, куда он стрелял, увидел меж стволов мелькающих партизан. «А-а, это тот, Логунов какой-то. Который хочет... которому Алейников приказал нас... меня — живьем!»

— А-а-а! — заорал Федор уже во весь голос, не снимая ремня с шеи, вскинул автомат и остервенело начал поливать огнем приближающихся к нему партизан. Много было их или мало, он не знал и не думал об этом, он видел только их меж деревьев и на поляне. В голову ему хлестала, опьяняя, жгучая и едкая струя. — Живьем, сволочи? Живьем?! А-а-а...

Двоих или троих, выскочивших на прогалину, Федор срезал сразу, остальные скрылись за деревьями. Это распалило его еще больше. Мгновенно сменив опустевший патронный рожок и заметив все же в это время, что Валентик, отстреливаясь, уходит в лес все дальше, он, топчась, как зверь на полусогнутых ногах, опять начал хлестать очередями. В него тоже, как жет, стреляли, но не попадали.

— И не попадете! Стрелки, мать вашу... — орал он, пятясь все ж к деревьям. — Живьем захотели? Не возьмете!

Кончился и этот рожок. Федор выдернул из-за ремня следующий. И в это время очередь ударила ему по ногам. Федор даже видел стрелявшего. Пока он вырывал из автомата пустой рожок и выдергивал из-за ремня свежий, из травы поднялся не очень высокий сутулый человек в дождевике, прицелился в него из тупорылого автомата и полоснул. Сильной боли он не почувствовал, но обе ноги сразу будто переломились, как пруттики, Федор упал на колени и застонал еще яростнее. То ли от этой злости, то ли от сознания, что его все же подстрелили, глаза ему застлал белый, плотный туман. Но сквозь эту белую пелену он увидел, что выпустивший по нему автоматную очередь человек, нисколько не остерегаясь, во весь рост стал приближаться к нему.

— Сейчас ты согнешься! — Счас... — прохрипел Федор. Левой рукой он держал теперь в нужном положении автомат, а правой вставил в него рожок.

Потом происходило странное и непонятное для Федора. Он, стоя на коленях, палил и палил в этого партизана, только в этого, все крича: «Живьем не возьмете, сволочи! Не возьмете!» — а тот приближался и приближался в тумане, как призрак. Федор бил почти в упор, с каких-то десяти — пятнадцати метров, промахнуться было невозможно. А человек шел и шел на него из тумана, невредимый, словно заговоренный... И наконец в полной тишине, которую не нарушали трещащие где-то выстрелы, голосом брата Ивана сказал:

— Почему же, Федор? Возьмем.

Да, этот человек, этот партизан в дождевике, был Ванька. Федор узнал брата на несколько мгновений раньше. Федор остервенело стрелял в него. Но он шел, приближаясь, сквозь белую муть все отчетливее обрисовывались его черты — нос, усы, подбородок... Оружие в руках Федора захлебнулось было, Федор вздрогнул, но сказал себе: «Не может быть! Откуда ему...» И продолжал строчить какое-то время, пока ладонь, сжимавшая рукоятку, не вспотела, а палец не соскользнул с удобного в немецком автомате спускового крючка.

— Ты?! Ты... Ванька?

Это Федор произнес спустя значительное время после того, как Иван, стоя уже вплотную к нему, сказал: «Почему же, Федор? Возьмем». До этого Федор не мог владеть языком, он словно примерз, прикипел к зубам, да и все внутри стало в миг окаменелым, нечувствительным, лишь работал слух да в порядке было зрение: Федор видел, как мимо пробежали несколько партизан, а один из них, сдернув с его шеи автомат, нагнулся, вынул из кобуры парабеллум, быстро и ловко проверил, нет ли у него еще какого оружия, распорядился: «Сдашь его Алейникову».

— Я вот... Федор, — виновато ответил Иван.

— И ты меня пристрелишь... Убьешь?

— Да. Я это сделаю... — сказал Иван, младший брат его, кивнул на распластанные неподалеку в траве, мягкой и зеленой, трупы партизан. — Ты же... И не только этих. Ты много убивал, а?

— Это — было, — сказал Федор, стер рукавом обильно проступающий пот со лба и с грязных щек. — Убивал я...

Несильный ветерок дул с той стороны, куда, отстреливаясь, скрылся Валентик, а за ним партизаны, раздувал мягкие белые волосы Ивана. Он сидел на земле под деревом, к са-

мому лицу подтянув колени, склонив на них голову. А напротив него, под другой сосной, прижавшись к ней спиной и вытянув простреленные, беспомощные ноги, сидел Федор. Иван сам подтащил его сюда и усадил. Тогда еще справа и слева, где-то далеко и с каждой минутой все дальше, потрескивали автоматные очереди, а затем все заглохло. Неведомое Ивану Шестокое было, конечно, взято, он в этом нисколько не сомневался. Алейников, наверное, давно вычистил все столы и сейф абвер-группы, ради чего он и пришел сюда, ради чего погибли вот эти лежащие в траве молодые парни и мужчины и еще, конечно, многие, вот так же лежащие сейчас где-то. Свершилось страшное и обычное на войне дело. И еще будет долго совершаться, долго будут падать на землю здоровые и сильные люди и никогда с нее уже не поднимутся, не вернуться в свои села и города, а их все равно будут там ждать, как ждет Ивана в Михайловке жена Агата, сын Володька и дочь Дашутка, как ждет Панкрат Назаров, Кружилин и все, кто его знает и помнит. Но когда люди падают от вражеских пуль — это одно, а если их скосил из немецкого автомата русский же — это совсем другое. И это чудовищное и невероятное случилось на глазах Ивана, он сам это видел, к тому же сделал это его родной брат, и потому, встав во весь рост, он пошел на Федора, уверенный почему-то, что уж в него-то он стрелять не посмеет. Но тот, стоя на коленях, палил очередями и в него, пули с горячим визгом свистели вокруг и вспарывали землю под ногами. А Иван все шел, думая в те секунды даже не о Федоре и не о возможной смерти от его руки, а о том, что идет он вот так под пулями своих же не впервые, это было не раз. Более того, это продолжалось всю его жизнь. И сейчас, сидя под деревом напротив брата, которого должен убить, он мучительно думал, что и такое, кажется, было когда-то с ним, но когда и где — вспомнить не мог. Может, потому, что где-то в темной и далекой глубине сознания все жила, непрерывно всплывала тревожная мысль: долго он сидеть так с Федором не может, ведь Оля Королева привела их к немцам в тыл, кругом тут враги — немцы, фашисты, которым служил его родной брат Федька!

— Как же... как ты у них оказался? У немцев? — не поднимая головы, спросил Иван чужим, рвущимся голосом.

— А ты... как тогда в бандитах, в отряде Кафтанова оказался? — попробовал окрыситься Федор.

— Дурак. Это было совсем другое. Этого в двух словах не объяснить.

— Вот... — усмехнулся Федор, глядя на

лежащий в траве у ног Ивана короткоствольный советский автомат. — И мне не объяснить.

— Вре-ешь!

Федор, опираясь сильными руками в землю, еще плотнее прижался спиной к дереву, отвернул голову и стал глядеть тоскливо в синюю глубину леса, над которым поднималось утреннее солнце.

Подрагивающей рукой он обтер мокрое лицо. Вынул немецкую вонючую сигарету, немецкую зажигалку, прикурил, пряча огонь в ладонях. Прикуривая, думал: последняя...

Горький сигаретный дым будто успокоил его, мысли потекли ровные, как-то не волнуя теперь, вызывая лишь глубоко внутри едкую усмешку. Да, не любил он Советскую власть. И всех, кто за нее боролся, кто принял эту власть, не любил. Жил как-то — куда же денешься? Трех детей наплодил, чужих ему и не нужных. И Анна, мать этих детей, единственная дочь Кафтанова, была ему не нужна после смерти ее отца. К тому же, сучка, пороченная оказалась. Партизанка! Так и не призналась, кто и когда ее заломил. Да черт с ней! Единственная душа на свете, чем-то ему близкая, — это Анфиска. Чем — непонятно. Может, тем, что больно уж сладко стонала, стерва, когда под себя подминал ее. Где-то она сейчас, как живет там... в том мире, куда уж нет ему пути? Нет — и не надо! Жаль только, что Анфиска там осталась, в той жизни, которую он ненавидел. «Вре-ешь!» Ну, правильно, объяснить нетрудно, наверное, почему он у немцев оказался. И все-таки не просто. Ненавидя ту жизнь, жил бы в ней, наверное, и дальше, после войны, если бы остался жив. Он не глуп, нутром чувал, что немцам русских не одолеть. Рано или поздно их сомнут и выпрут вон. И никогда никому русских не одолеть. Но тут этот страшный ров под городом Пятигорском... Когда немцы стали срывать с него, как и с других пленных, одежду, прикладами автоматов и карабинов толкать к яме, впервые в мозгу Федора прорезалось: «Одолеют или нет, а меня ведь больше не будет! Не будет!»

А затем, чувствуя черный мрак небытия, который еще секунда и навалится на него, стал думать совершенно противоположное: «Нет, одолеют! Вон какая силища! Но это и хорошо, коли одолеют! И в той жизни можно будет найти место. Земля большая, тайга густая — и как еще можно пожить! Кафтанов бы, Михаил Лукич, одобрил». И он под ударами прикладов закричал истошно: «Я хочу вам служить! Я хочу вам служить! Честно... честно служить!»

Все это можно было бы объяснить Ваньке, но что он из этого поймет? Да и зачем? И Федор, чувствуя, как пальцы жжет уже искуренная сигарета, проговорил другое:

— А я сегодня всю ночь... всю ночь лезли вы мне в голову, проклятые. Анна, Семка, ты... Будто чуял, что ты рядом тут где-то.

— Я здесь, — усмехнулся Иван. — А Семки, сына твоего, нет. И не будет уже.

— Убили, что ли? — спросил Федор без всякого интереса, плюнул по привычке на сигаретный окурок и отбросил его в сторону.

— Наверное. Или в плен угнали.

— Хорошо, — скривил засохшие губы Федор. — Пусть твой выродок горя похлебают.

При этих словах Иван, побелев от гнева, задыхаясь от горького удушья, схватил трясущейся рукой автомат, вскочил, рванул к себе рукоятку затвора, простонал:

— Ах ты... Ты-ы!

— Да я смерти не боюсь, — проговорил Федор спокойно, с прежней кривой усмешкой. — Стреляй.

— И выс... — Иван вовсе задохнулся, конец слова проглотил. — Потому что... не имеешь ты права по этой земле ходить. И никогда не имел! Ты ее... ты ей чужой, как твои друзья-фашисты. Ты ее обгадил... обгадил!

— И ты тоже. Вспомни, — опять нагло проговорил Федор, понимая, что это больно хлещет Ивана.

— Я? Не-ет! Я ее обижал... но то по глупости. За то я рассчитался... И обиды на нее и на людей не затаил... не ношу в себе. И люди это поняли. А тебе напоследок вот что скажу... Ты, сволочь, знаешь, что Семка — родной тебе сын. Не знаешь только, кто Анну испохабил тогда. Все думаешь, что я... Так скажу тебе, сволочь, — отец это ее родной. Михаил Лукич Кафтанов. За то, что душа у нее человечья оказалась. Что с партизанами она ушла тогда. Он, как зверь обезумевший, и растоптал ей душу...

Федор все это слушал внешне спокойно, лишь усталые, измученные глаза его начали поблескивать все сильнее и ярче, будто в них разгорелась наконец ненависть к Кафтанову, о гибели которого он всю жизнь сожалел. И сказал тихо и раздумчиво:

— Тело — это что? Это для людей привычно. А вот когда душу — это... правильно.

Иван никак не мог понять смысла его слов, автомат, направленный в сторону брата, был какой-то тяжелый, будто в сто раз тяжелее обычного, он вываливался из рук. Сердце Ивана билось толчками, с острой болью.

Когда Федор умолк, Иван сказал:

— Ну, говори дальше...

— Скажу, — кивнул тот. — Почему я у немцев, спрашиваешь? А потому вот... это я сейчас понял до конца. Ежели бы у меня была такая дочь, а я был бы на месте Кафтанова,

Михаила Лукича... я бы ее, выродка, точно так же... так же!

В мозгу у Ивана что-то с немислимой болью вспухло и разорвалось. Закрыв глаза, он нажал на спусковой крючок, автомат задержался, сильно и больно заколотил прикладом в живот. Он все прижимал спусковой крючок, пока диск не кончился и автомат не перестал реветь.

Так и не открывая глаз, боясь глянуть на дело рук своих, Иван уронил оружие, как палку, дулом вниз, левой рукой нащупал ствол сосны, затем прислонился к нему плечом, постоял несколько мгновений и стал сползать вниз на землю, будто не он брата, а его самого сейчас расстреляли намертво...

Он еще долго, даже и неизвестно сколько, лежал с закрытыми глазами в неудобной позе под деревом, пока сквозь остановившееся сознание не прорезался голос Алейникова.

— Савельев?! Ранен, что ли?

Иван с трудом разлепил веки, увидел Якова. На плече висел у него немецкий автомат, сам он стоял над трупом Федора и зачем-то переворачивал его сапогом со спины на живот. По краю поляны гуськом шли партизаны, некоторые несли какие-то портфели, сумки, связки бумаг и даже чемоданы. «Ага, это все... документы той самой фашистской разведгруппы», — подумал Иван.

— Я приказал его живьем! — проговорил Алейников, строго глядя теперь на Ивана.

— По возможности, ты сказал, — ответил Савельев вялым, неприятным для самого себя голосом и кивнул на убитых партизан. — Это он их, Федор.

— Ты не оправдывайся, — уже не так сердито произнес Алейников.

— А что мне оправдываться перед тобой? Может, мне перед собой надо, а?

Партизаны все шли гуськом, не обращая на них внимания, не поворачивая даже головы, шли молчаливые и усталые, как косари или пахари после целого дня тяжелой работы. Лишь Олька Королева на ходу глянула на Алейникова и Ивана и тоже прошла.

Четверо партизан пронесли на носилках какого-то человека, укрытого немецкой шинелью. Очевидно, Подкорытова, шестоковского старосту.

— Нет, и перед собой не надо. А живьем бы его, подлеца, хорошо, — промолвил Алейников.

— А того, другого-то, взяли?

— Ушел, — сказал Алейников хмуро. — Опять ушел, сволочь.

— Этих бы всех похоронить. Да и Федора...

— Некогда. С минуты на минуту могут немцы нагрянуть. Вставай! Пошли!

Ни слова больше не прибавив, Алейников повернулся и зашагал, тоже сгорбившийся и усталый. Иван поднялся и побрел за ним, вскинув на спину автомат. И Федор, и те убитые на поляне трое партизан, Лахновский в овраге, трупы своих и врагов, распластанные в траве вдоль русла небольшой речушки и во круг Шестокова, остались лежать под синим и тихим теперь летним небом непохороненными.

И это тоже было страшное и обычное на войне дело.

Камень был тяжелый, килограммов на двенадцать, острые края, когда Василий Кружилин попытался оторвать его от земли и взвалить на плечо, больно врезались в ладони, каменная глыба выскользнула, тяжело упала возле ног.

— Взять! — коротко приказал Назаров.

Василий нагнулся, опять обхватил закровевшими пальцами камень. Но на этот раз он не смог даже сдвинуть его с места — в руке, искусанной собаками еще в Ламсдорфе, сил совсем не осталось. В начале рабочего дня он еще что-то этой рукой делал, потом она немела, переставала слушаться, и Валентин Губарев, когда показывались капо Айзель, кто-нибудь из бригадиров или эсэсовцев, старался отвлечь их внимание от Василия или загородить его, чтобы те не увидели беспомощного состояния Кружилина. Ведь любой из них в соответствии со своим настроением мог определить Василию любое наказание за плохую работу: выпороть на козле, повесить за вывернутые руки часа на три-четыре на столбе, заставить заниматься «спортивными упражнениями» — приседать или бегать до полного изнеможения, собственноручно дубинкой избить до полусмерти или до смерти. Постоянно пьяный гауптшарфюрер Хинкельман обычно заставлял влезать на дерево и раскачиваться на ветвях до потери сознания. Гомосексуалист Айзель, бывший уголовник и убийца, за такую провинность гнал пленного на цепь постов охраны, проходившую от каменоломни всего метрах в двухстах, и Василий был бы неминуемо убит «при попытке к бегству». Наконец, любой эсэсовец просто мог выщипать пистолет и пристрелить его без всяких слов и объяснений...

Бухенвальдскую каменоломню заключенные называли костомолкой. Работавших там служащие лагеря именовали особой рабочей командой, а на самом деле это была лагерная штрафная рота, куда отправляли заключенных, от которых надо было почему-либо побыстрее избавиться.

Наступала ночь. Участок каменоломни, где бригада Назарова с самого рассвета дробила

камень и загружала щебнем повозки, был тускло освещен небольшой электрической лампочкой, болтавшейся на столбе, а кругом стоял мрак. С горы Эттерсберг стекал прохладный ночной воздух, немного оживляя узников. Все они, человек четыреста, стояли молча уже в колонне, у каждого на плечах было по тяжелому камню. Уходя в бараки, заключенные должны были по приказу Айзеля брать с собой по камню. «Чтобы не украли ночью, — объяснил он, — каменоломня ночью не охраняется». Возле барака камни аккуратно складывали у стенки, а на рассвете, отправляясь на работу, заключенные снова разбирали их и тащили обратно.

Рабочие каменоломни находились на «советском рационе». В день им давали по три неполных котелка баланды из брюквы — без соли, без мяса, без картошки, и по половине хлебной пайки. «Советским» он назывался потому, что Главное административно-хозяйственное управление СС, Отдел Д — концентрационные лагеря, еще осенью 1941 года, перед прибытием первых партий советских военнопленных в Бухенвальд, отдало приказ о том, чтобы в течение шести месяцев со дня прибытия пленные не получали никакой еды, кроме этой, без всяких добавок. Паек был настолько скуден, что люди сотнями ежедневно умирали от истощения. Через некоторое время тех, кто выжил, переводили «на обычное питание», хотя оно мало чем отличалось от определенного Отделом Д. А для рабочих каменоломни такой рацион был установлен раз и навсегда.

Слабый ветерок доносил в каменоломню пресноватый запах дубовых и буковых лесов Тюрингии, тот запах, который, как уверял Губарев, очень любил Фридрих Шиллер, этот запах якобы вызывал у него всегда творческое вдохновение, здесь, дыша этим запахом, великий поэт Германии создавал свои бессмертные произведения, под буками Эттерсберга он около ста пятидесяти лет назад закончил свою драму «Мария Стюарт». А эти несколько сот обреченных людей, стоящих под тусклым фонарем, запаха лесов Тюрингии не любили, они, изможденные, смертельно измученные за длинный каторжный день, вообще ничего не ощущали, кроме постоянной усталости и голода. Каждый из них хотел скорее в барак, чтобы, сложив камни у стенки, дотрестись до пищеблока, получить свою миску брюквенной похлебки, выпить ее, затем кое-как дожидаться вечерней переключки на плацу и уж потом упасть на нары и провалиться в сон, как в могилу.

Люди в полосатых одеждах с особым знаком штрафной роты — красный треугольник и красный кружок под ним, — нашитым на куртки и брюки, молча и терпеливо ждали, когда этот

молодой русский парень, кажется, бывший товарищ недавно назначенного бригадира Назарова, поднимет свой камень. Если не поднимет, значит, его очередь сегодня быть жертвой Айзеля. Вон он уже показался из дощатой будки, где пропьянствовал весь день.

Назаров, в такой же полосатой куртке, как и все, с таким же знаком, но с плетью в руке и черной повязкой на левом рукаве, быстро оглянулся на вышедшего из будки Айзеля и еще раз торопливо крикнул:

— Взять, говорю, живо! Бери, ну же!

Однако Василий уже оставил попытки поднять глыбу, стал выпрямляться, пошатываясь. Тогда Назаров, еще раз глянув на приближающегося капо, быстро нагнулся сам, схватил камень и положил его на плечо Кружилину. Тот опять пошатнулся, но устоял.

— Спасибо, господин бригадир, — пошевелил Василий засохшими губами. — Благодетель ты... Не забуду.

— Держи, дурак! Марш в колонну! — Назаров толкнул его в строй.

То, что сделал Назаров, было небезопасно. Айзель, начальник команды, был хозяином жизни и смерти любого из этих людей в полосатых одеждах, в том числе и Назарова. Но то ли он был сильнее обычного пьян, то ли просто в этот момент отвернулся — он ничего не заметил. И, подойдя, только спросил равнодушно:

— Готовы?

— Так точно, господин капо. Ждем вас...

— Давай...

— Ша-агом арш! — тотчас крикнул Назаров.

Колонна качнулась и двинулась.

Василий в этот вечер не выронил камня и не видел, не слышал, чтобы кто-нибудь другой его выронил; он брел где-то в середине колонны, не чувствуя почему-то на плече тяжести. Да и вообще он не чувствовал плеча, всей левой половины тела. Придя к бараку, он не имел сил аккуратно положить груз к стене, камень с грохотом упал на землю. Но, к счастью, Айзеля поблизости не было, а стоявший рядом заключенный — чех — сказал Назарову по-русски, с сильным акцентом:

— Ваш друг очень плох. Завтрашний день он не выдержит.

— Молчать! — прикрикнул негромко Назаров. — Все вы здесь друзья!

— Но завтрашний день будет для него последним! — не унимался чех. — Это же очевидно.

— Не ваше дело! Быстро помыть котелки!

Василий, слушая это, только усмехался. Он стоял, прислонившись спиной к стене барака, тер правой рукой онемевшее левое плечо и с нескрываемой ненавистью глядел на тепереш-

него своего начальника. Тот чувствовал его взгляд, но не оборачивался к Василию, стоял и наблюдал, как заключенные складывают камни. Наконец все же не выдержал, глянул на Кружилина:

— Спасай вас... Живо за котелком! Увидит Айзель, не понимаешь, что ли?

Василий еще раз усмехнулся, кивнул на чеха:

— А ты не верь ему. Я здоров. И я все выдержу. Запомни, капитан, я — выдержу!

Он говорил тихо, никто его не слышал, кроме Назарова.

— Выдержишь... Тут будь хоть из железа... — проговорил Назаров еще тише, чем Василий, и если бы кто услышал его голос, кроме Кружилина, все равно бы не понял — угрожает или в чем-то оправдывается бывший капитан Красной Армии.

— А я еще крепче, чем из железа, — упрямо повторил Василий. — Я хочу жить и выжить. А ты — нет. Ты не выживешь все равно, иуда...

И, не обращая больше внимания на стоящего истуканом Назарова, не видя, как он сжимает судорожно свою плеть, пошел, поплелся в барак.

Никакого недомогания Василий в этот вечер действительно не чувствовал. Он вместе с другими сходил за баландой из брюквы. И когда выпил ее, почувствовал даже сытость. И смертельная усталость будто прошла. На плацу он стоял, не шатаясь, только небывало хотелось спать. А когда добрался до нар, сонливость неожиданно исчезла. Едва он закрыл глаза, перед ним возникли вдруг счастливые глаза Лельки Станиславской, его Лельки, с которой он познакомился когда-то в городском парке Перемышля. Когда это было? Давно-давно, может, сто, может, тысячу лет назад. И все это время она никогда не являлась ему, он не думал о ней, забыл совсем, будто ее и не было на свете. Но ведь она была, она любила его когда-то, и он ее любил, они договорились пожениться, как только он выслужит свой срок и демобилизуется из армии. «Но это долго еще, боже мой, как это долго!» Василий явственно припомнил вдруг, что эти слова она произнесла лежа в траве, среди полевых белых ромашек. Когда же это было все-таки? Она лежала, и Василий лежал возле нее на спине, смотрел в синее бесконечное небо, где плавали небольшие редкие облака. И он, Василий, еще подумал: интересно, отражаются они в Лелькиных глазах или нет? Он даже приподнялся и посмотрел ей в глаза. Да, посмотрел...

Весь барак, придя с переключки, сразу погрузился в короткий, тяжкий сон, заключенные храпели, некоторые ворочались, не просыпаясь,

в разных углах постанывали, иногда то один, то другой заключенный дико вскрикивал или что-то испуганно, торопливо бормотал, тоже не просыпаясь. Василий знал, что людям снятся их сны, такие же кошмарные и тяжелые, как явь. Он подумал: да не снятся ли и ему все это про Лельку? Он приподнялся, огляделся. Нет, он не спит. Вон рядом лежит Валька Губарев, ученый человек. Валька вдруг открыл глаза, спросил:

— Чего ты?

— Так я, Валь.

— Как себя чувствуешь?

— Хорошо.

— Ты попробуй уснуть. А там поглядим, — сказал Губарев.

На эти его последние слова Василий совсем не обратил внимания, тут же забыл их, потому что снова подумал о Лельке, пытался вспомнить, отражались ли тогда в ее глазах белые облака. Но не мог. Зато вспомнил, когда все это было. Было это два года назад с небольшим, весной, в мае сорок первого. В тот день капитан Назаров отпустил его в увольнение на целый день. До обеда они с Лелькой бродили по Перемышлю, она была почему-то задумчива и рассеянна. Потом перекусили в маленькой закуской, выпили горького кофе и Лелька захотела в лес. И там, в лесу, где-то недалеко от Сана, на глухой поляне, густо заросшей ромашками, Лелька, раньше строгая и неприступная, вдруг отдалась ему спокойно и просто, спросив только, будто не знала этого раньше: «Ты очень любишь меня?» — «Лелька!» — укоризненно воскликнул он. И тогда она еще сказала: «Я полячка. Ты увидишь, какими верными и добрыми женами бывают полячки. А жить поедем в твою Сибирь. Ладно?» — «Ладно».

После этого она долго еще лежала молча в ромашках, такая же чистая и красивая, как эти бесхитростные цветы. А сейчас — где она? Где?

В глотке у Василия встал какой-то ком, и он начал задыхаться. Хватая ртом воздух, он опять поднялся, скрипнув нарами. Тотчас приподнялся и Губарев, все еще не спавший или разбуженный вскриком.

— Извини, — проговорил Василий, продохнув ком в горле. — Вот... не спится.

Василий лег, стал смотреть в темноту. Губарев протянул во тьме руку, пощупал ему лоб.

— Да ты что? Здоров, говорю?

— Ага, — откликнулся Губарев.

Потом Василий, помолчав, спросил вдруг:

— Валь, а здесь... ромашки растут?

— Какие ромашки?

— Какие — обыкновенные!

— Вероятно. А впрочем, не знаю. Не знаю, Вася. С чего это вдруг ты?

— Я... Лельку вспомнил. Девушка у меня была.

— А-а, — промолвил Губарев, вздохнув. Минут через пять он опять вздохнул. — Да, точно не могу сказать. Много я знаю о Тюрингии, вообще о Германии, а вот этого...

— Расскажи, — неожиданно попросил Василий. — Или стихи почитай. Ты давно уже не читал...

— Давно, — промолвил Губарев с горечью. — И сейчас не хочется. И рассказывать... Иногда и не верится, будто шла здесь какая-то иная жизнь, полная высокого благородства и великого смысла. Будто давний сон... или волшебная сказка, слышанная давно-давно...

Валя Губарев был сейчас, как и все они, похож на скелет, обтянутый кожей. Василий познакомился с ним впервые в концлагере Галле, когда вернулся из карцера после третьего неудачного побега. Он вечером притаился в барак полуживой, уткнулся в рваное тряпье и так пролежал всю ночь без движения. Утром Назаров, отказавшийся в этот раз бежать, сказал Василию: «Я говорил — бесполезно», а этот Губарев, появившийся в бараке за время его отсутствия, спавший на соседних нарах, протянул ему небольшой кусок эрзац-хлеба и сказал: «На, поешь».

Затем между Назаровым и Губаревым произошел такой разговор:

— Я, Назаров, заметил — ты в хороших отношениях со старостой блока.

— Не знал, что ты такой наблюдательный, — отозвался Назаров.

— Твой земляк несколько дней не сможет работать. Поговори со старостой... Дневальным, что ли, пусть его назначит на время.

— Не осмелится, — сказал Назаров. — Блокфюрер-то понимает — какой он дневальный?

— А ты все ж поговори... Эсэсовец этот тоже вроде не окончательная скотина.

По существующим правилам староста блока, назначаемый из числа старых заключенных, мог, в свою очередь, назначать себе в помощь нескольких дневальных; которые не привлекались к работе в командах, имели право оставаться в бараке в рабочее время.

Слушая этот разговор, Василий думал, что поговорить со старостой Назаров не решится, не осмелится. Но капитан все же поговорил, Василий около недели отлеживался в бараке. Это помогло немного окрепнуть и, возможно, вообще спасло ему жизнь. Уже после этого в течение нескольких месяцев Василий еле тащил ноги, шатался как пьяный, а что могло произойти, если бы сразу после карцера его выгнали на работу? Ведь с такими заключенными разговор короткий.

Пока Василий Кружилин размышлял обо всем этом, Губарев сидел и молчал, думал о чем-то. Длинный барак с двумя рядами трехэтажных нар был освещен всего двумя слабенькими лампочками. Василий и Губарев лежали на нижнем этаже, свет сюда почти совсем не доставал, во мраке поблескивали только белки глаз Губарева.

Вздыхнув, Валентин заговорил негромко и грустно:

— Веймар, Веймар... Тут сочиняли свою музыку Иоганн Себастьян Бах и Ференц Лист, здесь искали уединения и покоя и Шиллер, и Кристоф Мартин Виланд, и Готфрид Гердер... Великие имена. Гете любил говорить, что здесь, на горе Эттерсберг, чувствуешь себя большим и свободным, чувствуешь себя таким, каким, собственно, нужно быть всегда... Это я почти дословно вспомнил его слова.

— Большим и свободным... — повторил Василий.

— Да. И словно в насмешку фашисты построили здесь этот лагерь, в этом святом месте...

И Василий вдруг вполголоса продекламировал:

Горные вершины —
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного —
Отдохнешь и ты.

Проговорив это, Василий часто задышал:

— Помнишь, ты читал эти стихи в переводе Лермонтова? И это он будто в точку... про нас будто. Скоро — отдохнем!

Губарев долго молчал. И наконец прерывающимся голосом заговорил:

— Да... А есть еще перевод Валерия Брюсова этого стихотворения Гете... Текст перевода Брюсова считают наиболее близким к подлиннику. Вот...

На всех вершинах —
Покой.
В листве, в долинах,
Ни одной
Не вздрогнет черты...
Птицы дремлют в молчании бора,
Погоди только: скоро
Уснешь и ты!

Опять оба долго молчали, не в силах ничего говорить.

— И говорят, Вася, что Гете, уже будучи стариком, через пятьдесят лет снова побывал на горе Эттерсберг, в том домике, где написал когда-то это стихотворение. И со слезами на глазах он произнес якобы последние его две строчки. Это было за полгода до его смерти...

Губарев умолк на полуслове и лег: скрипнула входная дверь. Василий тоже торопливо натянул на себя лохмотья лагерной шинели, отвернулся к стене, закрыл глаза. В такое время в барак могли войти только эсэсовцы с какой-либо проверкой, обыском или начальство из заключенных. В любом случае надо было лежать, надо было, как положено в это время, спать и лишь по команде вскакивать, не мешкая, строиться в проходе барака, а там делать что прикажут.

На этот раз никакой команды не последовало, только из-за своей загородки вышел староста блока — согнутый крючком старик Климкер, немец, сидевший в Бухенвальде, кажется, с самого тридцать седьмого года, со времени основания лагеря. Посажен он был сюда, как говорили, за то, что прирезал какую-то свою сожительницу, богатую старуху, сговорившись предварительно с ее сестрой, тоже старухой и тоже богатой. Это было похоже на правду, потому что Климкер часто получал роскошные передачи, что позволялось людям не просто состоятельным, а богатым.

— Не спите, господин Айзель? — проговорил староста, зевая. — А я, знаете, устал чертовски.

— Не угостишь ли чем, Климкер, нас с Назаровым? — пьяно прогундосил капо. — По стаканчику опрокинем да тоже спать.

— Кое-что осталось, кажется. Немного...

— А капитану Назарову много не требуется, хе-хе... Он там, в своей паршивой армии, хе-хе, пить не научился. Там не позволяли. А, господин капитан?

— Да, в Красной Армии пить не принято, — донесся голос Назарова.

— Не принято... Ну, здесь ты наверсташь. Здесь ты научишься.

— Так точно, господин капо, — усмехнулся Назаров. Василий явственно различил усмешку в его голосе.

— И чем больше будешь пить, тем крепче плеть в руке станешь держать... Пока стесняешься ею пользоваться.

— Так точно...

— Научишься. Это уж закон... А не научишься — отберем...

Переговариваясь так, они скрылись в загородке старосты, захлопнули за собой дощатую дверь.

Говорили они, особенно Айзель, перемешивая русские и немецкие слова, и Василию с Губаревым все было понятно.

— К-капита-ан! — сквозь зубы выдавил Губарев. — Покажет он еще нам...

Василий на это ничего не ответил, в виски ему долбил больно и беспрерывно сытый и до-

вольный голос Назарова: «Так точно, господин капо... Так точно...»

Скользкая деревянная стена, лицом к которой лежал Кружилин, пахла плесенью, запах этот давно, кажется всю жизнь, сопровождал Василия, он к нему притерпелся, но сейчас от него мутило. Да, капитан, — думал он. — Его капитан, которого он на плечах нес из-под Перемышля, которого выходил еще там, в польском городке Жешуве. Там, в тесной камере номер одиннадцать, их продержали около двух недель. Эти две недели Василий исполнял обязанности старосты камеры, которые заключались лишь в том, что он составил списки узников да следил за честным распределением пищи. Плеть, которую вручил ему унтер-штурмфюрер Карл Грюндель, валялась в углу.

За это время капитан Назаров немного оправился, стал вставать и передвигаться с палкой по камере. На правах старосты Василий попросил у Грюнделя разрешения пользоваться Назарову каким-либо костылем, и эсэсовец, находясь в хорошем настроении, сказал:

— О-о, пожалуйста. Я прикажу, чтобы принесли... Приятно даже, что у нас есть офицер Красной Армии с костылем. Это прекрасно. Скоро мы всем переломаем ноги. Немецкая армия успешно продвигается в глубь России, мы покорили уже обширные территории. Пожалуйста...

Разрешая Назарову пользоваться костылем, Грюндель заметил лежащую в углу плеть, кивнул на нее:

— Пользовались?

— Да... что же? Они и так слушаются.

Грюндель нахмурился, о чем-то подумал. И сказал жестко:

— Ну, я посмотрю... Посмотрю, как послушается этот капитан вас, — и немец кивнул на Назарова. — Первый раз он будет чистить вам сапоги, господин староста, лично при мне. Выздоровляйте, капитан!

Но больше Грюндель, этот зловещий эсэсовец с безукоризненным русским выговором, в камере не появлялся. Вместо него пришел однажды грузный человек в маленьких очках, черной форме и с широченной повязкой на рукаве, где была изображена большая свастика.

— Кто это составлял? — негромко спросил он через переводчика и затряс какими-то листками. Василий сразу узнал свои списки.

— Я, господин...

— А кто вы?

— Я... мне приказали.. Я назначен старостой камеры.

— А что значат эти буквы после фамилии и воинских званий заключенных? Вот — б. п., б. п.

— Это значит — беспартийный.

— Превосходно, — протянул человек с повязкой, снял перчатки и несколько раз хлестнул ими Василия по лицу. Удары были не больные, вроде бы шутейные. Лишь стекла его маленьких очков зловеще блеснули.

На другой день из камеры куда-то увели группу командиров. Пригнали их обратно через несколько часов избитых, окровавленных. Герки Кузнецова среди них не было.

— Он... он плюнул этому гестаповцу в лицо. Ему тут же размозжили прикладом голову, — сообщил некоторое время спустя майор Паровозников. И, помолчав, добавил: — Этого делать не следует, если тебя вызовут.

— Я ничего им не скажу, Никита Гаврилович. Да я и не знаю, кто из вас коммунист, а кто нет. И знал бы... лучше пусть убьют. Поверьте! — торопливо прошептал Василий.

— Да я верю, — просто сказал майор. — Верю, Вася.

Но вызывать на допросы больше никого не стали. Еще через день их всех подняли пинками чуть свет, какой-то немецкий офицер при этом наступил на валяющуюся на полу плеть, отшвырнул ее ногой в сторону (с тем и кончились обязанности старосты Василия), вывели из камеры и куда-то погнали. Как потом оказалось, на вокзал, где сразу же пинками и прикладами заставили войти в глухие, но чистые, новые вагоны, еще пахнувшие краской. Привезли их в Краков, загнали в кирпичное здание с большими и толстыми железными воротами, где держали еще полмесяца. Василий чувствовал себя, в общем, крепко, частенько отдавал Назарову то свою порцию хлеба, объясняя, что у него от предыдущего дня осталось, то миску щей. Да и кормили в Кракове прилично, иногда давали даже кусок колбасы или сыра. Назаров совсем поправился, бросил палку.

— Ну, спасибо, Кружилин, тебе за все, — сказал он. — Останемся живы — никогда не забуду.

— Чего там, товарищ капитан... — Василий даже смутился. — Бежать надо, товарищ капитан. Краков не так уж далеко от нашей границы. А то еще куда переведут.

— Да. Непременно, — твердо сказал тот. — Осмотримся вот, без меня ничего не предпринимаем.

— Слушаюсь, товарищ капитан! — И нетерпеливо добавил: — Хорошо бы группой. Вы, я, Никита Гаврилович. Еще с кем-то поговорить... Многие согласятся.

— Предоставь это мне. Здесь, кажется, тюрьма. Из-за каменных стен не очень-то убежишь. Но может быть, на работы какие-нибудь водить станут...

Но в Кракове они так и просидели полмесяца в каменном сарае, даже на прогулку их ни разу не выводили.

— Курорт, — усмехнулся Василий. — Я даже поправился вроде.

...На следующий день с утра за стенами кирпичного здания началась какая-то суеда, крики, слышался рев автомобильных моторов. Спустя некоторое время распахнулись железные ворота, перед ними стояли наготове три или четыре длинных зеленых автофургона с раскрытыми уже задними дверями, от фургонов к воротам тянулись шеренги немецких автоматчиков, образуя несколько узких коридоров. Эсэсовцы, ничего не объясняя, прикладами погнались заключенных наружу, а там по этим живым коридорам — в машины.

Когда распахнулись ворота и вбежали эсэсовцы, Паровозников, поднимаясь с цементного пола, застланного соломой, проговорил:

— Кажется, кончился курорт...

Это было последнее, что услышал Василий от Паровозникова. Оказавшийся рядом немец что-то закричал, ударил его прикладом в плечо. И больше Василий майора не видел до самой встречи уже здесь, в Бухенвальде. И Назаров тоже.

В тот раз, когда немец ударом приклада толкнул Паровозникова, Назаров торопливо проговорил:

— Что бы ни случилось, Кружилин, будем вместе. Надо быть вместе! Не бросай меня!

— Да вы что, товарищ капитан! — обиделся даже Василий.

Выбежали они из здания плечо в плечо, в давке Василий даже отталкивал кого-то, чтобы не отстать от капитана, в фургон заскочил первым, подал руку Назарову, помог ему взобраться...

Они все еще были в армейских гимнастерках, превратившихся в грязные лохмотья. И только в Ченстохове, куда их привезли в первых числах августа, им выдали полосатые куртки и брюки. Сапоги, правда, оставили, но обрезали голенища.

Все это произошло в дощатой, осклизлой бане, где их предварительно остригли наголо. На куртках и брюках были пришиты белые полоски с номерами. Назаров и Кружилин в очереди за лагерным одеянием стояли друг за другом. Назарову достался номер 3980, Василию — 3981. Немец, выдававший одежду, на ломаном русском языке спрашивал фамилию и воинское звание, записывал все это в толстую книгу, напротив жирно проставлял номера, обозначенные на выданной одежде.

Когда дошла очередь до Василия, он назвал свое воинское звание — рядовой. Немец, щупленький, высохший, по виду из низших чинов

(поверх обмундирования на нем был белый халат), приподнял голову, пошевелил короткими желтыми усами.

— Мы, немцы, не любим ложь. Мы любим точность. Нехорошо. Все вы есть офицеры...

— А я рядовой. Солдат, — упрямо сказал Василий.

Вдоль шеренги голых людей молча прогуливался какой-то офицер. В заложенных назад руках у него болталась плеть. Услышав разговор, он шагнул к стойке, где шла раздача одежды, спросил резко:

— Was sagt er? Was ist los? ¹

Немец в халате вскрикнул, вытянулся.

— Er sagt, er sei ein Soldat ².

Плеть дважды свистнула, Василий не успел даже вскрикнуть. Он лишь вздрогнул, схватился невольно за плечо и повернулся к офицеру. Тот, складывая плеть, проговорил, зло оглядывая Василия:

— Verlogene Saul — И, повернувшись к вытянувшемуся немцу: — Tragen Sie ein, er ist Leutnant ³.

Так Василий был сразу произведен в командиры Красной Армии.

...Сон не брал Кружилина, он повернулся на жестких нарах, поглядел в дальний конец барака. Щели дощатой перегородки Климкера светились, оттуда шел приглушенный говор, но слов разобрать было нельзя.

Переворачиваясь, Василий ощутил горячую, саднящую боль в груди, будто там что-то оторвалось и кровоточит. Еще он почуствовал, что голова его стала невероятно тяжелой, как камень, который он сегодня нес. «Ничего... Уснуть, правда, надо, а то до утра не пройдет. Проклятый Айзель с рассветом начнет зверствовать...»

По телу Василия прошел озноб, едва он представил, что произойдет, если он не сможет подняться, а капо Айзель утром будет пьяный. Такое бывало не раз, Айзель плетью поднимал больного, заставляя ползти его в каменоломню на работу до тех пор, пока не захлестывал его на этом страшном пути насмерть. Сколько же он, Василий, испытал и перенес таких ударов! Жутко подумать. И Назаров испытал. Но теперь Назарова не бьют, теперь у него самого в руках плеть, теперь он сам бьет. Водку теперь пьет с Айзелем. Как же это все произошло? Или там, в Ченстохове, когда их обрядили в эти полосатые одежды, был другой человек? «Ну вот... ну вот, теперь мы, Вася, окончательно... Не люди мы больше!» — проговорил Назаров, когда они, выйдя из бани, оглядели друг друга. Непривычно и невесело было смотреть друг на

¹ Что он говорит? В чем дело?

² Он говорит, что он солдат.

³ Лживая свинья! Запишите — он лейтенант.

друга. У Василия к тому же под полосатой одеждой на плече и груди огнем горели кроваво-синие рубцы, набухая, казалось, все больше, — офицер тот ударил всего дважды, но профессионально. «Бежать, бежать, товарищ капитан!» — прошептал Василий. «Да, Вася. И потом ты прав, они могут нас черт знает куда отправить. А это пока Польша. Не так далеко Краков, а там Жешув. Это уже почти граница. А там, совсем рядом, Перемышль, Янов, Яворов. Места знакомые...»

Побег они совершили где-то в двадцатых числах августа, когда их стали водить на станцию разгружать вагоны с углем. Черные от угольной пыли, они вскочили на платформу, грузенную какими-то ящиками. Им удалось вскочить незаметно, когда состав двинулся. «Только бы выбраться из города, Вася, — шептал Назаров. — Где-нибудь в лесу надо на ходу спрыгнуть. Будем пробираться в сторону Вислы; может, у кого одежду крестьянскую выпросим, продуктов. Поляки — хорошие люди...» — «Добрые. Вот Лелька мне говорила... Обязательно встретим таких, товарищ капитан».

До Вислы они не добрались и добрых людей не встретили. Встретили, случайно наткнулись они в лесу на двух людей — мужчину и женщину. Они лежали в траве, как он, Василий, когда-то с Лелькой. Женщина увидела их первой, испуганно вскрикнула, мужчина — как потом оказалось, польский полицейский — тотчас вскочил, что-то закричал, выстрелил... Потом он, стреляя, гнался за ними до тех пор, пока не выгнал на чистую поляну. А с противоположного конца на поляну высыпала дюжина немцев с собаками.

И вот здесь, на этой же поляне, Василий и Назаров впервые узнали, как могут бить немцы. Когда они потеряли сознание, их забросили, как мешки с углем, в кузов грузовика и привезли обратно в Ченстохов.

К счастью, им не поломали ни рук, ни ног, недели через две они немного оправились и тот же Назаров сказал: «Ладно, сволочи... Еще посмотрим. Еще сентябрь, и пока не наступила зима, Вася...»

Он звал его тогда еще Васей... Но из Ченстохова совершить второй побег им не удалось: неожиданно большую партию заключенных, в том числе их с Назаровым, погрузили в машины и привезли в Ламсдорф. «А ведь это уже Германия, Василий... — невесело сказал Назаров, когда стало известно их местонахождение. — Ничего, поглядим. Рядом, кажется, Чехословакия...» — «А какая нам разница?» — «Ну, какая... чехи все-таки не немцы».

Из Ламсдорфа они ушли в конце сентября. Каждый день их водили на рытье каких-то траншей и укладку труб, туда же привозили

обед. Обедали в загородке из колючей проволоки. В дальнем конце загородки было отхожее место — дощатая будка. Вечером угоняли в лагерь.

Небо в те дни хмурилось, хотя дождей еще не было, деревья стояли желтыми. Ненастье наступило, а с прокладкой труб, видимо, запаздывали и заключенных решили на ночь в лагерь не отправлять, так как переходы отнимали порядочное время. Загородку заставили устелить хворостом — и спальня была готова. За проволокой всю ночь ходили охранники, но без собак.

Лучшей возможности для побега ожидать было нечего. Рассовав по карманам сэкономленные куски засохшего хлеба, они однажды ночью поодиночке отправились в нужник. Василий еще несколько дней назад заметил в задней стенке будки плохо прибитую доску и теперь, когда подошел Назаров, легко сорвал ее с гвоздя и отодвинул в сторону. Колючая проволока шла от будки метрах в пяти, это пространство заросло высоким бурьяном. Выскользнув по одному из будки, они полежали в засохшей уже траве, наблюдая за маячившими во мраке двумя охранниками. Те стояли неподалеку от будки, курили, о чем-то переговариваясь. Но Василий и Назаров знали, что охранники сейчас уйдут: вокруг отхожего места стояла непродыхаемая вонь, немцы долго тут не задерживались. И действительно, через минуту они медленно разошлись в разные стороны. Кружилин торопливо пополз вперед, припасенным заранее куском железа стал рыть землю под нижнюю проволоку, которая к тому же и натянута была наспех, не очень туго. К счастью, и земля была мягкой.

Да, все складывалось как нельзя удачнее. Они легко выбрались наружу, никто их не заметил, две ночи пробирались вдоль какой-то речушки, затем негустым лесом, полем. Днем лежали где-нибудь в зарослях, отсыпались. Назаров считал, что они уже в Чехословакии. «А граница? — спросил Василий. — Мы ее уже прошли? Ведь должна быть граница». — «Да какая у них тут сейчас граница? — сказал Назаров. — И в Германии немцы, и в Чехословакии немцы. Все германское».

За это время они съели весь хлеб, обоих страшно мучил голод. К тому же надо было как-то узнать, где все-таки они, куда идут. «Не может быть, чтобы мы не встретили здесь порядочного человека. Не может, Вася!» — убежденно говорил Максим Назаров. Ввалившиеся глаза его при этом лихорадочно блестели.

До этого они далеко обходили села и деревушки, а людей ночами не встречали. Теперь решили днем залечь где-нибудь возле дороги и, когда будет мимо проходить или проезжать

кто-то из «подходящих» местных жителей, обратиться к нему за помощью.

Такого «подходящего» они увидели сквозь кустарник через полчаса, как залегли у дороги. Было еще сумрачно, утро только-только пробивалось сквозь плотные, тяжелые тучи, завалившие небо. Где-то за поворотом дороги раздался стук колес, показалась двуколка, запряженная коротконогим конем, в повозке сидел человек в старой, помятой шляпе, в пестром пледе, накинутом на плечи. Человек был давно не брит, седая щетина на дряблых, обвислых щеках торпорщилась во все стороны, во рту у него торчала трубка.

— Местный крестьянин, — сказал Назаров и ткнул Кружилина в бок. — Давай, Вася!

Назаров остался лежать в кустах, а Василий вышел на дорогу. Увидев его, человек в повозке уронил изо рта трубку, поймал ее, привстал было, словно хотел выскочить из повозки, но передумал, опустил, натянул вожжи. Только покрепче взял в руки кнут.

— Здравствуй, отец! Ты не бойся, — сказал Василий, останавливаясь метрах в трех от повозки и всем своим видом показывая, что нападать не собирается.

— Ich verstehe nicht, — проговорил старик и тут же закивал головой. — Guten Morgen, guten Morgen! ¹.

— Вы немец? А не чех разве? — упавшим голосом спросил Василий. — Где мы находимся?

— Ich verstehe nicht, — повторил старик.

Из зарослей вышел Назаров. Старик в повозке покосился на него, но теперь не испугался или пытался показать, что не испугался, — маленькие, тусклые глаза его все же подрагивали.

— Это... Ist das die Tschechoslowakei? ²

— Nein, Deutschland, — сказал он, ткнул кнутом сперва в одну сторону, потом в другую. — Da ist Breslau und da Prag ³.

Все было ясно: они спутали направление и шли совсем в противоположную сторону. И Василий, и Назаров несколько секунд стояли растерянные.

Старик поглядел по сторонам, потом спросил:

— Seid ihr russische Kriegsgefangene? ⁴

— Да, мы русские, — ответил Василий. — Не дашь ли чего поесть, отец? Эссен?

— Ja, ja ⁵, — кивнул старик, торопливо стал развязывать какую-то корзину. Он вынул отту-

да большую квадратную булку, настоящий хлеб, протянул.

Василий шагнул к повозке, взял. Руки у него при этом затряслись, от голодных спазмов в желудке возникла резь, а в глазах блеснули слезы. Немец заметил их, нахмурился, опять полез в корзину, вынул оттуда небольшой кусок сыра и лукавицы.

— Nehmen Sie. Ich habe sonst nichts! ¹.

— Спасибо. Danke, — сказал Василий.

— Ja, ja. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen ², — торопливо проговорил старик, дернул вожжами. Назаров и Василий, оба в грязных лагерных шинелях, из-под которых выглядывали полосатые брюки, стояли на дороге, провожали глазами двуколку. Немец остановил вдруг лошадей, пошарил на дне повозки, выбросил что-то на дорогу и взмахнул плетью.

Это оказались крестьянские залатанные штаны. Подобрал их, Назаров немедленно натянул их поверх лагерных, торопливо проговорил:

— Я говорил — встретим добрых людей. И еще встретим, переоденемся потихоньку. Давай немножко поедим!

— Черт его знает, что за старик, — сказал Василий. — А если он сейчас солдат сюда приведет?

— Не-ет. Зачем бы тогда штаны кинул? Нет.

Они присели у ручья, той же железкой, которой рыли подкоп под проволокой, отрезали по кусочку хлеба и сыра, поели.

— Ну что ж, Василий. Бреславль, Бреславль... В ту сторону теперь и пойдем, опять к Польше. От Бреславля Польша уже недалеко... Чует мое сердце — выберемся.

На всякий случай они все же отошли от ручья и от дороги на порядочное расстояние, в глухом овраге легли спать. И, уже лежа, Максим Назаров проговорил вдруг:

— Ты знаешь, Вася, если нас будут ловить, я живьем не дамся. Под пулю лучше. Я больше не могу переносить побои, не могу...

И вот тогда-то впервые шевельнулась у Василия неприязнь к Назарову. Точнее, какое-то беспокойство и досада. Но он ничего не сказал ему, подумал лишь, что в штанах, которые бросил им на дорогу старик-немец, Назарову теплее, и это хорошо: как-никак он недавно лишь оправился от ранения и, конечно, намного слабее сейчас его, Василия.

...За загородкой Климкера послышались громкие пьяные голоса, грохот падающего сту-

¹ Не понимаю. Доброе утро. Доброе утро.

² Это Чехословакия?

³ Нет, Германия. Там — Бреславль, там Прага.

⁴ Вы русские военнопленные?

⁵ Да, да.

¹ Возьмите. Больше ничего нет.

² Да, да... До свидания, до свидания.

ла. Потом Василий увидел, что дверь загородки распахнулась, оттуда вышел сперва Айзель, затем Назаров. Назаров не удержался на ногах, его мотнуло к Айзелю, тот чертыхнулся, толкнул Назарова от себя прочь, к вышедшему Климкеру. Староста блока подхватил его, иначе Назаров грохнулся бы на пол.

Айзель захохотал.

— Слаб ты еще, как эти... ангелы, — Айзель хлестнул плетью по ближайшим нарам, но никого, кажется, не задел, во всяком случае никто не проснулся. — А тебе сила нужна. Ешь больше.

— Спасибо, господин... господа, — пьяно промямлил Назаров.

Все трое ушли из блока, оставив дверь в загородку старосты открытой. Но Климкер тут же вернулся, захлопнул за собой дверь, потушил в каморке свет.

...Да, продолжал думать Василий, капитан Назаров тогда сказал правду — побой он переносить не мог. Через несколько дней, а вернее сказать ночей, они подошли к железнодорожной насыпи. И едва намерились перейти ее, как раздалось злое: «Хальт!» Возле насыпи был, оказывается, скрытый пост, которого они не заметили.

Били их жестоко там, возле насыпи, били по дороге, били в каком-то лагере, где собирали пойманных беглецов. Едва они теряли сознание, их обливали водой и снова били.

Когда и Василий, и Назаров готовы были отдать богу душу, их снова отправили в Ламсдорф.

С этого-то момента и начал Назаров меняться. В лагере их опять били за побег, они отсидели по месяцу в карцере, но и это все вынесли, раны от плетей стали потихоньку зарастать, синяки и кровоподтеки рассасывались. Но Назаров делался все более молчаливым, угрюмым, начал уединяться. Зимой сорок первого — сорок второго они строили из кирпича какие-то воинские казармы. Назаров старался работать где-нибудь в одиночку и почему-то на виду у немцев.

Когда его, Василия, в Ламсдорфе изодрали собаки, Назаров ничего не сказал, ни единого слова не проронил, лишь на глазах выступили слезы. Василий думал, что это слезы сочувствия, долго так думал. А после, уже тут, в Бухенвальде, понял: нет, эти слезы выступили у него тогда просто от страха перед той болью, которую снова мог испытать и он. И этот же страх, когда их перевели в следующий лагерь, в Галле, заставил его отказаться от нового побега. «Мы в самом центре Германии. Разве выберетесь?.. Если хочешь, иди один. Но не советую...» — говорил он, пряча глаза.

Да, с тех пор, после избиений в Ламсдорфе, он начал меняться, с грустью думал Василий. Хотя... Почему с тех пор? Не с тех, раньше! «Если нас будут ловить, я живым не дамся. Лучше под пулю!» Но ведь ничего такого не сделал, чтоб под пулю. Едва раздалось «Хальт!» — торопливо вскинул руки. Это признание ни с того ни с сего, так вот неожиданно вырваться не могло!

Василия вдруг затошнило. Так затошнило, что сознание помутилось, и последнее, что мелькнуло в мозгу, — сейчас вырвет, вывернет всего наружу, наизнанку. И это смерть, конец...

Очнулся Василий в небольшой комнате, где стояло еще несколько пустых железных кроватей. В узкое окно проникал желтый свет — значит, был уже день.

Потом Василий почувствовал, что пахнет карболкой, — значит, он находится в больничном бараке.

Василий прикрыл глаза и постарался забыть.

Неизвестно, сколько он так лежал. Открыл глаза, когда скрипнула дверь.

Вошел Никита Паровозников, с которым Василий встретился впервые в камере номер одиннадцать в Жешуве, разъединился в Кракове и снова встретился здесь, в Бухенвальде, в день прибытия и с тех пор его не видел.

— Ну, здравствуй, Вася Кружилин, — сказал Паровозников. На нем был серовато-белый халат, в таких работали все бухенвальдские врачи-заключенные.

— Здравствуйте! — Кружилин попытался приподняться.

— Лежи, лежи... Как себя чувствуешь?

— Ничего. В голову сильно бьет. Больно.

— Понятно, что больно.

Паровозников открыл жестяную коробку, вынул оттуда шприц.

— Давай руку!

— Как я здесь оказался?

— Губарев с одним товарищем тебя принесли. Ночью.

— А-а, Валя... Но заключенных штрафной роты запрещено лечить.

— Запрещено. Ничего, ничего, — сказал Паровозников. — Тебе нельзя говорить. Лежи спокойно! Поесть скоро принесут. Боли в голове должны пройти.

Сделав укол, Паровозников ушел. То ли от укола, то ли просто от добрых слов Паровозникова Василию стало легче, и он вспомнил, как он впервые встретился с ним здесь. Это был ужасный день, когда их выгрузили на станции Веймар и погнали сюда, в Бухенвальд.

Они стояли на отекавших, до костей истертых деревянными башмаками ногах, промокшие и

промерзшие насквозь. Капитан Назаров как уставился в землю потухшими глазами, так и не поднимал их, пока из скрипучих дверей здания не вышел тот же высокий эсэсовец с каким-то заключенным в полосатой одежде. На левой стороне его куртки, там, где сердце, был пришит какой-то зеленый треугольник, а в руках плеть.

В ту минуту ни Василий, ни кто-нибудь другой не удивились, что какой-то заключенный идет рядом с эсэсовским офицером. Раз в руках плеть — значит, староста или капо. В ту минуту они просто не знали, что это и есть уголовник-рецидивист Айзель, одно имя которого приводило всех в ужас.

Эсэсовец прошелся не спеша вдоль колонны, остановился и заговорил по-русски негромко:

— Сейчас вас подстригут, вы помоеетесь в бане, пройдете дезинфекцию, получите новую, бухенвальдскую форму и вас распределят по рабочим командам...

— Вася... товарищ капитан, давайте как-нибудь вместе, если удастся, — прошептал Губарев. — В одну команду. Я даже попрошу их...

Вспомнив это, Василий усмехнулся. Славный и благородный Валька! Он действительно попросил. Но если бы он знал в тот час, куда напрасился! Как же это было? Сперва им приказали тут же, под дождем, донага раздеться. И в лагерной-то одежде на заключенных, наверное, страшно было смотреть. Теперь в загоне стояли скелеты, чуть-чуть обтянутые синей от холода кожей. Мертвецы, толпой поднявшиеся из могил...

Василий и Назаров, скованные цепью, раздеться не могли, оба медлили, не зная, как им поступить.

Первым их в толпе раздетых людей заметил тот заключенный с зеленым треугольником на груди, подошел, плетью поднял подбородок Василия, затем Назарова, говоря при этом на ломаном русском языке:

— Как я рад... не представляете. Вас первых зачисляю в мою команду. У меня хорошо, очень хорошо. Не пожалееете.

И тут Назаров, впервые оторвав взгляд от земли, неожиданно произнес:

— И вы не пожалееете, господин...

— О-о! — воскликнул человек с зеленым треугольником. — Айзель моя фамилия. А ваша?

— Назаров, господин Айзель. Бывший капитан Красной Армии. Мы будем стараться.

Василий слушал и не верил, что это говорит Назаров. Капитан... бывший, как он сказал, капитан Максим Панкратович Назаров, его земляк. Не верил, кажется, и Губарев. Уже раздетый, он стоял и ошалело глядел на Назарова.

— Что рот раскрыл? — стегнул его зловещим голосом Айзель. — Фамилия? Воинское звание?

— Губарев. Старший лейтенант... Если возможно, я хотел бы... тоже в вашу команду.

— Похвально, — усмехнулся Айзель. — Это возможно, здесь все возможно. — И повернулся к Василию. — Ты кто?

— Лейтенант Кружилин, — ответил Василий. Так он значился теперь во всех арестантских документах.

— Бывший лейтенант.

— Почему же, — упрямо проговорил Василий, хотя понимал, что делать этого не следует. — Самый настоящий.

Айзель выслушал это, качнул квадратной головой.

— Люблю непокорных. Сколько побегов?

— Три, — сказал Василий. Скрывать было нечего, все значилось в документах.

— У тебя? — спросил Айзель у Назарова.

— Два. Но больше этого не будет. Я понял... что это безрассудно и не нужно.

Однако Айзель, не слушая его, ткнул плетью в Губарева.

— А у тебя, старший лейтенант?

— Ни одного.

Дождь все лил на голых людей. Часть заключенных наконец-то увели через широкие дощатые двери в торце здания.

Айзель еще раз осмотрел всех троих, усмехнулся черным, тоже каким-то квадратным ртом и сказал Валентину непонятные слова:

— Одну возможность для побега я тебе здесь устрою.

Затем Айзель отвел Назарова и Василия в угол загородки, где с них сняли цепи. Стоя в очереди перед широкими дверями, ведущими, кажется, в баню, стараясь не прикасаться к голому и холодному телу Назарова, Василий сказал, впервые назвав Назарова на «ты»:

— Зря я тебя спас там... под Перемышлем. И в Жешуве.

Назаров сильнее задышал при этих словах, выдавил из себя с хрипотой:

— За это я в расчете с тобой. В Галле, после побега твоего, вспомни, как дело было...

Говорил Назаров, не поднимая взгляда. Вздохнул и добавил:

— Я слабовольным оказался. Нет больше сил. Хотя я, подлец, и знаю, что это мне не поможет...

— Да, не поможет! Не поможет! — воскликнул зло Василий и закашлялся.

Валентин уныло стоял рядом, ничего не говорил.

Скоро передние двинулись, они все трое зашли в баню. Вернее, это был предбанник. Здесь парикмахеры в засаленных черных хала-

тах орудовали скрипучими машинками. Они ловко состригали лохмы волос с правой части головы, потом с левой, а в середине оставляли хохолок, который аккуратно подравнивали ножницами.

Василий встал с табурета, глянул на остриженных таким же образом Назарова и Губарева и беззвучно заплакал. Губарев понял эти слезы, тихо сказал:

— Черт с ними, Вася... Не это же самое страшное.

И все-таки в бане, с наслаждением плескаясь из жестяного таза горячей водой, Василий не мог смотреть на людей с хохолками, от ненависти и обиды в горле стоял комок. И он сказал здесь же Губареву:

— Да, не это... Но где же предел унижения человека?

Люди в мокрых подштанниках орали: «Шнель, шнель... к врачу. Медицинский осмотр».

Медосмотр проходил в соседнем, тоже сколоченном из досок здании. Голые люди, сразу по несколько человек, заходили в большую комнату, где врачи или санитары задавали узникам три-четыре вопроса, иногда щупали пульс и прикладывали стетоскоп к груди, что-то помечали в бумажках и отправляли прочь, в другую дверь.

— Бывший лагерный номер, фамилия? — спросил у Василия человек в халате, отдаленно напоминающем больничный, и приготовился записывать. — На что жалуетесь?

При первом же звуке голоса Василий вздрогнул, узнав его.

— Никита Гаврилович...

Человек в халате спокойно поднял лицо.

— Погодите... Боже мой! Кажется, Василий Кружилин?

— Я, — сказал Василий, довольный, что даже в таком виде Никита Гаврилович Паровозников узнал его.

Он, Паровозников, тоже был худ, глаза ввалившиеся, усталые. Как и все заключенные, он был острижен под машинку, и посередине головы у него, наверное, топорщился такой же хохолок, но его скрывала серовато-грязная шапочка.

— Вы, значит, теперь здесь, Никита Гаврилович?

— Тихо. — Паровозников покосился на сидящего в углу за огромным столом немца в белоснежном халате, из-под которого виден был мундир. В комнате стоял говор, шлепали по дощатому полу голыми ногами заключенные. — Да, я здесь... Давай я тебя послушаю. Немецкому врачу не к чему знать, что мы знакомы...

Он взял стетоскоп, принялся выслушивать Василия.

— Ваш транспорт из Галле... Есть ли кто в этом транспорте из наших... знакомых? Говори тихо!

— Никого... Только мы двое. Я да Назаров, капитан, — помните?

— Как же.

— И Валя Губарев с нами, хороший человек. Вон у того долговязого врача стоит.

Но Паровозников даже не посмотрел в ту сторону, куда кивнул Василий. Лишь сказал:

— Привет от меня передай капитану Назарову.

Василий хотел сказать, что капитан Назаров дерьмом человеческим оказался, но вместо этого спросил:

— Почему... стригут здесь так, Никита Гаврилович?

— Такая мода в Бухенвальде. Ничего, привыкнешь. Здесь еще не то увидишь.

— Да я навидался.

Осматривая его глубокие рубцы на спине, на плечах, на ягодицах, Паровозников лишь пошевелил бровями.

— Это чувствуется...

Немец в халате встал из-за своего стола, поскрипывая до блеска начищенными сапогами, прошел в дальний угол комнаты.

— Не трясись, идиот! — прикрикнул Паровозников, когда немец проходил мимо. — Прости... Бегал, значит?

— Трижды. Все неудачно. И отсюда... вот отлежусь.

— Не советую...

— Ну, это мое дело.

Они говорили полушепотом, быстро, отрывисто. Весь этот разговор занял у них не более двух минут.

Немец, скрипя сапогами, опять прошел мимо, дошел до своего стола, повернул назад. Он просто разминал, видимо, ноги. Проходя мимо Паровозникова и Василия, покосился на них, но ничего не сказал.

— Ладно, Василий, об этом мы еще поговорим. Время истекло, на врачебный осмотр положено три минуты... Я запишу тебе... некоторые болезни, попытаюсь кое с кем поговорить, чтобы вас троих зачислили в одну команду, где полегче. Хотя тут в любой — суций ад.

— Нас уже зачислил к себе какой-то Айзель.

При этих словах Паровозников, склонившийся было над своим столиком, резко обернулся.

— Что-о? Как! — воскликнул он, бледнея. И тут же бросил испуганный взгляд на немца в халате. Тот, к счастью, находился в дальнем конце комнаты. — Боже!

— А что? — спросил Василий. — Я, говорю, всего навидался, хуже уж нигде не будет.

— Да, да... — как-то задавленно, беспо-

мощно прошептал Паровозников. — Иди, Вася, в эту дверь. Прощай...

Тогда Василий еще не знал, почему Паровозников произнес это таким голосом, отчего побледнел.

В какой-то клетушке им выдали куртки, брюки, берет, деревянные башмаки. Одежда была такой же полосатой, как везде. Лишь на куртках и брюках были нашиты красные треугольники с красным же кружочком под острым нижним концом. Что это означает, объяснил Айзель, выстроивший их вдоль колючей проволоки.

— Слушать внимательно, ангелочки... Каждый из вас должен гордиться, что носит теперь такую нашивку. Это знак нашей команды. Мы будем трудиться в каменоломне. Эта работа требует больших умственных способностей — ведь придется долбить камень, дробить его, грузить в вагонетки, возить на стройки. Машин и лошадей нет. Но тут неподалеку.

Айзель говорил это добрым, даже ласковым голосом. Говоря, постукивал сложенной плетью в ладонь левой руки.

Оглядев заключенных бесцветными глазами, в которых проблескивало что-то напоподобие улыбки, он продолжал:

— Лагерь этот дерьмо, дисциплины и порядка в нем нет. Дисциплина и порядок только в моей команде. А чтобы вы, ангелочки, не испортились, мы исключили всякую возможность общения с другими заключенными. Жить мы будем в отдельном бараке, умирать или в нем же, или в каменоломне, или по дороге из нее в барак. В мою команду отбираются только здоровые люди. Но самый крепкий обычно больше трех месяцев у меня не выдержит.

Айзель этот еще что-то говорил, но Василий голоса его больше не слышал. Перед ним стояло побледневшее лицо Паровозникова, узнавшего, что они — Василий, Губарев и Назаров — уже зачислены в команду Айзеля, под черепом стало холодеть, холодеть, пока все там не онемело окончательно...

— Айзель говорил — больше трех месяцев в каменоломне никто не выдерживает. А я вот и Валька Губарев... уже пошел четвертый месяц. Четвертый!

— Успокойся, — сказал Паровозников.

Была глухая ночь, они сидели в небольшой комнатке, где Паровозников принимал днем больных заключенных. На его рабочем столике, пропахшем, как все вокруг, карболкой, стояли два стакана крепкого чая, на щербатой тарелке лежали кусочки сахара, несколько ломтей белого хлеба, а на другой — настоящее сливочное масло.

— Ешь, Василий! Тебе надо силенки подкопить.

— Откуда же... такие продукты?

— Из офицерской столовой... Не думай только, что всегда я так питаюсь. В основном подкармливаю вот таких, как ты. Повару одному там стыдную болезнь подлечиваю. Скрывает от своих, подлец... Ну, иногда он из благодарности проявляет щедрость.

— Погодите, Никита Гаврилович... Если откроется, что у повара эта болезнь, а вы... знали и даже... Это же смертельно!

— Что ж мне, в Назарова превратиться? — сухо спросил Паровозников. — А смертельно... Тут везде смертельно.

— Никита Гаврилович! — воскликнул Василий и, не в силах сдерживать хлынувшие слезы, по-мальчишески уткнулся в его острые, жесткие колени худой головой. Длинная, тощая шея его вытянулась. Паровозников погладил ее рукой.

— Ну, сынок. Ничего...

— У меня такое чувство — нигде на всем свете будто не осталось добрых людей.

— Зачем? Есть. И тут их немало.

— Не-ет, — отрицательно мотнул головой Василий, разгибаясь. — Где же они? Вы только...

— Есть, есть. Вот кто-то же тебя из штрафного барака принес сюда.

— Валька же.

— Ну, не один Валька. Что он один мог сделать? Тебе-то можно сказать: в лагере действует подпольная коммунистическая организация.

— Да вы что?! Как же это?

— Действует, Вася. Существует антифашистское сопротивление. Ваша штрафная рота отрезана от лагеря. Но и туда мы сумели проникнуть. Валентин Губарев оказался настоящим человеком.

— Валентин! — Василий поднялся. — А я... Мне вы не верите, значит?

— Спокойно, Кружилин, — строго проговорил Паровозников. — Спокойно.

В комнате горела электрическая лампочка, но, чтобы наружу свет не проникал, единственное окошко было плотно, в несколько слоев, завешено больничными одеялами. Паровозников встал, подошел к окну, подправил одеяла, хотя в этом не было надобности, и в третий раз проговорил:

— Спокойно, Вася. Не все так просто, как тебе может показаться... А тем более в вашей каменоломне. Малейшая неосторожность — и гибель многих людей... Не тебя мы опасались, а Назарова, твоего землячка. Расскажи-ка лучше о нем! Как это он докатился?

— Как? Боюсь, объяснял, побоев. Сволота. Я его задушу вот этими руками.

— Остынь. Концлагеря горячих не любят. Накопи сперва силы в руках. Рассказывай!

— Что тут говорить? Да и противно...

...В первые же дни заключенные, прибывшие из Галле, поняли, что такое бухенвальдская каменоломня. Рабочих поднимали на расвете. После переклички, едва позволив проглотить то, что называлось завтраком, узников заставляли разобрать «спортивные», как их называли здесь, камни, принесенные вчерашним вечером из каменоломни, и гнали на работу. Двенадцать часов, всего с одним получасовым перерывом, заключенные долбили камень, дробили его кувалдами. Осколки летели в разные стороны, кровенили руки, грудь, лицо, впивались в глаза — защитить их было нечем, никаких защитных очков не полагалось, при ударе узники просто поплотнее смыкали веки. Тех, у кого пораненный глаз вытекал, Айзель или командофюрер Хинкельман обычно переводили в так называемую гужевою колонну, объявляя при этом примерно следующее: «Вы пострадали из-за своего усердия и заслуживаете поощрения и прекрасного питания. Там вы отдохнете».

Кормили в «гужевой колонне» действительно лучше, давали даже иногда по тонкому ломтю колбасы или сыра, на целый литр больше жидкой похлебки. Но перевод туда был уже приговором к смерти. Груженная камнем или щебнем вагонетка весила около двадцати центнеров, ее надо было втаскивать по крутому полукилометровому уклону наверх. В каждую вагонетку впрягалось человек около тридцати. И часто обессиленные люди не могли ее удерживать, вагонетка катилась вниз, раздавливая «гужевикув». Уцелевшие могли сами себе выбрать любое из двух наказаний: порка на козле — пятьдесят палочных ударов по обнаженным ягодицам или «побег» — выбратья из каменоломни и во весь рост пойти на цепь охранных постов. И то и другое наказание кончалось одинаково. Но люди обычно выбирали второе — разрывную пулю в голову. Охранники стреляли только по головам, смерть наступала мгновенно.

На цепь охранных постов гоняли не только «гужевикув». Любого заключенного, от которого по каким-то соображениям, известным лишь Айзелю и Хинкельману, надо было побыстрее избавиться, они пускали «в оборот». Обреченного заставляли голыми руками грузить в вагонетки щебень, ходить по каменоломне только босиком или только на четвереньках, пить собственную мочу. Этого последнего истязания почти никто не мог выполнить, и Айзель великодушно заменял его другим — предлагал пить воду с накрошенным туда табаком. Мучая

до безумия несчастного, он постоянно давал один и тот же совет: «Беги из этого ада, парень... Я предоставляю тебе возможность бежать. Одну-единственную возможность». И заключенный, чтобы прекратить свои мучения, рано или поздно бежал на цепь охранников.

Капо Айзель, любой бригадир, любой эсэсовец мог столкнуться заключенного с уступа каменоломни вниз. Мог просто захлестать плетью...

Все это мог, разумеется, и командофюрер Хинкельман. Но он не любил убивать людей сам. Его любимым развлечением было загнать человека на дерево. «Ты обезьяна, — объяснял он, — покачайся на ветвях».

Если человек раскачивался на дереве недостаточно сильно, Хинкельман вытаскивал пистолет и целился, грозя выстрелить... Несчастный раскачивался до тех пор, пока не обессилевал и не срывался вниз, разбиваясь большей частью насмерть.

Василий, когда однажды Хинкельман загнал его на дерево, тоже сорвался в конце концов вниз, но не разбился, не поломал даже ни руки, ни ноги. Он только сильно разбил плечо, вскочил на ноги, невольно потер ушибленное место. «Больно?» — спросил Хинкельман, кое-как владевший русским языком. «Никак нет, господин командофюрер, не больно, — ответил со злостью Василий, сознательно выговорив последнее слово с таким же акцентом. — Чешется немного». — «О-о, шешет, да, да», — промычал пьяный Хинкельман, о чем-то размышляя.

Василий ответил зло и дерзко, будучи уверенным, что теперь-то уж ему терять нечего. Упавших с дерева Хинкельман обычно отправлял в похожее на конюшню здание, где «обезьяну» убивали выстрелом в затылок. Об этом знали все рабочие штафной роты, Айзель всем это не раз объяснял с удовольствием, сожалея, что сам он не имеет права отправлять людей в это здание и ему приходится «изобретать другие способы». Но эсэсовец в тот день был, видимо, действительно в хорошем настроении. Час назад, проходя по каменоломне, он услышал смех Василия и, пораженный, остановился. «Вы... есть смеетесь? — спросил он, широко раскрыв пьяные глаза. Василий, вытянувшись, ничего не отвечал. — У меня тоже есть хороший настроений... Пошли». И потом, поразвлекавшись, отвел Василия обратно в каменоломню, сказал Айзелю: «Он есть образец для этот скот. Он есть смеется и улыбайся. Спортивный камень давай ему побольше. Для пример этот скот».

Впрочем, стреляли в заключенных и конвоиры каменоломни. Любой из них мог подойти к любому рабочему, сорвать с него шапку, от-

бросить ее на несколько метров в сторону и приказать принести обратно. В тот момент, когда узник шел за шапкой, и раздавалась короткая автоматная очередь. За убийство заключенного «при попытке к бегству» эсэсовские конвоиры получали отпуск или премию.

Назаров, кажется, с того самого дня, когда заверил Айзеля, что тот не пожалеет, если возьмет их в свою команду, не проронил ни одного слова. Он молчал, и Василий с Губаревым молчали. Вместе ходили на работу, вместе терпели все невыносимые мучения, вместе, рядом, спали — и все это молча, даже словом не перемолвившись с ним. Стена отчуждения становилась между ними все толще, все глуше. Как-то, нагружая камнем вагонетки, Василий, видя, что Назаров изнемогает, зло и мстительно усмехнулся:

— А вы, Максим Панкратович, постарайтесь работать, как Айзелю обещали. А то он разочаруется в вас.

Ни бригадира, ни охранников поблизости не было, Назаров и вовсе прекратил работу, отвернулся и некоторое время постоял так, опершись на лопату. А потом сказал негромко и ядовито:

— Я — ладно. Кто же знал, что это за команда... Меня, как и тебя, зачислили в нее за побег. А Губарев вот сам напросился.

— Он думал, что вместе с порядочными людьми будет... — ответил Василий. — А ты сукой оказался. Но Айзель так и не оценил твоего сучьего нутра. Лишь «спортивный» камень выделил тебе поувесистей, чем другим.

— Вася, — жалобно, просяще повернулся к нему Назаров.

Василий в ответ только зло хохотнул.

В тот день было жарко, солнце палило немилосердно, капо, вытерев грязным платком с квадратного лица обильный пот, скрылся в дощатой будке. А Назаров, помедлив, проговорил с нескрываемым теперь вызовом:

— Не оценил нутра, так оценил еще, кажется...

Василий после всего пережитого ответить Назарову ничего не мог, прислонился к накаленной солнцем вагонетке и стоял, отдыхая...

Так они жили, если это возможно назвать жизнью, неделю за неделей, месяц за месяцем. Во время получасового перерыва ни есть, ни пить не полагалось, поздно вечером, взвалив на плечи «спортивные» камни, тащились в казарму, на ночь проваливались в забытие, а каждое утро ад начинался сначала...

Айзель действительно ничем не выделял Назарова ни до того случая с Василием, ни после. «Спортивный» камень Назарова таскал теперь Василий, но и новый камень, выделенный Назарову Айзелем, был не легче. Указы-

вая на этот камень, Айзель даже спросил с ухмылкой: «Не слишком ли он велик, господин капитан?» — «Ничего», — ответил Назаров.

В Бухенвальде наказание заключенных — порка на козле плетью или бамбуковыми палками, подвешивание на столбе — производилось обычно на плацу во время общих перекличек. Экзекуции такого рода рабочих штрафной роты совершались прямо в каменоломне. Для этого туда приглашался зловецкий Мартин Зоммер, палач Бухенвальда, начальник лагерного карцера. Невысокого роста, круглоглазый и молчаливый, он и дело свое делал молча, несуетливо и гордился тем, что несколькими особыми ударами плетью, не разрывая кожи, расплющивал, разбивал человеку печеньку. Больше тридцати его молчаливых ударов по обнаженным ягодицам никто не выдерживал. Согласно инструкции, разработанной Отделом Д главного административно-хозяйственного управления СС, любому провинившемуся узнику можно было назначать до пятидесяти палочных ударов. Но, учитывая способности Зоммера, заключенных Бухенвальда, как правило, наказывали двадцатью пятью ударами. Но и это количество для большинства было смертельным. Лишь провинившимся рабочим каменоломни неизменно назначали пятьдесят.

Порка происходила во время дневного перерыва или после окончания работы. Всех страивали кругом козла — невысокого деревянного стола, обреченный ложился на него животом, спустив предварительно штаны, голова и ноги зажимались специальными зажимами, и Зоммер приступал к делу. После первого десятка ударов ягодицы заключенного превращались в кровавые лохмотья, а вскоре Зоммер обычно отбрасывал палку. Он безошибочно угадывал, когда узник испытал последний вздох, оставшиеся удары наносить было бессмысленно, Зоммер не любил делать бесполезную работу.

Во время подобных экзекуций Назаров старался на козел не смотреть, стоял, опустив голову, от свиста палки или плети, от криков и стонов узника у него холодели внутренности, похудевшие, одрябшие щеки становились черными и твердыми, как тот камень, который они долбили.

Недели две назад всю штрафную роту, как бывало много раз, выстроили вокруг козла, явился для своего дела Мартин Зоммер. Длинный летний день подходил к концу, окна трехэтажных кирпичных казарм для эсэсовских охранников, видневшиеся из каменоломни, медно горели от заходящего солнца.

Окна эти еще не потухли, когда Зоммер дело свое сделал и, вспотевший, отбросил пал-

ку в сторону. Наказывали какого-то молодого парня за то, что ночью он вышел из барака помочиться, что строжайше запрещалось. Парень выдержал сорок два удара, чего никогда еще здесь не бывало.

— Поразительно! — сказал Зоммер, отдуваясь. — Никто никогда еще столько моих ударов не выдерживал. Этот русский был словно из железа.

Труп меж тем поволокли в крематорий.

— Рано или поздно все там будете, — кивнул Айзель на квадратную трубу, из которой день и ночь шел зловещий дым. И повернулся к заключенным: — Этот сопляк... В запасе у него было еще восемь ударов. При необходимости господин Зоммер добавил бы. Он же... хе-хе... мог сбиться со счета. Вы хотите устоять против великой германской армии? Стадо овец никогда не одолеет даже одного волка!

Кончив эту короткую и эмоциональную политическую речь, Айзель сплюнул в сторону, прошелся вдоль колоды, начал тыкать пальцем в заключенных:

— Ты, ты... — Айзель хотел было ткнуть в Назарова, но передумал почему-то, ткнул в его соседа: — И ты, рыжий... Выйти из строя!

Трое заключенных сделали вперед по четыре шага.

— Шагом марш... в сорок шестой блок!

Колонна узников молчала. По ней словно прошел электрический разряд, окончательно убив в каждом и без того еле теплившуюся жизнь. В блоке № 46, зловещая молва о котором ходила по всему Бухенвальду, производились медицинские эксперименты над людьми.

— Боже мой... боже мой... — прошептал одеревеневшими губами Назаров.

Василий, стоявший сзади него, понял это бормотание, чуть наклонился, безжалостно шепнул ему в ухо:

— Не сожалей. В следующий раз Айзель и в тебя ткнет, не обойдет...

И, как бы в подтверждение этих, слов, капо произнес:

— Очнитесь, скоты. Согласно инструкции, из штрафной команды всегда будет поставляться в блок номер сорок шесть человеческий материал. Пора привыкнуть к мысли, что каждый из вас может в любое время стать кроликом... Я говорю это открыто, потому что живым отсюда никто из вас не уйдет. Кроме тех, конечно, кто сделает Германии кое-какие услуги. Но те и сами будут молчать... Номер 42315, четыре шага вперед!

Назаров не сразу сообразил, что это его номер. А когда наконец до него дошло, он покачнулся, но с места не тронулся. И только после повторного приказа, волоча ноги, поплелся

из колонны. Левая колодка у него с ноги слетела, но он этого не почувствовал.

Айзель крикнул:

— Эй, кто там, подайте ему колодку... А впрочем, не надо. Она ему уже не понадобится.

Измученные длинным до бесконечности каторжным днем, все узники стояли молча. Им не в диковинку были все эти истязания и издевательства Айзеля, который мог сейчас с заключенным 42315, как и с любым из них, сделать все что угодно. И заключенные, лишённые возможности помешать Айзелю, просто стояли и ждали, чтобы это поскорее чем-нибудь кончилось и их отвели в барак. Каждый понимал: слова Айзеля, что колодки этому узнику больше не понадобятся, означали окончательный и жуткий приговор.

Лишь у Василия да, пожалуй, у Губарева в уставшем мозгу тупо ворочалось: приговор, но жуткий ли? Боясь выдать себя каким-либо движением, они стояли неподалеку друг от друга, смотрели на сытого, медлительного капо и на Назарова, покорно опустившего перед ним худые плечи, на которых болталась грязная, измятая полосатая лагерная куртка. Губарев смотрел с каким-то удивленным испугом, Василий — с презрительным, даже злым выражением лица, исподлобья.

Айзель же меж тем помедлил и принялся не спеша ходить перед беспомощным и покорным узником, оглядывая его со всех сторон, чему-то усмехаясь.

Наконец он грубо ткнул плетью в подбородок Назарова, приподнимая ему голову, и прошипел:

— Н-ну-с... Я заметил, вы, господин Назаров, во время наказаний провинившихся отводите глаза. Не нравится?

— Я... не могу, — еле слышно произнес Назаров. — Не могу видеть и слышать...

— Я это понял, — сказал Айзель. — Я все понимаю и все вижу. Я не забыл также ваших слов тогда, в санитарном блоке, в день прибытия вашего транспорта. Вы говорили, кажется, что я не пожалею, если возьму вас в свою команду?

— Да, я это говорил, — еще тише произнес Назаров.

— Что? Громче! Громче, скотина! — и Айзель вытянул Назарова плетью. — Повтори, чтоб все слышали!

— Я это... говорил, — отчетливо произнес Назаров, вытягиваясь.

— Вот так, — остался довольным Айзель, сложил плетью. — И я не жалею, господин Назаров. Вы хорошо работаете. А тем, который был прикован к вам цепью, я недоволен. И тем, который напросился ко мне в команду... И они оба это чувствуют.

Василий и Губарев поняли, что капо говорит о них. И оба сознавали, что если это пока не приговор, то вскоре он последует.

— Из всех русских свиней вы здесь единственный не потеряли человеческий облик, — сказал Айзель Назарову. — И я обязан отметить это и поощрить вас...

Все эти слова ничего еще не значили. Более того, они могли иметь совсем противоположный смысл. Айзель под видом поощрения мог, например, заставить съесть большой круг жирной колбасы, что для голодного человека было смертельно, или придумать что-нибудь другое с тем же исходом.

Но, сказав все это, капо принялся не спеша ходить перед Назаровым, оглядывая его со всех сторон и при этом странно усмехаясь: толстые губы его дергались, а на лице никакой улыбки не было.

Колонна теперь, кажется, не дышала.

— Я назначаю вас бригадиром, Назаров. Марш в контору переодеваться.

Через некоторое время дверь открылась, первым показался капо, а за ним Назаров. Он был в той же полосатой одежде, лишь на плечи была накинута старая куртка из грубой материи. В этом и заключалось все переодевание. Да в правой руке он неумело еще держал плетъ, точно такую же, как у Айзеля...

— Вот так оно случилось... — сказал Василий, закончив невеселый рассказ, изложив только самую суть. Да подробностей Паровозникову и не требовалось. — Подлец!

— Не надо, Василий, так... с такой злостью, — проговорил Паровозников.

Кружилин тяжело задышал от гнева.

— Вы... оправдываете эту... мразь?!

— Сядь! — Паровозников покосился на занавешенное окно, сбавил голос. — Сядь... Я его не оправдываю. Какое ему оправдание! Но быт и нравы Бухенвальда ты сам знаешь. Особенно там у вас, в каменоломне. Об этом надо всегда помнить... и обо всем судить всегда спокойно, без эмоций. И осуждать — без эмоций. Я врач, я тут давно... И я знаю — тут еще не такое бывает. Ох, Василий, что тут бывает!

— Я бы лучше... Пусть лучше смерть!

— Люди-то, Вася, разные, — голос Паровозникова был теперь негромким и мягким. — Ты бы — да, я это знаю. Другие смерти боятся. И этот ад выдержать не могут. Мы это должны понимать. Чтобы как-то помочь самым стойким и сильным вынести этот ад, выжить. Только это не так часто, не всегда удается. — И тут голос Паровозникова дрогнул. — Губарев... я должен тебе сказать...

Бледнея, Василий начал подниматься. Он находился в лазарете уже вторую неделю, начал физически ощущать, как крепнут у него руки и ноги, но сейчас сил не хватило даже, чтобы встать во весь рост, — он мешком плюхнулся обратно на стул.

— Что? Что?

— Нет больше Вали Губарева. Айзель погнал его вчера на пост охранников...

В голове Василия больно рвануло, загудело. Словно откуда-то издалека донеслись слова Паровозникова:

— И это известие надо принять спокойно, спасти его было невозможно. И спокойно делать то, что нужно... И что можно.

Паровозников мог рассказать Василию кое-какие подробности и причины скорой гибели Валентина. Айзель каким-то образом догадывался или подозревал, что Кружилин, номер 42316, исчез с помощью Губарева. Куда и как исчез — он не знал. Но попытался навести справки о поступивших в ту ночь в лазарет. Об этом сказал Паровозникову один из санитаров, верный и преданный человек. Айзель так ничего и не узнал, поэтому решил покончить с Губаревым.

Но, видя состояние Василия, говорить обо всем этом Никита Гаврилович ничего не стал.

— Свое обещание он выполнил, — прошептал Василий. — Он ему пообещал: «Одну возможность для побега я тебе здесь устрою...» И вот — выполнил. Я понимаю теперь — надо спокойнее... — по-мальчишески вытирая рукавом слезы, сказал Василий. — Но ответьте, объясните... Я давно заметил — во всех лагерях, повсюду самое зверское обращение с нами, с русскими! Самые страшные пытки — нам! Самые страшные издевательства — нам...

— Потому что мы русские, Вася, советские, — сказал Паровозников спокойно. — А все советское ассоциируется у них со словом русский. Они, фашисты... да и не только одни фашисты, хотят нас истребить поголовно. За то, что мы осмелились жить и живем по человеческим законам. И показываем в этом пример другим. За революцию семнадцатого года. Они не могут справиться с ней. Они рассчитывают уничтожить ее... и память о ней на земле, если уничтожат нас физически всех до последнего...

— Там, в Жешуве, конопатый эсэсовец обещал, что уничтожат не всех, — с горечью усмехнулся Василий. — Помните?

— Правильно, а остальных они хотят превратить в рабов. Я помню. Причем в рабов бессловесных и покорных. Они рассчитывают остальных стерилизовать, чтобы не было потомства. Потушить мозг, чтобы и проблеска сознания не возникало...

— И это... такое возможно?! — едва пошевелил губами Василий.

— Если ты имеешь в виду медицинскую сторону — возможно. Я врач, я это знаю... Они давно делают различные чудовищные опыты над людьми. И здесь, в Бухенвальде, и в других лагерях. Но, Вася, чудовищным этим планам сбыться не суждено. Они прольют море крови и уничтожат миллионы людей. Не только русских. Но с разумом человеческим им не справиться, не одолеть его. Жизнь не остановит. Живое вечно стремится к жизни. Они сами погибнут. И только бесконечное проклятье будет витать над их тенями. А жертвы их приобретут вечное бессмертие.

Паровозников говорил это теперь сидя, расматривая свои длинные, сильные пальцы.

— Вот Губарев Валентин, скажем, — продолжал Никита Гаврилович тем же ровным и спокойным голосом. — Физически они его уничтожили. А духовно? Ведь он с самого начала отчетливо сознавал, что, отправляя тебя к нам, сюда, обрекает себя на смерть...

— Он это... знал?! — прошептал Василий.

— Конечно. Не за Назарова же братья Айзелью после твоего исчезновения... Знал. Но пошел на это. И ты, если останешься жив, не забывай этого никогда...

Василий, потрясенный, молчал.

— Он это знал, — повторил Паровозников. — Но им никогда не понять, почему он пошел на это, что его заставило на такое решиться. Им не понять духовную природу русских... Вот почему их людоедские планы обречены на провал, а сами они все мертвецы. Живые пока мертвецы.

Никита Гаврилович умолк и молчал довольно долго. Затем вздохнул, откинулся устало на спинку стула.

— Ладно, Василий, довольно об этом... Подумаем, что дальше нам делать.

— А дальше что? — ответил Кружилин невесело. — Они прольют море крови, уничтожат миллионы людей. Я вот, как и Валька Губарев, буду в числе этих миллионов. Назаров — не будет.

— Возможно, и так, — чуть нахмурился Паровозников, будто недовольный унылым голосом Кружилина. — Если возвратишься в каменоломню, Назаров, как я понимаю, попытается от тебя побыстрее избавиться. Твое присутствие рядом будет ему с каждым днем невыносимее.

— Пока он даже... даже послабления кое-какие мне и Вальке делал.

— Да, это пока, — вполголоса проговорил Паровозников. — Пока это он просто от неловкости... Да что я говорю о Назарове? Айзель тебя из списка своей команды исключил,

конечно. «При попытке к бегству», «при попытке покушения» — здесь много различных формулировок. Вернешься — он это все организует задним числом... — Голос Паровозникова окреп. — Значит, так, Василий. И слушай меня, не перебивая. Я мог бы выписать тебя отсюда под другим номером вместо любого умершего у нас заключенного и направить с помощью друзей в какую-нибудь другую команду. Но в лагере находиться тебе опасно. Это смертельно. Если случайно увидит и опознает тот же Айзель? Или Хинкельман? Значит, есть только единственный выход — отправить тебя с транспортом в какую-нибудь внешнюю команду Бухенвальда. Их вокруг Веймара сотни полторы. Подкормлю вот тебя еще немного, попрошу кое-кого подобрать более или менее спокойную команду. Хотя, конечно, везде... Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Неужели... Неужели это возможно? — спросил Василий вместо ответа, стараясь сдерживать опять проступающие слезы. — Чтобы отсюда... из этого ада, хоть куда...

— Видишь ли, Вася... Если делать дела спокойно, без эмоций, то кое-что иногда нам удается, — негромко ответил Никита Гаврилович Паровозников.

Смерть валила людей на фронте каждый день и каждую ночь, каждый час, каждую минуту и секунду. Она валила их без разбору — пожилых и молодых, солдат и командиров, мужчин и женщин, взмахивала косою широко и безжалостно, и это было понятно — война.

Умиряли люди и в тылу. Кто в свой положенный срок, отшагав по земле его полностью, а кто и до срока в силу болезней и недугов, которые, может, и не пришли бы столь рано, не будь этой или прошлых войн, будь бы жизнь на земле вообще поспокойней, поуютней, поласковей, или в силу других обстоятельств, вызванных той же войной, тем же суровым временем. И это тоже было понятно.

Понятно, но от этого не было легче. В любом месте, в любое время смерть есть смерть. Это порог, за которым уже ничего нет, — там бесконечная пустота и вечный мрак.

Так думал Поликарп Матвеевич Кружилин, шагая за гробом Елизаветы Никандровны Савельевой, умершей неожиданно, прямо в библиотеке, где она проработала всего несколько недель.

Хоронили ее в сквере Павших борцов революции, в одной могиле с мужем, с Антоном Савельевым, — так распорядился он, Кружилин. Когда раскопали могилу, гроб Антона был еще новым, свежим, даже красная материя, которой

он был обтянут, не сгнила, лишь кое-где повалась под грузом земли.

Глядя, как снова зарывают могилу, Поликарп Матвеевич вспоминал, что несколько дней назад, когда сын ее, Юрий, наконец-то уезжал на фронт, Елизавета Никандровна была весела и полна радости, она так и говорила, уронив седую голову сыну на грудь: «Я так рада, Юрочка, что ты отправляешься на фронт, так рада!» Любому ее слова показались бы кощунственными, но Кружилин, знавший историю ее отношений с сыном, чувствовал в душе облегчение. И сам Юрий, кажется, тоже чувствовал облегчение, он тоже говорил: «И я, мамочка, рад. За меня не волнуйся, все будет хорошо... Ты береги себя, береги! Я вернусь, и мы с тобой прекрасно будем жить...» Говорил и все нетерпеливо высматривал кого-то в толпе. Кружилин ломал голову — «кого же?» — и нахмурился, когда показалась секретарша Нечаева Наталья Миронова и Юрий прямо весь расцвел. «Это еще что такое?!» — подумал он с досадой и удивлением. Однако Наташа попрощалась с Юрием сдержанно, и это Кружилина успокоило.

Хоронили Елизавету Никандровну скромно, в присутствии небольшого количества людей — жила она тихо и незаметно, почти никто ее в Шантаре не знал. Вокруг могилы в безмолвии стояли Нечаев, Савчук, Хохлов, Наташа, шустрый мужичок Малыгин, который полгода назад вернулся по ранению с фронта и опять занял свою хлопотливую должность заведующего райкомхозом. Сейчас он и руководил похоронами. Пекло солнце, все были одеты легко, лишь на директоре завода был толстый суконный пиджак, однако, несмотря на это, он поевживался, его знобило. Глядя на его острые плечи, на сутулую, выгнувшуюся горбом спину, Кружилин уныло думал, что Федор Федорович долго не протянет и каждый день надо быть готовым к самому худшему.

«Быть готовым к худшему...» Поликарп Матвеевич невесело усмехнулся — это можно произнести словами. Но каково постоянно жить в таком состоянии? А он, Поликарп Матвеевич, жил давно, неизвестно даже сколько лет, кажется — всегда, другого какого-то времени буд-то и не было. Ежедневно, если не ежечасно, в районе что-нибудь из этого худшего случалось, ему звонили или сообщали другим способом, и он обязан был принимать меры.

На похороны Елизаветы Никандровны пришла и жена Полипова, чему Кружилин несколько удивился. Со времени отъезда мужа в армию она работала заведующей районной библиотекой. Когда Кружилин после разговора с женой Антона позвонил в библиотеку и попросил принять Елизавету Никандровну на работу, Полипова резко и торопливо ответила:

«Нет!» — «То есть как это — нет?! Почему — нет? — сурово спросил Кружилин, которого рассердила эта торопливость. — Ну что вы там молчите?» А Полипова действительно молчала, лишь часто и шумно дышала в трубку. Потом так же резко произнесла: «Ну хорошо...»

Три дня назад эта же Полина Сергеевна Полипова сообщила ему о смерти Елизаветы Никандровны: «Она умерла! Боже мой, она же умерла, я говорила, я не хотела...» — беспорядочно кричала она в трубку. «Кто, кто умер?!» — роняя стул, вскочил он, хотя уже понял, о ком идет речь. «Савельева ваша... Прямо здесь, в библиотеке! Боже мой, скорее приезжайте...»

И вот она пришла на похороны, стояла возле Малыгина, с которым, кажется, и в самом деле сожительствовала (на это еще весной приходила жаловаться в райисполком жена Малыгина, но сам Малыгин и Полипова это категорически отрицали), тревожно и как-то испуганно глядела на опускаемый в могилу гроб. «Я говорила... Я не хотела... Савельева ваша...» — навязчиво держались в голове Поликарпа Матвеевича недавние слова этой женщины. Было ясно, что они вырвались у нее помимо воли, под воздействием случившегося. Но что они означали, что за ними крылось? Почему Елизавета Никандровна захотела работать именно в библиотеке? Не потому ли, что она надеялась там добыть какие-то доказательства бывшей провокаторской деятельности Полипова Петра Петровича, в которой была уверена? Ведь эта Полина Сергеевна, жена Полипова, как недавно говорил Субботин, дочь какого-то бывшего матерого контрреволюционера. Елизавета Никандровна клятвенно убеждала, что добудет их, докажет, кто выдавал всегда царской охранке ее мужа, ее Антона, и вот...

Все это мешалось и путалось в голове, думать об этом и не хотелось бы, да само собой думалось. Жизнь такова, что темное прошлое не всегда исчезает бесследно во мраке годов, большей частью всплывает неожиданно.

Об этом же думал Поликарп Матвеевич, молчаливо шагая с похорон, и еще о сотнях больших и малых дел: как идет вывозка с Громотухи древесины, которую недавно, без всяких, к счастью, потерь, приплавил Филат Филатыч; что же будет с районом при нынешнем неурожаете; чем зимой кормить колхозный скот — травы, считай, выгорели начисто; как побыстрее без потерь собрать картошку, которая тоже выйдет, кажется, скудной; думал о хилом здоровье Нечаева, Назарова...

Не думал он лишь о себе. На свое здоровье он не жаловался, хотя уставал теперь за рабочий день смертельно, в постель валился без памяти, часто жена силой укладывала его

отдохнуть и среди дня, и он, сопротивляясь, чувствовал, что это надо. Вот и теперь, шагая от сквера Павших борцов революции, он покачивался от усталости, голова была как чугунная. И потому, подойдя уже к райкому, он свернул от его крыльца к воротам своего дома.

— Похоронили? — спросила негромко жена.

— Да. Я прилягу, Тося... На полчаса.

— Ложись. А я борщ пока заправлю.

Жена его да и сам он уже примирились с мыслью, что единственный сын их погиб; примирились, потому что ничего другого не оставалось. Они о нем, чтобы не расстраивать друг друга, никогда не говорили, но каждый молча думал о Васе, и оба сохли и чернели.

Лежа на диване спиной к стене, Поликарп Матвеевич и сейчас подумал о сыне, вспомнил его голос и смех и, чтобы отогнать это мучительное состояние, быстро поднялся.

— Ты же хотел полчаса?

— Хватит. Готов твой борщ?

— Садись.

Хлебая из тарелки, он все думал снова о Полиповой, в голове опять возникли ее слова: «Я говорила... я не хотела... Савельева ваша...» Что же она «не хотела»? Как понять эти ее слова?

Он взглядел на часы — до конца рабочего дня оставалось еще время. Подойдя к телефону, попросил соединить его с библиотекой и, когда там сняли трубку, сказал ровным голосом:

— Полина Сергеевна, будьте добры, зайдите ко мне в четыре часа!

Она пришла ровно в четыре, порог кабинета переступила смело, с каким-то вызовом. В красивых холодноватых глазах ее не было теперь ни тревоги, ни тем более испуга, оставался только неприязненный холодок, и больше ничего.

— Садитесь, — сказал Кружилин.

Она опустила в истертое кожаное кресло свое полное и крепкое тело, обтянутое светлым платьем, закрыла старой легкой косынкой, которую принесла в руке, обнаженные толстые колени и сразу резко и громко проговорила:

— Если вы насчет Малыгина, то я скажу... Хохлову тогда не сказала, а вам отвечу — да, я с ним живу.

— Нет, я не насчет Малыгина... — усмехнулся Кружилин. — От Петра Петровича какие известия? Он все еще в Узбекистане?

— Нет. Он сейчас уже на фронте. Перевели, как он пишет.

— Вот как!

— Разве это удивительно?

— Нет, конечно... Я хотел спросить у вас кое-что о Елизавете Никандровне...

Она вскинула ресницы, губы ее, дрогнув, сложились в скобочку и тут же расправились. И по этим движениям Кружилин догадался: она ждала именно этого вопроса.

— Спрашивайте!

В голосе ее Кружилину почудилось что-то нехорошее, какая-то глубоко запрятанная насмешка. Он внимательно и сурово поглядел на Полипову. В выражении лица ее ничего не изменилось, в глазах стоял тот же холодок.

— Расскажите еще раз, как... как это произошло?

— Как? — голос ее дрогнул. — Она сидела за столом, просматривала формуляры... В библиотеке никого не было. У нас вообще мало читателей. Кому читать? Только школьники. Потом вскрикнула, застонала... Она поднялась и тут же повалилась на пол... И я сразу кинулась звонить вам.

— Вы сказали — на пол... Но, когда мы с Хохловым вошли, она лежала на диване.

— Ах, боже мой! — голос ее теперь наполнился злой иронией. И она это не проговорила, а почти прокричала: — Вы что, следовательно? Вы меня... подозреваете? Ну да, на диване. Когда она стала падать, я подхватила ее, успела еще отвести к дивану. И там она скончалась. Я в это время звонила уже вам. Вам!

— Нет, я вас ни в чем не подозреваю, — сказал Кружилин, помолчал, тупо глядя в настольное стекло. — И все-таки... странно вы говорите. «В это время...» Но вы же, Полина Сергеевна, по телефону определенно сказали: «Она умерла!» Уже... значит. А вы говорите — в это время, когда она умирала, вы только звонили. Странно.

— Странно, да? Странно? — дернулась она в кресле, потом вскочила, грудь ее начала толчками трястись. — Значит, я... я это ее убила, понятно? Убила, зарезала! То есть — не-ет! Не ножом... У нас железная палка есть, сторожика ею дверь закладывает. Я ее этой палкой... Ее осматривали врачи, пусть они скажут!

В глазах Полиповой металось темное пламя, она была близка к истерике.

— Успокойтесь! — повысил голос Кружилин. — Что вы, как... — Он хотел сказать «как баба», но сдержался, подумав, что баба она и есть. — Никто вас в этом, в таком... не собирается обвинять. Елизавета Никандровна скончалась от острого сердечного приступа.

— Тогда я при чем? Что вы надо мной издеваетесь? За Малыгина — спрашивайте, ваше право. Да и то... кто вам его дал? Это мое... наше с ним дело. Мне в конце концов и сорока еще нет. С Малыгиным у нас по-серьезному все, может... Я при чем тогда? И вы можете

умереть от такого приступа, и я... Любой. При чем?

Она говорила это, задыхаясь; по лицу ее шли красные пятна.

«Да при том, что приступ такой у нее... у Елизаветы Никандровны, можно было легко вызвать», — думал Кружилин, остро ощущая, как поднимается в нем волна гнева и ненависти к этой красивой и сытой женщине. Он теперь был уверен, что она и вызвала каким-то способом у жены Антона этот приступ, во всяком случае — была причастна к этому. Но как это докажешь? А если даже и докажешь, если сама она в этом признается даже, — что толку, что это даст? К ответу за смерть Елизаветы Никандровны эту женщину не привлечешь, хотя она и виновата, вероятнее всего, в этом. Жизнь, жизнь, в каких тайных и темных глубинах она только не течет, в каких крайностях и сложностях не проявляется! Живя, люди любят и ненавидят по различным причинам друг друга, и это имеет в конечном счете прямое отношение к их жизни и их смерти. Любят за характер, за свойство души, за мировоззрение и миропонимание. И ненавидят, порой смертельно, за это же. В мире извечно существуют огонь и вода, жар и холод, свет и тьма, добро и зло. И куда ни повернись, какой случай ни возьми, увидишь только это, если присмотришься внимательно.

— При чем вы тут... или ни при чем — это вам лучше знать, — сдерживая себя, сказал Кружилин Полиповой. — Пусть будет это на вашей совести. Идите...

Но она как стояла, так и осталась стоять, будто не слышала его слов.

— Совести? — спросила она вдруг глухо, губы ее дернулись. — А что вы знаете... что можете знать о моей совести? Что это вообще такое?!

Губы ее дергались все сильнее и сильнее, одновременно в глазах все яростнее разгорался черный огонь. Потом она упала обратно в кресло, затряслась, забилась в истерику.

Кружилин растерянно встал, налил из графина, стоящего на тумбочке, стакан воды.

— Успокойтесь...

— Уйдите! Уйдите! — кричала она сквозь косынку, которую прижимала к лицу, и мотала головой. Кричала так, будто именно он был в кабинете посторонний.

Кружилин в своих предположениях относительно неожиданной смерти жены Антона был прав. Когда Елизавета Никандровна впервые появилась в библиотеке, Полипова встретила ее молчаливо и неприязненно, потом с усмешкой сказала:

— Садитесь на абонемент. Работа прощая — принимать от читателей и выдавать им книги.

И Елизавета Никандровна принимала и выдавала, с заведующей библиотекой никогда не здоровалась и не разговаривала. Молча приходила утром, хмурая, и молча уходила вечером.

Полипова на это лишь усмехалась, затем усмехаться перестала, тоже начала хмуриться. Иногда, отвернувшись к окну, о чем-то подолгу думала, глядя, как ветер треплет за стеклом листья деревьев. Теперь Елизавета Никандровна, изредка взглядывая на нее, усмехалась.

— В конце концов это пытка! — не выдержала Полина Сергеевна. — Что вы все молчите, как...

— Я могу и разговаривать, — ответила Савельева. — Но только на одну тему... О том, как ваш муж, Полипов Петр Петрович, выдавал царской охранке моего мужа.

— Что-о?! — поднялась со своего стула Полипова, вытянулась.

— Он был провокатор. Я это отлично знаю. И вы тоже. И я хочу, чтобы вы подтвердили это письменно.

— Вы — сумасшедшая! — изменившимся голосом воскликнула Полипова.

— Других доказательств нету, — продолжала Елизавета Никандровна. — Но вы-то знаете... И вы все это опишете! Не сейчас, так завтра. Не завтра — так через неделю. Через месяц, год, пять лет! А я буду ждать! Терпеливо ждать...

— Сумасшедшая! Сумасшедшая!..

Елизавета Никандровна пожала плечами и опять продолжала молчать. И таким образом шла неделя за неделей.

Пытка эта была обоюдная, и неизвестно еще для кого тяжелее. Дома Елизавета Никандровна сваливалась иногда чуть ли не за мертво, пила сердечные капли, но никто, даже сын Юрий, который собирался на фронт, не знал об этом.

Она его проводила, и пытка стала для нее еще страшнее. Но получить доказательства провокаторской деятельности Полипова от его жены все-таки надеялась. Савельева была уверена, что та не выдержит. Заведующая библиотекой даже как-то спала с тела, при виде ее менялась в лице, по щекам начинали ходить нервные пятна. Елизавета Никандровна лишь безжалостно усмехалась, замечая это. Но она не рассчитала своих сил...

Первой нарушила молчание Полипова. Это случилось дня через три после того, как Елизавета Никандровна проводила Юрия на фронт. Все эти дни она вспоминала, как он уез-

жал, как прощался с ней, и иногда тихонько плакала.

— Вот вы меня подозреваете... Устроили мне чудовищную пытку... А я, хотя у меня никогда не было детей, понимаю вас и сочувствую, — сказала Полипова.

— Я не подозреваю, я твердо уверена, что ваш муж был провокатор, — тотчас ответила Савельева. — Берите бумагу и описывайте все...

И тут Полина Сергеевна не выдержала. Откинув стул, она щукой метнулась к Савельевой, закричала, захрипела, не помня себя от ярости:

— Да, да, да, был! Был, понятно?! Он всегда выдавал этого твоего... и других! Он давил вас как мог! Он мстил вам за вашу революцию... Он был бы богатым человеком, а такие, как ваш муж, все отняли! И у него, и у меня! Он мог бы сделать и еще больше, но он трус, он подонок! Он всего боялся и боится... И все же уничтожал людей — и тогда, и после, здесь, в Шантаре! И вашего мужа он бросал в тюрьмы. Он тогда выжил, да... Но, попадись он ему под ноги после революции, он бы его все равно растоптал! Ну, довольна? Письменно написать? Не дождетесь... А слушать — слушай! Слушай и знай! Знай...

Пока она кричала, Елизавета Никандровна, поднявшись, с ужасом глядела в обезображенное гневом и ненавистью страшное лицо Полиповой, пятилась от нее в глубь комнаты, к противоположной стенке, где стоял матерчатый диван. Пятилась и чувствовала, как что-то сдавливает, сплющивает ее сердце. Боль эта, тупая и безжалостная, была непривычной, незнакомой даже для нее, испытывавшей всякие сердечные боли. Дойдя до дивана, она почувствовала, что сердце останавливается, что это конец, и из последних сил прохрипела:

— Не надо! Замолчите же...

И рухнула, боком упала на диван, уже мертвая.

Полипова, увидев это, умолкла, постояла, горячая и растрепанная, молча наблюдая, как тускнеют, мертвенным светом наливаются открытые глаза Елизаветы Никандровны. И, чувствуя, как подламываются ее собственные ноги, боясь тоже рухнуть где-нибудь рядом, шагнула к телефону звонить Кружилину, в кабинете которого сейчас кричала, мотая головой:

— Уйдите! Уйдите!

Кружилин поставил стакан с водой на стол, от стука стекла о стекло Полипова сильно вздрогнула и очнулась, немного пришла в себя. Во всяком случае, рыдать стала тише.

— Успокойтесь же, — еще раз попросил Кружилин. — Иначе мне врача придется вызвать.

— Не надо никакого врача, — сказала она негромко, вытирая скомканной косынкой слезы. — А насчет совести я вам сама скажу. У меня ее... если иметь ваше понимание... никогда не было.

Кружилин, прихмутив брови, усмехнулся.

— Это я, что ж, понимаю... Ваша девичья фамилия — Свиридова?

Теперь она вскинула брови, крутые и черные — она их, видимо, красила. Но спросила спокойно:

— Вы и это знаете?

— Узнал не так давно. А если бы знал раньше, Елизавете Никандровне не разрешил бы работать в библиотеке... с вами.

Она еще повсхлипывала и перестала совсем. Скорбно поджав губы, сидела и думала о чем-то. Потом произнесла:

— Это было бы правильно.

Кружилин лишь пристально глядел на нее.

— Я ведь понимаю, зачем вы меня вызвали. Но скажу вам только следующее: разговор о совести ни к чему не приведет. Одному человеку в совести другого разобраться трудно.

— Не всегда, — усмехнулся Кружилин.

Но она на это не обратила внимания, продолжала:

— Так что вы живите со своей совестью... А мне оставьте мою. Разрешите мне уйти?

— Я же вам сказал — идите.

Несмотря на это, она продолжала сидеть, опять прикрыв косынкой толстые колени.

— В смерти жены Савельева я не виновата, поверьте.

— Я в ней не обвинял вас, кажется.

— Ну, я не дурочка, все понимаю, — возразила она. — Но это ваше дело. Я никогда не хотела ее смерти. Что мне она? — И повторила: — Но прислали вы ко мне ее напрасно.

— Она сама попросила.

— Я это поняла. Не надо было.

Только здесь она встала, опять вытерла уже сухие глаза. Но уходить все медлила и, постояв, усмехнулась:

— Совесть... Вот я вам скажу, а вы думайте, что хотите. Я — баба грязная и распутная. Я до Полипова со многими жила без разбора. И сейчас с Малыгиным... Может, я за него замуж выйду, не знаю...

— Даже... так? — невольно произнес Кружилин.

— Я же говорила: может, это серьезно... А может, нет. Но с Полиповым я жить, если он и вернется, не буду. И писем ему больше писать не буду.

— Освободите меня от этих ваших... Знать мне ваши планы ни к чему.

— Неправда, — заявила вдруг Полипова. — Вам интересно — почему не буду. И я скажу... — она замолкла, соображая, что, собственно, сказать-то. Вспомнила слова, которые недавно бросала о своем муже в мучительно искаженное лицо Савельевой, подумала, что все их повторять Кружилину не надо и нельзя. — Я зна-аю, что вы думаете о Полипове. Это тоже ваше дело. Я лишь скажу одно: он тоже мерзкий человек, как и я, но в отличие от меня он тряпка, трус и подонок. Но, когда надо, он растопчет любого, не пожалеет. Чтобы самому жить... О-о, на фронте он не погибнет, уцелеет, — усмехнулась она. — Я это знаю. Вот и все, что я о нем хочу вам сказать. А больше ни слова не дождетесь, как бы ни хотели.

— Я, повторяю, ничего не хочу. И все это я о нем знаю. Даже больше, чем вы.

— Ну не больше, положим... — опять упрямо возразила она, раздражая теперь его.

— Идите же! — чуть не грубо сказал Кружилин.

— Да, да... Так что с совестью моей вот так. Она у меня тоже не простая... И не приглашайте больше меня ни на какие беседы! Не приду.

Круто повернувшись, она ушла. Кружилин ожидал, что она с грохотом хлопнет дверью, но Полипова прикрыла ее за собой мягко.

Она ушла, а на душе Поликарпа Матвеевича стало скверно. Собственно говоря, она же его отхлестала. Но дело даже не в этом, не надо было вообще приглашать ее для этого разговора. Что он дал, что мог дать любой разговор с ней?

Но, подумав немного, Поликарп Матвеевич пришел к иному выводу: нет, этот разговор что-то ему дал. Что? Полипова эта, кажется, не такая уж простая... Но, собственно, всякий человек не прост. Кажется, с ней что-то происходит... «С Малыгиным у нас по-серьезному все, может... С Полиповым я жить не буду...» Н-да, снова подумал Кружилин, обрушилось на планету невообразимое бедствие, полыхает на ней самая страшная в истории человечества война, пожирает все живое и неживое, даже камни и железо, а люди все равно живут своей непростой и нелегкой жизнью — плачут и смеются, любят и ненавидят, рождаются и умирают. Ничто не останавливается в этой извечной машине, запущенной неизвестно когда, в мрачных глубинах давно минувших веков...

(Окончание в следующем номере.)

Анатолий Степанович Иванов

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Р о м а н

Книга вторая

(Продолжение)

Редактор В. МАЛЮГИН

Художественный редактор С. Гераскевич. Технический редактор С. Журбицкая

Корректоры О. Добромислова и М. Поляк

Фото Н. Кочнева

Сдано в набор 31/X 1977 г. Подписано в печать 20/XII 1977 г. А03012 Бумага газетная. Формат 84×108¹/₁₆. 8 печ. л. 13,44 усл. печ. л. 16,198 уч.-изд. л. Тираж 1 611 000 экз. 1-ый завод 1—500 000 экз. Заказ 1597. Цена 60 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1, ул. Мира, 3.



На второй и третьей полосах обложки
кадры из телевизионного фильма
по первой книге романа Анатолия Иванова
„Вечный зов“.

Фото А. Шаховской

60 н.

70782